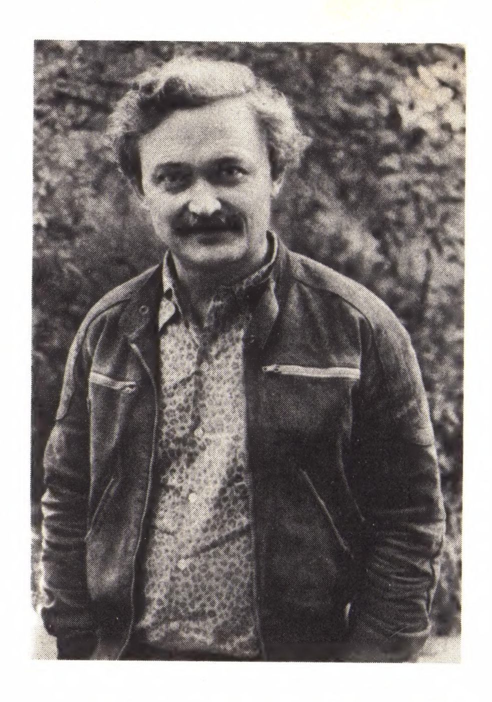

Альгимантас Чекуолис
День мятежа



В книгу А. Чекуолиса «День мятежа» входят повести «Легионер», «Хочу вернуться на Кубу» и рассказы, написанные в разное время. Большая часть этих произведений создана на зарубежном материале.

Повесть «Легионер» отличается занимательным сюжетом и достоверностью изображения различных, порою малоизвестных сторон капиталистической действительности.

«Хочу вернуться на Кубу» — своеобразный авторский дневник, в котором нашли отражение наиболее яркие впечатления автора от морских плаваний и жизни на Кубе.

«День мятежа» — рассказ о попытке контрреволюционного мятежа в Португалии.

Рассказы А. Чекуолиса интересны по жизненному материалу и написаны в живой, непосредственной форме.

Альгимантас Чекуолис

День мятежей

Повести и рассказы

Перевод с литовского
В. Чепайтиса

Москва • Советский писатель • 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Альгимантас-Юргис Юргисович Чекуолис

ДЕНЬ МЯТЕЖА

М., «Советский писатель», 1984, 280 стр.
План выпуска 1984 г. № 314

Художник *А. В. ЕРЕМИН*

Редактор *А. С. Поволоцкая*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *Р. Г. Рагимова*

ИБ № 4037

Сдано в набор 23.05.83. Подписано к печати 08.12.83. А04674. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,7. Уч.-изд. л. 16,47. Тираж 100 000 экз. Заказ № 366. Цена 1 р. 10 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

Ч $\frac{4702360200-459}{083(02)-84}$ 314—84

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Альгимантас Чекуолис, литовский писатель среднего поколения (год рождения 1931), пишет немного. С 1957 года, когда появилась первая его документальная повесть «Через три океана», вышло восемь книг этого автора.

— Я больше люблю быть действующим лицом повести, чем писать ее,— ответил он как-то на вопрос журналиста.

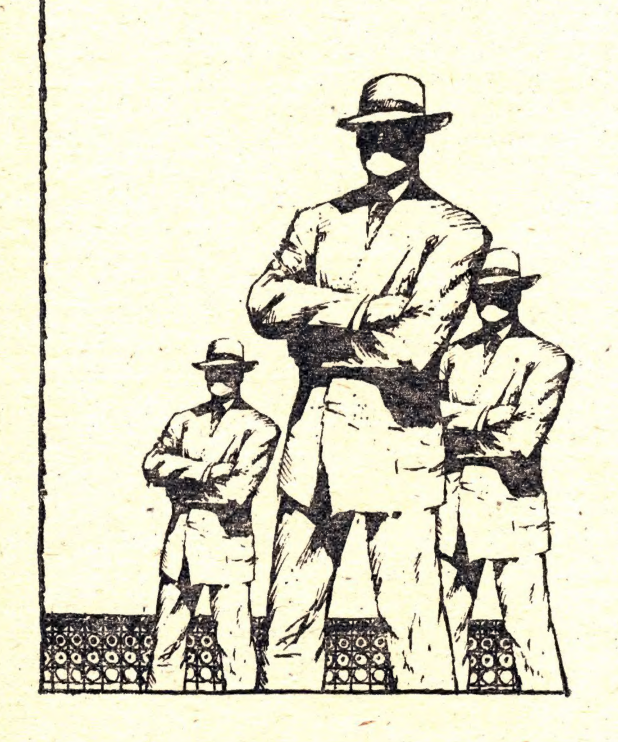
Завидная судьба сложилась у А. Чекуолиса. Бывают люди, у которых получается все, за что они ни возьмутся. Пятнадцатилетним юнцом, еще без паспорта, он поступает в Литературный институт им. Горького, оканчивает его. Вместо того, чтобы поступить на работу в редакцию газеты или издательство, идет в матросы рыболовного флота и дослуживается до боцмана. Правда, на это ушло одиннадцать лет, в течение которых писатель был и грузчиком и тюленебоем, водолазом и поваром, плавал в Арктике и в южных широтах, в Карибском море. Когда на Кубе, в Плайя Хирон, создается мореходное училище, боцман Чекуолис направляется туда преподавать морское дело (он уже свободно владеет испанским языком, как и большин-

ством европейских языков); училище это стало кузницей морских кадров острова Свободы. По возвращении в Литву Чекуолис приглашается на должность начальника сценарного отдела Литовской киностудии; этот период совпал с расцветом литовского кинематографа. Когда в Португалии произошла «революция гвоздик», агентство печати «Новости» посылает А. Чекуолиса в качестве своего постоянного представителя в Лиссабоне. Созданный им и издаваемый там советский журнал становится самым крупным по тиражу в Португалии, расходится по всему португалоязычному миру. С АПН писателя связывает шестнадцатилетнее сотрудничество — он был собкором этого агентства в Канаде, сейчас работает заведующим бюро АПН в Испании.

За строкой повестей и рассказов А. Чекуолиса — не увиденное, а пережитое. Пережитое человеком действий, свершений.

Генрих Боровик

Рассказы





Убей своего кота



Вид у нас был довольно дурацкий — все в тенсках, заправленных в брюки праздничных костюмов, да еще под газом с самого утра. Воскресенье — когда еще наденешь эти брюки-то. Уже в десять часов солнце ошпарило всех наподобие раков, наши оголенные руки, шеи, кончики ушей. До́ма троллейбусы предостерегающе шипят, приближаясь к остановкам, скользят все по той же самой кривой колее грязного льда, ударяясь зажатыми тормозом колесами о кромку тротуара, за ними семенят люди в шубах, шапках, платках; пар идет изо рта, и думают все одно и то же — когда же это кончится; вертикальные белые столбы из дымоходов за заиндевелыми ветвями деревьев, бугорки порыжелого льда на асфальте; «Жигули» в гаражах за сугробами в полной безопасности. Кубинцы в придорожных деревнях кое-где вынесли на тротуар кресла-качалки, надвинули на глаза шляпы, приготовившись так прокачаться все воскресенье — надо же отдохнуть человеку. Они провожали нас флегматичными взглядами, без труда узнавали «лос совьетикос». И не обращали внимания. Уже двадцать лет ездят открытые газики, набитые всегда одинаково взъерошенными безобидными блондинами и шатенами. Пока эти научатся остерегаться солнца, приедут новые.

Что февральский троллейбус мы оставили за суровым безбрежным океаном, озабоченных своих начальников — в гаванских офисах (на стене производственный график, укрытый от постороннего глаза коленкоровыми шторками, три телефона одновременно верещат на четырех языках, не считая московского телетайпа), а жиреющих от безделья жен и раскапризничавшихся детей, которым обещано после возвращения отвести поесть мороженого,— в гостинице,— об этом придорожные крестьяне имели понятие как

о жизни на другой планете. И мы эту жизнь сдирали с себя скорлупка за скорлупкой с каждой проносящейся мимо пальмовой рощей, усадьбой, петлей узкого асфальта среди бескрайних плантаций сахарного тростника. Мы сами не подозревали, как много на нас этих скорлупок.

Зазвенело в ушах, когда Петя выключил мотор газика на побережье Гвиры. Карибское море, ленивое поутру, оказалось на диво широким и местами искрилось как потускневшее от старости зеркало. Мы, слава богу, забыли взглянуть на карту и теперь не знали, что находится за морем, в нескольких сотнях километров,— Юкатан, Флорида, а может, Багамские острова. Это ведь не имело значения. Здесь только мы. Шестеро мужчин, вырвавшихся на воскресную свободу, и старое, дряхлое, не посещаемое пароходами, забытое человечеством море. Мы стояли у самого прибоя, ленивого, едва плещущего, и твердили себе, что надо размять кости. А на самом деле смаковали тишину и состояние необязательности, которое выпадает так редко и только в детстве.

Может быть, здесь и следовало нам оставаться. Разложили бы сиденья от газика в тени гуаявы. В уютной складке планеты, где-то около ее талии или подмышек. Побездельничали бы, глядя на древнее море или бросая с мола удочки. Пропитались бы остановившимся временем. В Гавану вернулись бы другими людьми.

Но радость испытываешь лишь пока стремишься к ней — и еще короткий миг. Мы запрограммированы на стремление, а не на обладание. Ложно запрограммированы. Стремимся все дальше, все глубже — концентрическими кругами, за одним тут же другой, словно жизнь — это мишень, а посредине у нее «яблочко». Нет никакого «яблочка».

Вскоре стала поджимать эта пружина: «Надо, надо, надо». А чего надо, в сущности? Как на бесконечном эскалаторе — и на месте не постоишь, и назад не вернешься.

Я постучался в первый же дом:

— Где живет Фульхенсио Каримбо?

Было тихо, не слышно даже храпа. В другой, третий дом. Наконец показали. Долго пришлось стучать, пока из окошка над притолокой двери высунула голову женщина.

Нет, Фульхенсио нету дома. Нет, нет. Еще в шесть утра уехал на свадьбу дочки двоюродного брата. Да, вчера ему кто-то звонил, не знаю, может, и из Гаваны. (Это

я звонил. Фульхенсио на все отвечал: «Си, си, приезжай, будет сделано». Может, человеку было неудобно возразить. Правда, в телефоне сильно потрескивало.) Нет, ключ от шхуны он носит с собой. Нет, не оставил. Нет, других кораблей нет, одни «гусанос» угнали в Майами, другие вытащены на берег для ремонта. Нет, вернется через три дня. Вы что, в море хотите? Нет, сегодня не выйдет. И погранпост сегодня закрыт. У них в округе конференция.

Дремлющее безликое море и не проснувшаяся от сладкой утренней дремы деревня, окна дощатых хижин, затянутые противомоскитными сетками, стали обозначать неудачу. Мы рядом с выгруженными пожитками выглядели словно экипаж разбитого корабля. Желтая вода прибоя воняла разлагающейся рыбой и деревенскими отходами; и не искупаешься. Петя сидел во все сужающейся тени от газика и даже не смотрел в мою сторону. Через неделю ему возвращаться в Свердловск, и эта вылазка для него была первой за два года на Кубе. Петр Олегович, пиная лакированными штиблетами камешки, уже ушел по берегу далеко, где кончался поросший травой песок бухты и к морю подступало мангровое болото. Сегодня он должен был обедать в вилле у польского посла и отказался, придумав какой-то важный предлог, и я мог только догадываться, что он сейчас думает вообще и обо мне в частности.

Но Куба страна удивительная. Здесь ничего нельзя и все можно.

Земной шар сместился на несколько градусов, повернув окна деревушки прямо к солнцу. Не выдержав, пришла жена Фульхенсио со связкой ржавых ключей. Может, разглядела среди наших пожитков два ящика с пивом. Может, позвонил Фульхенсио. А может, просто-напросто надо было накрутить волосы на бигуди. Два паренька, уже целый час топтавшихся неподалеку, помогли Пете накапать горючего из «Белоруси» со спущенными шинами. Даже переводчик им не понадобился. Вернулся Петр Олегович, наковыряв с мангровых кустов горсть пестрых ракушек, но еще с недоверием глядел на растущую вокруг нас суматоху — появились и взрослые мужчины, одного я даже вроде где-то видел, может, в Гавану приезжал в министерство рыболовства, другой расспрашивал о каком-то «Юрий»; для кубинцев все мы — «Юрий». Нахохленный будто попугай старик, в рваных

шортах на тощих бедрах, с лохматой бородой до медного крестика на груди, опустился на корточки с женой Фульхенсио подбирать ключи, а мы с Хорхе — оказывается, младший его брат учился в Плайя Хирон, когда я там преподавал, может, видел меня на параде или в столовой, короче, мы были почти родственники — пошли «открывать границу». И это оказалось возможным. Жена полицейского не стала возражать. А какие могли быть возражения? Мы поговорили о чужом самолете, который всю ночь стрекотал над болотом, о скверном урожае кофе; она спросила, возьмем ли мы пулемет, или хватит двух автоматов; покачиваясь уткой, потому что была, пожалуй, на восьмом месяце, выудила печать из ящика кухонного стола, валявшуюся среди рассыпанной фасоли, браунингов и папок с циркулярами, и шлепнула на пустой бланк. Главное — не спешить, вписаться в естественное для тропиков течение времени.

И вот уже шхуна скользила, отражаясь изломанным силуэтом в глади залива, в волне, которую нагоняла сама. Обогнула искореженную взрывом десантную баржу какой-то армии — белые сосульки птичьего помета на ржавчине, а потом бухта исчезла в зелено-красной линии берега. Еще какое-то время виднелись газик на бугре и несколько крыш, а потом только гнезда облаков над голубыми высотами Эскамбрая и мириады ослепляющих солнечных зайчиков от волн вокруг нас. Накатывают они не валами — ленивыми бугорками. В трюме булькала вода, которую мы поленились выкачать.

Слетела еще одна скорлупка. Петр Олегович, босиком, в красных плавках из американского нейлона, резал сыр для бутербродов. Полуголый Петя торчал из люка как танкист — острый нос и петушиная грудь в солидоле, пошевелиться не может, потому что большим пальцем ноги и левой рукой придерживает что-то в дизеле, счастливый властелин мотора. Бухгалтер дремал на солнце, неугомонный Петруша швырял хлеб чайкам, дружески журя их по-русски. Никто не торопил ни стоящего за штурвалом Хорхе, ни забравшегося на мачту, чтобы лучше видеть дно, паренька, хотя мы делали уже третий круг. Солнце, покой. Время остановилось, и воскресенье могло длиться сотни часов.

Однако натура сильнее мудрости. Мы упустили и этот случай сойти с эскалатора, разомкнуть заматрицированную в генах цепь настоятельности. На сей раз уже не

мы, северяне. Задание концентрических кругов мишени получают при рождении, видимо, все люди на свете. Когда Попугай поспорил с Хорхе, потом, рассердившись, вырвал у него штурвал из рук и мы свернули налево, где в двух милях вода была белее от бурунов, стало совершенно ясно, что это еще не радость. Она еще предстоит. Шурин Фульхенсио оттачивал кусок железного прута для остроги; пареньки, уже вдвоем взобравшись на мачту, кричали и показывали руками во все стороны, Попугай то бросал штурвал и бегал посмотреть за борт, то начинал новый круг. Перевесившись через нос шхуны, Петр Олегович командовал на английском, и у всех нас уже кипела кровь охотников, как у наших предков несколько миллионов лет назад где-нибудь в высокой траве саванны, хотя мы были сыты, холодильники дома набиты битком, шерсть со спины сошла еще до фараоновских времен, превратившись в пушок, и мы не очень-то знали, какая добыча ждет в глубине и на кой, в сущности, черт она нам нужна.

В суматохе противоречивых команд у Пети заглох дизель. Попугай закричал, ему показалось, что это еще не то место, он завел якорь за фальшборт, в ожидании, пока нас отнесет куда надо ветром, а палуба уже опустела, виднелись лишь фыркающие головы среди бугорков волн — словно стадо тюленей по обе стороны шхуны.

Я надел ласты, взял в охапку гарпунное ружье и шагнул в другое измерение.

Вода лишь в первое мгновение показалась холодной. Когда стоя — ластами пришлось работать, как педалями велосипеда,— прополоскал маску, приладил ее, потом потянул носом воздух и вакуум прижал мягкую резину к лицу, достаточно было улечься лицом вниз, и сразу стало тихо, а сердце встрепенулось от прозрачной, голубой с зеленым и коричневым оттенками глубины. Широкоформатное кино в первый раз дает такое впечатление. Только если бы ты сам влетел в разноцветную выпуклую панораму. Слепому от рождения, которому в больнице снимают послеоперационные повязки, таким колышуще-глубоким должен показаться мир; цыпленку, проклюнувшемуся из яйца.

Подо мной была прозрачная глубина с четырехэтажный дом. Все видно отчетливо — гофрированный песок дна, усеянный, словно кусочками слюды, обломками раковин. Слева — марсианские грибы кораллов, гиганты, в

невесомом водяном пространстве выросшие до самых волн, один на другом, десяток огромных, накрененных; не поймешь, каким чудом держатся. С извилистой, словно у мозга, поверхностью — может, мыслят, Солярис на земле. Дальше коричневая колония, лес острых оленьих рогов, и еще другая — необозримые заросли лишайника, а потом груда изломанных, сплющенных, превратившихся в камни, все поросло машущими водорослями и веерами. В тени поблескивают огоньки — глаза, а может, цветы. Справа хребет пониже, просто нагромождение известняка. Я оказался над каньоном. Тень от шхуны уже не падала на спину. Поднял голову — вдалеке виднелся крестик ее мачты, то ли меня отнесло течением, то ли ее — это не имело значения.

Ласты толкали сами, и ружье само отыскало место под мышкой; я нырнул вкось, мимо косяка поблескивающих боками сардин, к подножию мозговитых грибов. На прощанье бросил взгляд на то, что теперь для меня было небом,— скомканная серебристая фольга, мельтешащая наверху, и непрозрачная, будто потолок,— а мои пальцы уже потянулись к грубому, слежавшемуся песку. Может, хотелось убедиться в его реальности, прикоснуться к тайне девственной Земли. Днем, один на один с глубиной.

Горбатой тенью мелькнул перепуганный краб и в пяти метрах зарылся под истлевшей раковиной стромбуса, взметнув облачко песка. Поблескивают выставленные глазки, он небось и не подозревает, что я все равно его вижу. Черепаха, суча ромбами лап, пролетела мимо, выставив вперед роговую мордочку, выражение скорбное, как у топорика. Избегая темных пещер, отыскала коридор и исчезла, растаяла в стене света. Что-то затрепыхалось в левом углу поля зрения, но, пока я повернул голову, стало тихо, как будто птица выпорхнула из куста. В глубине панорамы, по всему ее кругу суетились или только мерещились тени побольше. Воздуха хватает еще до трехугольного разветвления каньона, ушные перепонки, конечно, уже болят и слышен треск, словно разламывают кочан капусты. Скоро и в глазах зарябило, потемнело, грудь сверлит от боли, ноги в ластах сами отталкиваются, и я поднимаюсь долго, слишком долго, вот-вот не выдержу, все уже черно. Поверхность. Из шноркеля со взрывом выстреливает вода, воздух засасываешь через мундштук вместе с брызгами,— его, кислого от водорослей, все мало; еще, еще; фольга потолка мерцает

то над затылком, то поперек стекла маски; еще вздохнуть, еще; теперь уже будешь жить. Лежишь пластом на поверхности, спина застлана тоненьким покровом воды. Только головы поднимать не хочется. Еще увидишь людей. Вспомнишь, что когда-то принадлежал им.

Опять в глубину, теперь по боковому ответвлению, пикируешь живым акваланом, здесь песок уже белый и мелкий, усеянный не ракушками, а обломками каких-то костей или кусочками размытой извести.

Ласты мчат слишком быстро. Мы, люди, всю жизнь можем прожить, так и не узнав, как просто надевается этот незатейливый и превосходный мотор. Здесь так быстро плавают только хищники. Вот стая мероу. Большие, как поросята, с черными и коричневыми полосами на боках, с бронированными лбами, могли бы не бояться, однако бросились врассыпную. Актинии учуяли опасность, телеграфируют всем. Целая их колония на вертикальной стене — желтые, янтарные, голубые хризантемы. Сами они хищные твари, но при моем приближении одна за другой — пых, пых — превращаются в кроваво-красные помидоры.

Надо медленнее. Пускай меня несут инерция и течение. Вот так, медленно. Только так.

Неописуемая тишина возвращается. И согласие. В ямочке среди высосанных раковин вижу глаз осьминога. Сам он слился с песком или зарылся, только оранжевая оболочка вокруг черноты зрачка видна; прикидывается, что тебя не видит. Слева — утонувший храм, в широком портале желатиновые огоньки, красные, зеленые. Еще медленнее. Вода теплая, как кровяная плазма, шлюзов нет, она струится мимо тебя и чуть ли не сквозь тебя, и ты струишься в ней, в толстом пласте жизни; крючки да пузырьки у тебя перед носом, насколько видит глаз. Рыбы появились опять. Косяк желтых с голубыми извилистыми линиями, до того яркими, что светятся. Кукушками они называются, кажется. Другой косяк — синих рыбин, у каждой со спинных, брюшных и хвостовых плавников свисают длинные усы; красные рыбы с младенческими личиками. В гуще посейдонии стоят вертикально морские коньки, уцепившись за стебли дрожащими хвостиками. Все время помнишь: мы, люди, еще только возникали, а этот мир был уже полностью развит, давным-давно существовал так, как существует сейчас.

Расхрабрившись, проплываю под одной аркой корал-

лового замка, потом под другой. Посейдонцы поглядывают на меня и продолжают существовать. Господи, пусть так будет всегда, эта невесомость и отрешенность, теплота и симбиоз с глубиной, ничего больше не буду добиваться и искать, не стану стремиться ни к уму, ни к совершенству, оказавшись в колыбели вселенной. Здесь мое место, здесь хочу остаться и раствориться.

Но в ушах снова хруст ломаемых капустных листьев. Минуточку, приятели, я мигом вернусь.

Усталость не пришла даже через час. Легко плыть в соленой теплой воде. Дважды натыкался на своих — нелепо длинные ноги, размахивающие ластами, утолщенные рефракцией безголовые туловища, людьми они становятся лишь когда ныряют и плывут рядом. У бухгалтера на поясе болталась авоська, набитая раковинами, между ними засунут усатый лангуст. Петр Олегович что-то показывал мне повелительными жестами, но не было возможности ни переспросить, ни ответить. Вслед за ним тащился по волнам поплавок шхуны, а под ним проволочный садок с добычей — серебристый парго с содранной челюстью, несколько обомшелых крабов и раковины. Петя, разжав ладонь, показал вишневую каури, редкую драгоценность Карибского моря. Помотал головой будто лошадь, понимай его как хочешь. Гладь моря уже взлохматилась от послеобеденного бриза, на волнах появились гребни с брызгами.

...Сам не заметил, как и от чего изменилась химия крови. Может, порывы ветра над посеревшим морем напомнили Балтику, возвратили северную жестокость. Или трофеи приятелей напомнили, что надо что-то добыть. Если оставляешь, стало быть, не имеешь. Так повелевали праотцы. Недалеко мы ушли от них. А может, все проще, без философствования. Каньоны рифа я уже изведал, с крабом-отшельником подружился, разноцветный коралловый мир принял меня за своего. Надо было найти для себя новую грань. Орга́н в башнях фантастических замков замолк, и казалось, что он, пожалуй, никогда и не играл здесь.

По извилистому коридору вернулся к осьминогу, но квартиру нашел опустевшей. Хитрая тварь, инстинкт посоветовал ему уносить ноги. Мы с ним не уславливались, конечно, но я почувствовал себя обманутым. Теперь ищи-свищи, заглядывай, прижав стекло маски, в норы; если удрал, то основательно спрятался, старый чернильный

мешок. Я всплыл и опять вниз. Среди зеленой осоки посейдонии два стебелька были иными — коричневыми и зазубренными. Протягиваю ружье, ж-ж-жих, легкая отдача. Правильно угадал. На кончике стальной стрелы мечется огромный лангуст. Стрела вошла ему в рот между длинными зазубренными усами, пробив панцирь, торчит из спины, мощный колючий хвост бьется, панцирь скрипит, трудно удержать стрелу. Пока поднимался вверх, налетела стая рыбешек — койотов, красно-зеленая мелюзга, жадно разевает пасти, заглатывая коричневое облачко крови лангуста, разбрызганные кусочки его белого мяса; теперь гляди в оба, а то появятся барракуды; лангуст, наверно, вопит не слышным мне голосом. Это ведь джунгли, несчастье одного — обед для другого. Второй лангуст не стал ждать моего приближения. Метнулся в сторону, к известняковой осыпи. Однако места, чтобы укрыться, не нашел. Схлопотал стрелу в спину, сверху, пока искал щель. Бей теперь хвостом на здоровье.

Коралловый мирок облетела весть. Речь движений и ультразвука в этих джунглях понятна всем. Тупые не оставили потомков. Сразу же стало известно о белой двухвостой твари и ее аппетитах. Вокруг меня образовалась пустота, как на свадьбе вокруг пьяного с ножом. Мероу снова будто тени бродят за пределами видимости, исчезли даже розовые рабирубии, которые только что ошивались вокруг, что-то доверчиво собирая у меня с живота. Но это было еще в том мире, секунд пятнадцать назад. Я не начал выглядеть другим — я стал другим. И всем уже об этом известно.

Ладно, можем играть и так. По этим вашим правилам.

Держусь в тени дворца, спиной почти касаясь колонии ежей. Но даже они сжимаются в страхе, выставив длинные колючки, слышно, как ворчат.

Притаился за углом, будто вор. Двигаюсь вперед лишь настолько, насколько несет течением. Я обману ваш телеграф. Еще один угол огибаю и третий тоже. Так оно и есть! Навстречу два зазевавшихся сабало. Аристократы рыбьего мира, отлитые из серебра. Первая рыбина чуть ли не с метр. Она увидела и разгадала меня, только вот развернуться опоздала на какую-то долю секунды; стрела пронзает ей серый глаз, вот она уже мечется, вихрем увлекает меня вглубь,— мы вместе падаем на песок; схватив кончик стрелы, я загоняю ей поглубже в мозг и еще успеваю всплыть. Сейчас я вас нащелкаю.

Сейчас полшхуны навалю, потом разберемся, которая нужна, а которую, костистую, придется отдать деревенским свиньям.

Выплывая, едва не ударился о днище лодки. Повиснув локтями на корме, швырнул на рыбинсы свою трепыхающуюся добычу. Хорхе что-то крикнул, пришлось снять маску и вытрясти из ушей воду.

— Там кошка, «ля гата»! Пойдем, убьешь ее! «Гата»!

Испанский я знаю хорошо, работал переводчиком. «Эль гато» — кот, «ля гата»,— стало быть, кошка, не иначе. В дюжине миль от берега не начнешь выяснять лингвистические проблемы. Убить так убить.

Они гребли откидываясь; отбуксировали меня далеко, за второй гребень рифов.

— Вот здесь, здесь! — опустившись на колени, Попугай показывал вниз, чуть ли не подпрыгивал от нетерпения.

Поднатужась, я натянул обе тетивы ружья и нырнул вертикально.

Когда на поверхности попробовал света, глубина поначалу кажется сумрачной. Те же самые коричневые «венерины веера» колеблются на камнях. На дне целое поле зостеры, словно лужайка парка. С него поднялся скат; плоский диск да хвост бичом; уплыл от греха подальше. Я улегся на дно, уцепившись рукой за пучок зостеры. Не двигаюсь и тихонько, снизу рассматриваю тени под утесами.

Сперва испугался, а только потом увидел. У нас, людей, с незапамятных времен врезался в подсознание этот силуэт. Узнаем его даже боковым зрением — неважно, моряк ты или воду видишь только в ванной. Так высиженные в инкубаторе утята узнают тень появившегося над двором ястреба. Улепетывают в кусты, не дожидаясь команды.

Одним толчком оказался на поверхности. Падая людям под ноги, едва не перевернул лодчонку.

— Акула! Эль тибурон!

Понадобилось поправить ласты. Снять маску, вытереть рот.

— И крупная. А кошки не успел разглядеть.

— Да, да! — Хорхе и Попугай были полны энтузиазма.— Акула, «ля гата»! Убей! Заберем.

— А почему? Почему я?

— Твое ружье, камарада, хорошее.

Какой вопрос, такой ответ. Никуда не денешься. У них была только заостренная железяка на двоих. Такой не только акулу не заколешь. Такой под водой даже не замахнешься как следует.

Лодчонку уже порядком швыряло. Шхуна была далеко, лишь изредка появлялась над волнами крыша рубки. Моих ребят тоже не было видно — забрались на судно или трудились по ту сторону рифа.

Я вытер тряпкой грудь, спину, бедра. Кубинцы меня не торопили — человек три часа плавал, должен перевести дух. Медленно двигая веслами, они держали лодку на месте.

Конечно, я согрелся. И конечно, увидел, что моя добыча ничтожна по сравнению с тем, что насобирали кубинцы,— два тритона величиной с ведро, весь нос лодки завален шуршащими крабами и лангустами, самый маленький побольше моего самого крупного. И, конечно, ты — «эль совьетико», причем с хорошим венгерским ружьем.

Это имело значение. Но всегда ведь можно оправдаться усталостью, просто-напросто вручить Хорхе ружье и свою маску. Пускай делает как знает.

Важнее было другое.

Акул я навидался, как и каждый моряк. В рейсах за селедкой и хеком мы ловили их на стальные крюки. И под водой их встречал — в Мексиканском заливе, у берегов Индонезии. Тут же улепетывал, не говоря «здрасте», ни себе, ни ей не морочил голову. Вернувшись на судно, помалкивал — узнает капитан, получишь взбучку.

Ни разу не ходил я на акулу с гарпуном в руке под водой, в ее стихии. Не пробовал и даже не помышлял об этом.

И поэтому у меня теперь не было иного выбора.

На глубине семи метров находится акула. Значит, ее надо убить. Ведь если не нырнешь к ней сейчас, пока еще не стемнело, она последует за лодкой до берега, вместе поедет на газике в Гавану, полетит на «Ильюшине» в Москву, поселится с тобой в Вильнюсе; в минуты слабости и сомнений на рассвете всплывет черная ее спина. Как ненаписанный роман, несдержанная клятва. Как вопль женщины ночью под окном, когда ты поленился и не вышел на улицу.

Жить ты сможешь. Но — будешь знать, что остановился, пометив черту своей несостоятельности.

Так не рассуждают голышом в лодчонке. Об этом просто знают. Ты можешь признаться в этом и можешь убежать от этого знания, закутавшись в удобные возражения. Ведь рассуждаешь ты гораздо проще... Не слишком ли темно? Вообще-то ничего. И борт у лодки низкий — если что, одним махом в нее сигану. Да и там, внизу, не собака, хватать с наскоку не умеет; известно, как хватают акулы... И твои кубинцы — опытный народ. Профессионалы. Вытащат, если той удастся оглушить тебя хвостом или царапнуть. Ведь не заглотает она тебя целиком. Так не бывает.

И вот ты уже скользишь вглубь косо, не хлопая ластами; локти прижаты, предохранитель ружья снят. Так ничего и не решив, поскольку нечего было решать.

«Ля гата» маячила на том же самом месте, под огромным, будто сфинкс, коралловым утесом, прямо на дне. Добрый знак, что не двинулась с места,— может, сытая. Черная, стройная, длиной с трех мужчин. Вся в тени от сфинкса, а нос, кажется, засунут даже в пещеру у подножья. Тоже хорошо. Не сразу меня увидит.

Прицеливаюсь, падая, потому что времени для маневров не будет. Семь метров, скоро не хватит воздуха. Рука вытянута как можно дальше вперед, ее продолжение — двухметровое ружье, вот уже виден левый передний плавник — он неподвижен,— между ним и челюстью должно быть мягче. Там ее сердце, печень, артерия, только это место я вижу, и прямо туда, без паузы — ж-ж-жих — тетива выбрасывает стрелу. Она рикошетирует, отлетает, волоча тросик за спину акулы, и тогда, оттолкнувшись от воды, разворачиваюсь, поднимаясь, вижу у себя между ногами, что та даже не шевельнулась.

Держусь за край лодки, перевожу дух. Поглядываю вниз, не хватает ли кто за ноги. Но уже приободрился. Может, спит или больная. А может, мертва.

Наматывая тросик, вытаскиваю вверх стрелу, вставляю в ружье. Затягиваюсь воздухом. И опять — вниз головой, ко дну.

Теперь поступаю иначе. Теперь я тебя знаю. Начал понимать твой темперамент — царственную, никогда не нарушенную медлительность никого не боящейся твари. Мы оба хищники. Но я хищнее. Убежать я могу только после победы. Тебе неведомо это чувство. Для тебя оно неважно.

Опускаюсь на дно на четвереньки, словно спрыгнув с забора. Опять возле левого плавника. Бесшумно, песок только чуть-чуть задымил. Наши взгляды не встретились. Вся ее голова в пещере. Прислоняюсь спиной к камню, полусидя протягиваю ружье, приставляю кончик стрелы к ее коже — и нажимаю на спуск.

Ружье и мою руку отбрасывает назад, я отлично вижу, как острие стрелы нажало, словно бок консервной банки, ее скользкую черную кожу. Кожа спружинила. Не продырявил. «Ля гата» не шелохнулась. Ни челюсть, ни хвост ее не дрогнули.

Я знаю, что делаю, вижу свои действия отчетливо, как бы со стороны, как в замедленной съемке, с удивлением гляжу на то, что делаю, только не знаю, словно робот, почему так поступаю, и не могу остановиться. Может, мне было на роду написано, что этот день я должен прожить именно так. Обещал людям интересную воскресную вылазку, встряску. А себе что обещал? И когда? Что я, литовский писатель, сейчас тут делаю? Зачем вообще притащился на Кубу, на побережье Гвиры, в вечерние глубины моря? Зачем вообще рыскаю по морям? Кто меня так запрограммировал?

Несказанно медленно, целую сотую долю секунды длятся мои движения. Вижу — разбухшие в воде, толстые из-за рефракции пальцы с обломанными ногтями, обе руки намертво сжимаются вокруг ружья с торчащим гарпуном, спина и пятки упираются как следует,— медленно, как во сне, я изо всех сил вонзаю этой «гате» будто штыком в черный твердый бок. Скользкая чернота кожи — вижу отчетливо — расходится, размыкается, появляется белый клочок подкожного жира. Гарпун толстый, я толкаю еще, он вошел на какой-нибудь сантиметр. Но до зазубрины не дотолкну. Уже нет ни сил, ни дыхания.

Лечу вверх, не спуская глаз с нее — все еще неподвижной.

— Не берет! Мой гарпун ее не берет! Не пробивает! — кричу кубинцам, захлебываясь от брызг, от собственного крика; я счастлив, ведь все обошлось. Дыхательная трубка выпала, надо поймать ее, надо еще подышать. Теперь уже все. Теперь погребем к шхуне.

— Все может быть,— я слышу, спокойно говорит Попугаю Хорхе.— Большая, бестия.

* * *

Не удался героический рассказ. Я задумал в этом месте малость отойти от фактов, от того, как на самом деле было в то воскресенье в тропическом море. Написать что-нибудь изящное. Пролить немножко крови, пощекотать нервы. Но чем дольше живешь, больше видишь; дети у тебя растут, и уже стыдно выдумывать. Вообще все чаще начинаешь подозревать, что героические рассказы частенько бывают с вымыслом. Может, иной раз так надо, или автор хочет почувствовать себя героем, вознаграждая себя за серую действительность.

— ...Может быть,— сказал тогда Хорхе в лодке.— Большая, бестия.

А Попугай добавил:

— Теперь сало у нее будто камень. Надо удавкой попробовать.

Они копошатся в лодке, я работаю ластами под водой, что-то начинаю понимать, чего-то нет. Попугай достает из карманов и кладет на банку табакерку, ключи. Как сидел, так и повалился боком в воду, без всяких олимпийских изяществ шлепнулся и несется, я вижу, к этой акуле, волоча голубую нейлоновую веревку, бородища на спине будто коса, волосы вокруг плеши встали дыбом, ни в маске, ни в ластах он не нуждается. Бесцеремонно садится «гате» на хвост, накидывает петлю, затягивает узел, и вот уже отплевывается в лодке, наматывая веревку на свой кулак.

Оба с Хорхе дергают, и я вижу через свое стекло — выволакивают ее из пещеры, словно подлодку из эллинга.

Вот когда пыль столбом! Летят куски кораллов, пучки водорослей. «Гата» разворачивается и подскакивает, мощным рывком кидается в одну сторону, в другую, потом вверх, переворачивается на спину, белеет серебристое брюхо, на брюхе полумесяц пасти, зубов не разглядеть, рот словно долька мандарина, и цвет такой же желтый, я вожу ружьем, может, стоит попробовать запустить гарпун в брюхо; согнувшись дугой, кидается вниз, я вижу с гребня волны, как лодка набирает целый ушат воды; что они делают, дьяволы, упав на носу лодчонки друг на друга — руки у них повырывает! Задрав корму, лодка петляет по воде, удаляется, кружит, снова возвращается, накренясь набок, наполовину в воде. И вдруг застывает, полная до краев воды. Эти двое барахтаются, ловят вес-

ла. Я опускаю лицо в воду и еще успеваю увидеть. Нетерпеливо мотая головой, она уходит под самым дном, вверх-вниз, вверх-вниз. С легкостью уходит. Исчезает за голубыми тенями, нейлоновая веревка волочится за ней, с бахромой на конце. Оборвалась.

Пока шхуна, тарахтя, идет к деревне, мы одеваемся, причесываемся. Усталые и счастливые, как после свадьбы. Допиваем ящик пива. Смазываем друг другу йодом локти и колени.

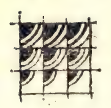
— «Гата» живучая, долго живет! — Хорхе доволен, у него есть слушатели.— Иногда нам все сети перепутает. Привезешь на берег, в сарае еще двое суток бьется. Дети налетают на нее всей деревней и, засунув руки в пасть, достают из брюха раковины. Иногда попадается непереваренный осьминог. Зачем вам эта Гавана, оставайтесь ночевать. На фиесту вместе поедем.

— Много жиру у нее.— Попугай не позволит, чтобы Хорхе один говорил.— Она моллюсками питается. Роет рылом дно, когда что-нибудь попадается, давит челюстями, мякоть высасывает.— Сложив губы, словно чмокая перед младенцем, Попугай показал, как «гата» высасывает моллюсков.— Зубы ей ни к чему. Зубы ей бы только мешали. Да и глотка у нее узкая. Только ребенок и может руку просунуть.

— А может, она не акула. Может, дельфин? — сказал Петр Олегович.

— Дельфины воздухом дышат,— сказал Петруша.

Он все знает.



Боль возвращения



Уехать — это немножко умереть, сказали, кажется, французы. Они умеют метко выразиться.

А что они сказали бы о воскрешении из мертвых, подумал Йонас Визгирда, шагая по центральной улице Вильнюса. Воскресение из мертвых — явление нечастое, нет готовых изречений на этот счет. Если бы все мертвецы воскресли, вот было бы хлопот. Пришлось бы кому-то изображать радость, а то и оправдываться перед ними, пришлось бы срочно придумывать, куда их деть. А в обществе? Можно себе представить, что бы тут началось. Коперник, чего доброго, даже в средней школе преподавать бы не смог...

Навстречу шли две бойкие девчонки. Внимательно посмотрели на загорелое лицо Визгирды, его темные руки, мгновенно оценили клетчатое пальто без единой морщинки. Девушки так разглядывают журналы мод — бросили взгляд и запомнили. Одна из них была Моника, Йонас узнал. Приподнял голову, собираясь кивнуть, и заулыбался, но вовремя погасил улыбку. Какая чушь. Еще один мираж. С Моникой он — что? Учился в школе. Ей теперь будет под пятьдесят. Конечно, это дочка Моники. Девчонки даже не заметили его замешательства. Странный покрой пальто их заинтересовал, а не высокий дядя с седеющими, по-английски подстриженными усиками, скорее всего — иностранец.

Визгирда только что вернулся с острова Маврикий в Индийском океане, проработав там пять лет, и среди людей своего города передвигался осторожно, как слепец после перестановки мебели в квартире. Пять лет — так он только говорил сам себе. Перед этим ведь были четыре года в Бенине, который тогда еще назывался Дагомеей. А туда поехал почти прямо из Норвегии. Искал нефть

в море, но норвежцы расторгли договор с Советским Союзом. Не поскупились на выплату компенсации, вежливо оплатили дорогу, но выслали всех до единого. Вопрос высшей политики, или что-то не понравилось, или американцы заревновали. Когда припаиваешь бронзу к чугуну, до тебя доходят лишь слухи. Скажут, собирай чемодан, и все, собираешь. Йонас припаивал и приваривал все ко всему как бог, но брался за эту работу, матерясь, лишь когда другие опускали руки и говорили, что вещь надо выбросить. Обучил его этому старый поляк из Витебска, вечно пьяный, в море такого не выпустишь. Когда по окончании ленинградского института Визгирда приехал в Клайпеду и из чистого упрямства, поскольку это не входило в его обязанности, привел в порядок датский компрессор, который перед этим два раза возвращали в Копенгаген, но тот все равно перегревался, список претензий датчан к нам и наших к датчанам уже стал длиной с лошадиную ногу,— так Визгирда и остался «пожарником», спасавшим в любом положении. «Золотые руки» — поговаривали капитаны судов, как и комендант общежития в Ленинграде до этого, а еще раньше — соседки в Вильнюсе. Приехав утром на работу, Визгирда не знал, протолкается ли час-другой и пойдет пить пиво с вернувшимися из моря и еще не добравшимися до душевой парнями или улетит на полгода куда-нибудь в Кувейт, потому что там болтается отряд клайпедских траулеров, построенных на судоверфи для работы в Ледовитом океане, а в Персидском заливе оказалось чуть-чуть жарче, чем в Арктике. За неисправность механизмов отправили в Москву на самолетах уже двоих главных механиков. Арабы жаловались, что мы не умеем ловить креветку. Стали брать эту креветку. Большое дело... А начальник экспедиции и после этого не отпускал Визгирду домой, хотя на судах уже не было никаких проблем. Когда начальник одалживал Йонаса другим отрядам, то требовал за него у них ящик виски. Так он и на этот Маврикий попал. Перегонял плавучий док вокруг Африки, потому что тот по Суэцкому каналу пройти не мог, огромный, тихоходный и неуклюжий; считался инженером-наставником; в приказе стояло, что только до порта назначения — пока док не поставят на якорь,— а затем возвращается в Клайпеду. Когда док поставили, выяснилось, что работать некому, потому что местную молодежь власти еще только набирают и прикидывают, в Ленинград ее послать учиться, в Гавр

или еще куда. Жене то и дело посылал телеграммы: «Через месяц возвращаюсь!» А та только рукой отмахивалась, знала она эти возвращения Йонаса. И впрямь пришлось самой с двумя детьми лететь с тремя пересадками где-то в Африке, потому что прямой линии не было. Две ночи в дороге без сна.

Но теперь уже все. Сколько лет он не в Вильнюсе? Если прибавить Ленинград, все экспедиции, половина его века прошла. Детей надо учить дома, дочка по-литовски говорит с английским акцентом, «кх-ошка», сын — с французским. Совсем не смешно. Приносят двойки по литовскому, русскому, математике, истории — ревут, а не обругаешь их. Они по другой программе учились. Мол, ты, папа, виноват. И правда, виноват.

Клайпеда отпустила его, не стала возражать. Йонасу даже обидно стало. С другой стороны, немало и он сам им насолил, скопилось у них за эти годы. Найдет что-нибудь смонтированное вкривь да вкось, так и запишет в акте: «Техническое тупоумие». А какой начальник обрадуется, если у него такой бардак, что привести все в порядок может только гений. Да и кто любит гениев-то. Поломки должны быть плановые. Времена кудесников-универсалов миновали. Вдобавок отвыкли от Йонаса, пока он сидел на Маврикии, молодежь пришла. Зачихал какой-нибудь дизель, работнички покопаются в нем, покопаются и выдирают краном, другой ставят. А то из-за границы выпишут. Богатые мы стали.

Из троллейбусной давки на тротуар задом выскочил человек, стал поправлять сдвинутую набекрень шляпу, так и застыл:

— Визгирда? Господи! Йонас ведь, правда?

Перехватил портфель левой рукой, поздоровался, а потом, подумав, обнял свободной рукой и поцеловал Йонаса, тот его — тоже, потому что человек и впрямь был вроде бы знакомый.

— И давно же... Когда вернулся? Может, уже насовсем? Говорят, ты в моря ходил?

Как все литовцы под пятьдесят, человек был круглый, бодрый, от хорошей еды и пива на лице голубизна прожилок.

— А мы, видишь ли, так и маемся. С совещания на инструктаж, потом на коврик, и опять двадцать пять. Потеем, а работать некогда.

Как все литовцы, торопился жаловаться. Взял под руку:

— Ну рассказывай, как там, а? Загребаешь прилично?.. Вот, одет...

Что фамилия у человека странная, кажется, Апуодас, Визгирда уже вспомнил. Их было три брата — один с Йонасом поступал в Ленинграде, экзамены сдал, но вернулся домой, испугавшись, что не прокормится. С другим в школе играли в баскетбол, и однажды вся команда, сняв с него штаны, обкапала его чернилами. Третий был служкой в костеле. Который это из них?

В пивном баре Апуодас заговорил с Йонасом по-английски, но непричесанная барменша не среагировала... Визгирда отвечал по-литовски.

— Ты, кажется, и за границей работал? Послушай, как там бабы, а?

— Лучше расскажи, как твои братья. Давно не видел. Живы-здоровы оба? — этим методом Йонасу иногда удавалось нащупать под ногами почву, понять, с кем же он все-таки разговаривает.

— А, у всех одна песенка... Детей растим, женим, ждем внуков и инфаркта. Я-то горел, может, слышал? Был уже директором совхоза. Ночью загорелось. Только-только успели мы лен свезти. Дали условно, сейчас в другом районе заместителем. С тех пор даже спичек с собой не ношу, а ну все к черту. А в Пасвалис даже не езжу, не тянет. Я там в каждом прохожем сволочь вижу. А, да ладно... Как к нашим там относятся, а?

Как и мы к ним, хотел было отрезать. Но прозвучало бы надменно, еще обидится человек. Может, и впрямь ему любопытно.

Как относятся... Если бы кто мог сказать.

Пришли они в эту республику, как там ее называют. На западном берегу. Пришвартовались ночью, чтобы выгрузить мороженую сардину, а в полдень — стрельба. Потом только узнали, что какие-то леваки пытались совершить переворот. Перед этим улицы опустели. Внезапно ни прохожих, ни полицейских, ни таможников. Двери складов открыты, нигде ни души. Капитан вздумал позвонить. Пошел через опустевшую площадь, завернул на пакгаузы и тут же назад, вернулся рысцой, как юнец. Вслед за ним — «шермен» с закрытыми люками. Повел пушкой, будто хоботом, принюхался. Ребята на палубе так и присели, пригнулись к лебедкам, прижались к доскам. А тот только

фырр-фырр, стал разворачиваться, раздумал, попятился, лязгая гусеницами по булыжнику. Отдать бы швартовы и уйти, а ну ее, эту сардину. Но за воротами порта стоял корвет брандвахты с крупнокалиберными, кто знает, как бы ему это понравилось.

Под вечер, когда город уже горел и вертолеты летали на уровне балконов — красивые дома колонизаторы построили, надо признать: город голубых небоскребов, на балконах гирлянды вьющихся роз, сохнущее белье да петухи; круглые сутки город кукарекает, неважно, стрельба или тишина,— пришел этот негр. Высоченный, как статуя, плечи с футбольные ворота, не влезает в форменную леопардку. «Калашников» поставил между ног, едва до колен ему автомат достает. Один погон сорван, а во всем остальном ничего, в порядке негр. Стоит на пустой набережной, даже не озирается.

— Что вы меня не заберете, хлопцы, знаю. Я понимаю.— По-русски говорил московской скороговоркой, ни тени акцента.— Я говорю, может, жену забрали бы с тремя детьми? Ольга... Она Тимирязевку кончила... Леша, Петя и малыш Кузьма... А?

Люди сидели в каютах, пили хлебный квас, спасаясь от жары. К иллюминаторам не совали нос уже с полудня. Тихо было на судне, все хорошо слышно.

— Говорю, куда-нибудь в кладовку. Или среди ящиков, на днище куда-нибудь, а? Сетями забросаете, а?

Лоб у негра был высокий, двумя ладонями не закроешь. Без фуражки, подстрижен по-военному, это видно. И белки глаз огромные, фарфоровые. Как детские глаза на рисунке художницы Тарабильдене.

Ребята, как всегда, когда трудно, когда опасно, когда всем не по себе, сбились в кучу. Сидят в двух каютах на койках, на полу. Пьют квас и курят, не глядя друг на друга. Когда уже стало казаться, что тот до вечера не уйдет, капитан взял мегафон. В своей каюте. К окну не подошел. «Фу, фу»,— подул по привычке.

— В наше посольство идите.— Капитан пытался говорить шепотом, но гремело на всю площадь.— Фу-фу. Такие вопросы посольство решает.

— Я знаю, что посольство решает и чего не решает. Перед вашим посольством, хлопцы, два «шермена» стоят и отряд львиноголовых с собаками...— Было видно, что на лбу у него выступила испарина.

На судне молчали.

Он еще послушал тишину, посмотрел на посеревшее за молом море, запрокинув голову, поглядел в туманное небо, рывком выбросил левой рукой «калашников» в воздух, поймал правой, одновременно поворачиваясь как на параде, и ровным шагом удалился за пакгаузы. Хорошую школу негр прошел, ясно видно.

Выстрелов долго ждать не пришлось. Поначалу два автомата одновременно разлаялись, потом подключился третий. Криков не было слышно.

Их разгрузили только через месяц. Обыскивали каждую ночь. Открывали чемоданы, даже бельевой шкаф капитана перевернули вверх дном, хотя обычно капитанскую каюту не трогают...

— Лен был лучше, чем твоя кукуруза,— продолжал Апуодас.— Государственная премия или золотая звездочка — как пить дать. Сам в Калининскую область ездил, у селекционеров выклянчил семена, закоптил и отвез им две свиные туши. Наверное, муж Ниёле поджег мне лен. Был у меня завотделением. Мямля. «Здрасте» без бумажки сказать не мог, а куда уж... чтобы поговорить... как мужчина с мужчиной. Ниёле ко мне по ночам в баньку на мотоцикле приезжала. Баньку, конечно, не для себя строил. Знаешь, как в районе бывает. То местная власть нагрянет, то из Вильнюса, то из Москвы. А то позвонят: «Прими делегацию венгерских землеустроителей. Чтоб по первому классу». Или: «Устрой вечер для писателей». А из какого кармана брать, не говорят, и ты лучше не спрашивай, дураком останешься. Вот так... Тебе-то хорошо, хорошо ты устроился, ох хорошо... У тебя все всегда получается, за что ни возьмешься, все получается. Ведь, наверно, со всей семьей там сидел, правда?

...Даже в двухэтажном коттедже, вокруг апельсиновая роща и олеандры. Садовник и служанка. Жена во всех комнатах развесила репродукции Чюрлёниса, национальные тканые пояса. За домом, где в тени было чуть прохладнее, посеяла руту. А по средам вставала на час раньше — голову моет, перед зеркалом торчит и уже ждет в дверях — завези в посольство. По средам приходила почта из Союза. Если циклон, революция, стачка или поломка самолета не задержит. И фильмы по средам крутили в посольстве.

В порту белых было свыше десятка. Некоторые уже на местных женаты, но все равно все «сахибы». Вообще подобной пестроты населения нигде не найдешь. Неудивительно, что и цапаются между собой. Французы навезли негров из Африки и Мадагаскара — еще во времена работорговли. Некоторые так и остались черными, у других прибавилось белой крови, но все считают себя креолами и говорят только по-французски. На своем жаргоне, конечно, на местном. Когда Англия в наполеоновские времена отбила остров, доставила бенгальцев, индусов. Теперь каждый из них — «британец» и говорит только по-английски. Еще китайцы, которые черт знает куда смотрят; арабы — эти-то прикинутся кем угодно. Слава богу, что хоть нет производственных совещаний — сказал, и точка. Йонас поначалу больше приглядывался, чем работал, но месяца не прошло, и все равно каждый в порту знал, что «Jonas — great enginier». Что ж, хороших инженеров они в глаза не видали: кто поедет сюда из Англии или Франции кормить тараканов? Разве что какой-нибудь присохший к берегу судовой механик или сбежавший от шотландских туманов пенсионер.

Когда они стащили со скал либерийский танкер с продырявленным днищем (хорошо, что польский буксир подвернулся, без поляков ничего бы они не сделали; работенка была — будь здоров) и, приподняв сперва нос, потому что танкер был в три раза больше дока, а потом таким же способом заклинив корму, понтонами пришлось придерживать, залатали днище,— фирма давно списала было танкер в убытки, и даже страховая компания не собиралась судиться,— после доброй выпивки начальника порта, грек, пригласил Йонаса в кабинет выкурить сигару. Выгнав слугу (Папандреакис не держал дома женщин, у него вертелись только стройные мальчики из Пакистана, и все на острове знали, почему это так), придвинул через стол конверт.

— Это тебе. Бонус.

Йонас заглянул — толстый кирпич сотенных.

— Спасибо.

— Сосчитай! Это лично тебе. В документах нигде не фигурирует.

— Сколько есть, столько и ладно...

Папандреакис ухмыльнулся.

— Сколько ты, Джонас, жалованья получаешь?

— Сам знаешь. Твоя касса платит.

— Я знаю, что тебе выплачивают две тысячи долларов в месяц. И что ты с ними сразу же идешь в посольство. Сколько тебе остается?

— Сколько остается, столько остается. С меня хватает. Ты тоже платишь налоги.

— Налоги — дело другое... Ты же сам знаешь, Джонас. Такие инженеры, как ты, ведь не валяются. Тебе не надоело?

Йонасу уже много что успело надоесть, но, наверное, не то, что имел в виду капитан порта.

— Я мог бы тебя чудесно устроить. Точнее, вместе, на паях, могли бы основать фирму. Где-нибудь на островах Фиджи или в Панаме. Где густо от кораблей и нет русского посольства. Я знаю рынок, финансы и знаю твои возможности. За десять лет мы стали бы миллионерами.

Йонас знал, как обязан поступить. Учили их каждый раз, отправляя за границу, и правильно учили — дай в морду, пни ногой стол и как следует хлопни дверью. Тогда успокоятся, тогда такие разговоры не повторятся. Но знал также, что никакая разведка не засылала сюда Пападреакиса. Хитрому греку деньгами запахло, и только. А ведь с ним придется работать.

— Я могу остаться в доке. И не писать рапорт министру экономики об этом твоем предложении. И даже этот бонус у себя оставить,— Йонас ткнул пальцем в карман пиджака,— если мы договоримся, что оба были очень пьяны. Ты не помнишь, что ты говорил, а я ничего не слышал. Иначе ищи другого инженера, и я еще не знаю, что скажет министр экономики по поводу твоей политики. Помнишь, как там написано в договоре?

— Да что ты, что ты! Я только как моряк моряку!

— Я тоже. Как моряк моряку...

...Непричесанная барменша без зова снова поставила четыре кружки. Она знала клиентуру и экономила свое время, снуя около мраморной стойки. Апуодас говорил, что люди у него, видите ли, не желают работать или только делают вид, что работают. Почему? Почему не хотят работать в деревне? Кто же хлеб будет выращивать, скот, как дальше жить будем...

...На четвертый год так захотелось домой, что хоть

волком вой. Зеленый сахарный тростник круглый год шепчется, словно готовя заговор. Как начнется от забора, так зеленый лес до самого горизонта, до коричневых гор. Начнешь рассказывать кому, получается красиво, интересно. И воздух вечно теплый, будто парное молоко. Туристы из Европы платят тысячи, чтобы две недельки пожить на Маврикии, а когда живешь постоянно, то на эту духоту, на вечно заложенное серыми муссонными тучами небо, на этих тощих, шоколадных, озабоченных, словно у каждого язва желудка, людей смотреть тошно. На их нищету, неграмотность, незнание, как другие живут на свете. Тошно, и все. «Аэрофлот» уже открыл прямую линию на Москву, каждый год летали на два месяца в отпуск, и все равно. Особенно когда письма из дому стали едва-едва капать, по одному в месяц. И братья Йонаса, и семья жены — все отвыкли. У каждого своя работа, наука, дети, семья, любовь. Приятели — сколько лет уже никто не писал. Кто-то сказал, что человек начинает умирать, когда теряет друзей. Вроде и слишком вычурно сказано, ради красного словца. А если подумать — никакой вычурности, все так и есть.

Начнешь рассказывать — получится: вот житуха! Ни фирмы, ни ее головоломок, ни риска. Детей в католическом колледже учат хорошим манерам, апельсиновые деревья в саду доросли до крыши, несорванные плоды так и засыхают на ветвях. Шофера посольства позовешь, чтобы набрал себе. Собираясь в отпуск, всегда говорили «домой». Хотя окна квартиры в Вильнюсе — сколько в ней жили-то! — закрыты плотными шторами. Когда отпираешь три замка, сорвав печать, шибает пылью, как из музея. А под конец отпуска никогда не говорили «возвращаемся домой». Говорили «возвращаемся на Маврикий». Домой — это на родину. На работу только ездят, хоть и двадцать лет подряд. И с нее возвращаются. Даже дети этого не путали.

Как объяснить это Апуодасу?

Это надо самому пережить. Когда ставишь на лестницу тяжелый чемодан, выуживаешь из пластикового мешочка посеревшие ключи, когда со скрипом открывается дверь... Радость возвращения, чувство корней, снова оказавшихся в земле. На стене прошлогодний календарь, на нем обведенный красным карандашом номер телефона поликлиники. Раздвигаешь шторы — крыши твоего города, люди. Радость — будто зажатый в кулаке воробушек, и

ты держишь ее, эту радость, ждал ее столько, столько суждено было ждать, она самая чистая из всех радостей твоей жизни.

А что потом ты пойдешь по улице один, никем не узнанный, что, встретив Апуодаса, не будешь знать, который это из трех братьев, что жена будет пожимать плечами, потому что слишком часто слышит это хитроумное словечко «дефицит», а в магазинах, расскажут соседки, появились две двери, одна парадная, а другая, маленькая, со двора, что Клайпеда так и не бросилась на колени, умоляя стать большим начальником,— все это будет потом. Нормальное течение жизни. Как седина или старость. Принимаешь без дискуссий.

Жена вернулась в лабораторию института, и деньги еще есть, двоюродный брат выгодно продал машину. Йонаса. Дети догонят программу, никуда не денутся. Уже приятелями обзавелись, жевательной резинкой делятся.

Только один-единственный вопрос еще не решен. Когда воробушек в груди перестал трепыхаться, когда разгружены чемоданы и шторы отданы в стирку.

Что делать дальше? Как жить?

У Визгирды были приятели, некоторые уже сидели на хороших местах... Нажал на кнопку, секретарша тут же принесла кофе. Даже не допили его, выяснилось, что работа, конечно, есть, для хорошего механика всегда найдется. Конечно, поначалу придется снова надеть спецовку, начать где-нибудь заместителем цехового мастера. Может, оно и правильно, что никто не держал место с табличкой «забронировано для Йонаса Визгирды».

Ясно только одно. Такой работы, как в доке, или в Дагомее, или вообще в море, где сам себе хозяин — и бухгалтер, и начальник планового отдела, Клайпеда с Москвой далеко, радиограммами не наруководишь, «решайте на месте согласно обстоятельствам» — привычный ответ,— такой работы в нормальной жизни просто-напросто не бывает. И человек с такими навыками опасен.

Другое оказалось куда важнее.

Чем ласковее говорил тот или иной приятель, тем больше напряжения слышалось в его голосе. О Визгирде, и он сам это знал, в мире технарей ходили легенды. «Таран». «Не знает жизнь». Возьмешь к себе такого, а в один прекрасный день, когда сложится соответствующая ситуация, начальство надумает поменять вас местами...

— Ну, проклянет меня шофер! — Апуодас озабоченно стал подзывать барменшу.— Спрячь-ка бумажник. Говорю тебе, спрячь... А мы хозяйничаем понемногу... Загляни как-нибудь в Павиржянис, семейство свое прихвати... Пиво варим, гусей коптим... Так и не поговорили мы с тобой толком. Ничего не рассказываешь. Задаешься... Интересно узнать, как там и что... Приезжай. Директора пригласили бы, секретаря райкома... А может, какую государственную тайну хранишь, а? Ну, ну, брось, не сердись... Молчу, молчу...

На тускло освещенной улице в основном студенты — шумные, модные, пропахшие потом. В окнах — голубые отсветы телевизоров.

Жена встревоженно поглядит, не много ли выпил, обругает, что курит без остановки, весь дымом провонял. А если инфаркт? Кто детей на ноги поставит?

Завтра опять выйдет, может, опять кого встретит. Город привыкнет видеть Визгирду на улицах и в кафе. Молчаливых, экзотических собеседников все любят. Поспрашивают и, не дождавшись ответа, станут излагать свое. Когда не можешь достать шамотный кирпич или у ребенка скрещиваются коленки и кто-то должен каждый день делать с ним зарядку, а жена уходит на работу к восьми, тебя меньше заботит застреленный за пакгаузом негр, да и вообще проблемы другого человека где-то за океаном...

Когда он только вернулся, в одном доме стал было рассказывать, какой ужас охватывает, какая паника, когда письма обрываются — изредка одно-другое, да еще в Новый год. Жена, умный человек, сигнализировала с другого конца стола: «Не надо!»

— А я вообще писем не получаю,— сказал хозяин стола, соскребая ножом майонез с галстука.— Только из общества охотников и раз в год из автоинспекции.

Все рассмеялись.

Йонас понял, что начни он о двухэтажном коттедже в пригороде Порт-Луи, о свеженакрахмаленных шортах каждое утро перед поездкой на работу... и что два года писал в Клайпеду, в Москву, угрожая, что сядет на первый же самолет, не дожидаясь замены, за столом воцарится тишина. Нет, лучше не надо...

Ничто из последних двадцати пяти лет не годилось ни для бесед, ни для жизни. Кусок биографии, отрезанный и выброшенный, зря прожитые годы.

Визгирда больше всего гордился учебником, который написал на языке суахили. Может, и не учебник, больше инструкция по обслуживанию плавучего дока, но вот взял и написал, не зная ни слова на суахили. Отыскал заводскую инструкцию, противопожарные правила, всякие указания, добавил от себя «случай 1», «случай 16», усадил рядом двух учительниц арифметики, владевших английским, диктовал им, а те сразу писали на языке суахили. Терминологию создавали вместе. На полях учебника Йонас сам нарисовал карикатуры, чтобы интересней было читать, с подписями: «так можно», «так — нельзя». Пападреакис тут же приказал размножить на ксероксе, чертежи, тексты и даже карикатуры вышли аккуратно. Потом были письма даже из Дар-эс-Салама и Бейры, просили прислать экземпляры. Йонас привез одну копию в Вильнюс, держал у себя на столе. Любо смотреть — углы захватанные. А потом швырнул в ящик. Еще кто увидит, долго придется объяснять. Тогда работы даже на теплоцентре не получишь.

Отперев дверь, включил в прихожей свет. Фотография заснеженного Ян-Майена, на другой он сам перед китом, кажется, на берегу Нью-Фаундленда, только складки у плавников видны, больше не уместилось в объективе. На третьем, цветном снимке он с президентом и еще одним, радостно ухмыляющимся. Рассказывали, что тот через год подорвался на гранате, когда присланные президентом окружили штаб и стали бить прикладами в дверь.

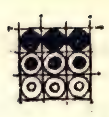
Из спальни пришла жена, придерживая рукой пушистый халат. Не из-за выпитого им пива посмотрела на него так. Она теперь каждый день взглядом спрашивает. Йонас погладил ее плечо, они давно уже могли не разговаривать. Услышав запах жареной картошки, пошел на кухню. Картошкой вся семья все еще не могла наесться вдоволь. Радовало, что для детей есть детский врач, для желудка — специалист по желудку, ни у одного двух месяцев ждать не надо. Что за курсы балета для дочки ничего не надо платить, что землю тут не трясет, не налетают циклоны. Что не надо собирать чемоданы и никогда уже не понадобится.

Ничего, в конце концов, не случилось. Просто жизнь треснула на два куска, которых не склеишь. Бывает и хуже. Бывает, что биография разлетается вдребезги, на мелкие кусочки.

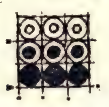
Он привыкнет. Начнет носить свитер вместо полосатой сорочки. Без спешки сделает из теплоцентра куколку. Не надо только пугать людей. А тогда начнут его приглашать на консультацию, глянь, и заявку на изобретение вместе с кем-нибудь оформит. Школа у детей хорошая, дочка, бывает, возвращается со сверкающими глазами. Сын клеит модели.

Только медленно все надо, медленно, по-литовски. Нельзя тащить в дом из силикатного кирпича вихри эпохи — не та постройка. И вулкан Кракатау не потащишь с собой в очередь за молоком. Надо совсем-совсем немного — только забыть свою юность и зрелые годы.

Тогда все заживет.



По-мужски



— Если бы замерзший человек тоже мог вот так оттаять,— сказала Насте, разглядывая веточку рододендрона в вазе.

— Ты хотела сказать: человеческое сердце... Ты любишь пышные слова.

Стяпас сидел, упираясь в стол подбородком. Насте продолжала улыбаться. Успела привыкнуть, что он постоянно хамит. Молча ласкала подушечками тонких пальцев пушистую ветку. Розовые лепестки напоминали скромный цветок литовских лугов. Только что распустившиеся листочки казались теплыми, как дыхание.

За обледеневшим окном буйствовала пурга. Насте знала — это, пожалуй, самая сильная из всех вьюг, неистовствующих сейчас на планете. Но она не чувствовала ее, даже не замечала, как ходит ходуном деревянный вагончик. И в ушах не звенело, хотя четвертые оконные стекла вибрировали, словно мембрана. Всего полгода назад Насте сходила с ума, едва только мелко задребезжат эти стекла. Ведь домик стоял высоко на скалах, первым на пути ураганов с Тихого океана. Двинет шторм в стены, в окошки, взмоет ввысь и снова беспрепятственно мчится по просторам Охотского моря. Ночью в комнату вдруг врывался ледяной ветер, по полу кружились снежные заверти. Насте знала — это не опасно. Ведь одной стеной домик упирается в скалу. Не унесет его ветер. Просто сильный порыв на миг приподнял его с фундамента.

Насте старалась не поцарапать обломанными ногтями нежные листочки. Странное растение этот дальневосточный рододендрон. Куст, как и всякий другой. А срежь с него прутик хоть в разгаре зимы, поставь в теплую воду — и через три дня распустятся душистые листочки салатного цвета. Еще двое суток, и веточку облепят розова-

тые цветочки. Ветка-невеличка, а словно теплый очаг в комнате.

Насте протянула через стол обнаженные руки, взяла в ладони голову Стяпаса. Почувствовав, наверное, что пальцы блуждают по его лицу заученными движениями, без того трепета, с которым ласкали рододендрон, досадливо мотнул головой и смахнул Настины руки.

— Скоро весна... Прилетят чайки, миллионы, миллионы бакланов...— Насте говорила мягко, словно сказку ребенку рассказывала.

— Бакланы птенцов блевотиной кормят.

— Бывают и люди, которые постоянно потчуют этим своих близких.

Она встала без вздоха. Подошла к печке, помешала уголь. Стяпаса бесило — почему она и дома ходит в этих меховых замасленных штанах, заправленных в валенки? А руки голые... Насте проскользнула на кухню. Стяпас ненавидел эти ее бесшумные движения. Будто кошка! Он понимал — Насте и к огню-то подошла специально, чтобы убежать не сразу. И дверью не хлопнула. А разговаривать с ним не будет до самого вечера.

Стяпас потрогал зуб. Пальцы опухли, отекли, и поэтому казалось, будто зуб шатается. И другой шатается, и третий, и четвертый. В глубине души Стяпас злорадствовал — скоро выпадут все. Что сейчас? Апрель? Наверно, днем на дворе уже бывает светло. Ел ли он сегодня хоть что-нибудь?

Как же он познакомился с Насте? Ага, это случилось в Вильнюсе. В университетском актовом зале, на вечере танцев. Всякая пошлятина начинается с танцулек. Сто лет с тех пор прошло. Тогда у Стяпаса не было плеши и он зубами мог проволоку перегрызть.

Он встрепенулся от нахлынувших воспоминаний. Даже голову поднял.

...Торчал он в тот раз, как всегда, в углу зала. Рядом с ним на свободный стул опустилась Насте. Краешком глаза Стяпас мгновенно оценил — семнадцатилетняя. Распарившись, обмахивалась белым платочком. Потом резко повернулась к Стяпасу:

— А вы почему не танцуете?

В те времена Насте все делала внезапно, по наитию. Поступала так, как ей вздумается.

Стяпас уже рот раскрыл — сейчас отбреет. Нет, не похоже, чтобы девушка искала компаньона на вечер. Моло-

денькая, очень недурна собой. Таким нет надобности набиваться на знакомство. Черные волосы волнами падали на плечи. Лицо — белое, не раскраснелось даже от танцев, огромные синие глазищи. На груди — блестящая брошь. Стяпас подумал, что брошь ей ни к чему — внимание отвлекает. Эта девушка не нуждалась в украшениях — только черное платье и эти бездонные глазищи.

Он сказал:

— Будь у меня девушка, которую захотелось бы обнять... Тогда уж чтоб ни души кругом не было...

— Ого! Разве танец — только объятия?

— И ни за что на свете не позволил бы ее обнимать другим.

— С вами не соскучишься!

— В таком случае бросьте размахивать платочком. По́шло!

Стяпас ждал — уйдет, обидевшись, или нет? Но когда снова повернулся к ней, увидел, что, пунцовая от смущения, она запихивает платочек в рукав и никак не может попасть.

— А вы... вы-то сами... никогда не бываете пошлым? — Ее лицо все еще горело.

— Разве не вы говорили, что со мной не соскучишься?

— Хозяева вечера могли бы быть и полюбезнее...

Стяпас усмехнулся, раскусив нехитрую уловку.

— Никакой я не хозяин. Я — с другого факультета.— Потом сжалился и добавил: — А я думал, что это вы — медичка.

— Нет, я даже не студентка. Мы с подругой пришли,— охотно отозвалась девушка. Румянец уже исчез, но она все еще стеснялась взглянуть на Стяпаса. Каждую фразу теперь обдумывала наперед — боялась попасть впросак.— Работаю на телеграфе. Заходите. Отправлю телеграмму вашей девушке: «Люблю, жду, целую».

Стяпас заметил, что «люблю», «целую» она старалась произнести самым непринужденным тоном. Он снова усмехнулся.

— Нет у меня такой девушки,— сказал он, ощущая легкий приступ скуки. Ведь с этих слов все и начинается...

— Не верю. Наверно, вы уже давно женаты. И куча ребятишек!..— Девушка смеялась немного искусственно.

Опять заиграла музыка, и по паркету через весь зал к ним устремился высокий медик в лакированных туф-

лях. Поклонился ей. Насте отрицательно затрясла головой.

— Но я в самом деле не умею танцевать! — предупредил ее Стяпас.

— Опять неправда! Я вас не раз уже видела, и подружки говорили...— она прикусила губу, поняла, что проболталась.

То, что им интересуются, Стяпасу казалось естественным. Действительно, еще год назад он не пропускал ни одного танцевального вечера, новые танцы приносил в зал. На него смотрели, выпучив глаза. А теперь что? Все выделывают выкрутасы, как только кому в башку взбредет. Вот он и завел привычку сидеть в углу. Ребята подбивали его, он замечал выжидающие взгляды девиц — и этого ему хватало.

— Да просто... скучно толкаться в толпе,— ответил Стяпас.

— А есть у вас что-нибудь свое, заветное? Что не скучно?

— Да. Мечты. Они могут и не быть обыденными.

Стяпас чувствовал себя в ударе. Хорошо, когда жадно ловят каждое твое слово. Фантазия работает, и слова от этого звучат убедительно, даже самому себе кажется, что ты и раньше об этом размышлял.

Уже добрых полчаса они бродили по тенистой улице Чюрлёниса. Кругом — липы в несколько рядов: с края — старые, ближе к мостовой — молодые. «Тоже семнадцатилетние»,— подумалось Стяпасу.

— Я действительно больше всего на свете боюсь стать пошлым или смешным,— говорил он.— Что может быть глупее — нахлебаться после занятий жидкого супа, а потом бегать по общежитию в поисках сапожной щетки... А в полночь гордо провожать домой через весь город девицу...

— А что вы еще можете предложить? — Насте посмотрела на него в упор своими глазищами; в потемках они казались черными, и было ясно — она не смотрит, она спрашивает.

И слова приходили сами собой. «Если девка влюбится,— подумал Стяпас,— пусть пеняет на себя. Такие речи для девиц опасны».

— Призвание мужчины — борьба. Только в борьбе возможно предельное напряжение всех сил, понимаете? И только в этом — счастье. Ведь путь наш так короток —

разве можно прожить без счастья? И если вся наша жизнь — игра, то я желаю играть по-мужски.

— Ну, допустим... Ведь вы — физик?

— И что же? — Стяпас заподозрил, что девчонке известно о нем все.

— Окончите университет... устроитесь на работу в школу... будете преподавать по программе...— она говорила робко. Боялась, что Стяпас вдруг замолчит.

— Я никогда ничего не делаю по программе. Нужно создать свою программу, самому написать книгу своей жизни. Не авторучкой, конечно. Книгу про великую любовь. Про борьбу. Про трудности — про бешеное биение сердца! Вы читали Киплинга?

If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, doh't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise,

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch and toss,
And lose, and start again at your beginning
And never breathe a word about your loss;

If you can fill the unforgiving minute
With sixty second's worth of distance run
Yours is the Earth and everything that's in it,
And — which is more — you'll be a Man, my son!

Девушка смущенно молчала, и, выдержав паузу, Стяпас перевел:

— Если ты можешь ждать и не устать от ожидания или, когда вокруг лгут, не запутаться во лжи, а когда тебя ненавидят, не позволить себе ненависть, и все-таки не казаться слишком хорошим, даже не говорить слишком умно; если можешь сложить вместе все свои победы и рисковать всем сразу, доверив волнам, и потерять, и снова все начать сначала, ни словом не обмолвившись о поражении; если ты можешь заполнить незабываемую минуту шестьюдесятью секундами, из-за каждой из которых стоит бежать далеко,— тогда твоей будет Земля, все, что на ней, и — самое главное — ты будешь Мужчиной, сын мой!

— Я вас именно таким и представляла себе,— шепнула Насте, когда они подошли к ее дому.

— По лбу о людях судите? — рассмеялся Стяпас, хотя ему понравилось. Девушки не раз говорили, что у него волевые брови и что лоб мужской.

— Вот и проводили через весь город! — Она попыталась усмешкой снять свое смущение.

Узкая, потная ладонь вздрогнула в его руке, каблучки застучали за темным проемом подъезда. Насте так и не обернулась.

Они стали встречаться довольно часто. Стяпас звонил на телеграф, и она приходила. Когда он впервые поцеловал ее, казалось, что Насте давно уже этого ждала. Стяпас читал ей стихи Шелли, Байрона, Киплинга. У него был звучный баритон, и старинные, неведомые ей, немного монотонные песни приобретали глубокий смысл. Пел он где угодно — даже на улице, нимало не тревожась, что прохожие обернутся.

Привет тебе,
Полярная земля,
Где тайны окружают
Царство смерти.
Мы понесем туда
Свои знамена.
Все одолеем:
Жуть,
Тоску
И смерть!

— А расскажи, как ты, как ты сам собираешься жить! — Она привыкла, спрашивая, словно маленький ребенок, хватать за рукав и теребить.— Расскажи мне! На БАМ поедешь?

— Людям хочется ордена заработать... Не смейся над ними, Насте...

— Так что же тогда? Какой будет твоя книга жизни?

— Мужской.

И, не добавляя ни слова, останавливался где-нибудь у освещенного окошка полуподвала. Люди не знали, что за ними наблюдают; они были похожи на рыб в аквариуме. Мыли себе головы, валялись на постели в сапогах, предавались ласкам, развешивали гирляндами белье для просушки.

— Поели — сыты... Окна — высоко, им лень даже голову поднять.

Насте почувствовала неловкость — она тоже жила в полуподвальной квартире.

— Сам знаешь — трудно с жильем... Что же делать?

— Только свинья ничего не может сделать. У нее всего-то и дороги, что от кормушки до скотобойни.

После слов Стяпаса ей всегда требовалось некоторое время, чтобы их осмыслить. Поэтому прогулки с ним были для Насте праздником. Все он видел иначе, в другом свете. Словно на высоченных каблуках идешь. Ей было жалко других людей, у которых нет такого счастья. Наедине с собой она повторяла его слова, отчетливо видела его лицо — широко раскинувшиеся, как крылья птицы, брови, его непримиримость к будничности. Она могла сколько угодно любоваться его лицом — он не замечал пристального взгляда. Насте однажды вздрогнула от мысли — придет время, и он найдет такую, с которой сам не будет сводить глаз. Другую, которая сумеет жить его мыслями и планами, которая будет ему необходима. Насте теперь каждый месяц откладывала треть своей зарплаты. Однажды она появилась в новом платье. Стяпас криво усмехнулся и сказал, что кримплен давно вышел из моды. Насте страшно переживала. Мать ее ругала, но ничего поделать не могла. Насте продолжала экономить, даже на еде.

Раз Стяпас попросил позвать ее к телефону и услышал в трубке приглушенные слова подруги:

— Опять этот твой интеллигент...

Потом быстрое «цок-цок» каблучком и запыхавшийся, чуть-чуть вызывающий голос Насте:

— Слушаю, мой дорогой.

Она всегда опрометью бросалась к телефону — словно, не дождавшись ее, он мог повесить трубку.

Настины приятельницы, встретив их на улице, провожали любопытными взглядами. Насте только выше поднимала голову и цеплялась за его локоть. Стяпас возмущался:

— К чему эта показуха?

Подруги часто приставали к Насте:

— Чем он тебя приворожил? Что он — черного хлеба не ест? Не по земле ступает?

Насте молчала, уставившись в пол, чтобы скрыть предательский блеск глаз. Как-то раз, в минутку откровенности, призналась:

— Другого такого вообще на свете нет... Вот говорите — а сами никогда в его глаза не заглядывали...

Приятели Стяпаса тоже допытывались:

— Все водишь под руку эту телеграфистку?.. Хоть бы смазливая была — чернявая какая-то! Ведь полный курс девок!

Стяпас с товарищами разговаривал осторожно:

— Женщина — лучший друг человека...— Циничный топ в общежитии был обычным делом.

Он никогда не ввязывался в бесконечные споры студентов, как бы его ни вовлекали. И само собой получалось, что он оставался чем-то вроде арбитра. Если в компании Стяпас раскрывал рот, все умолкали и прислушивались. Чаще всего это были обычные слова, только сказанные вполголоса. Стяпаса уважали, хотя иногда и подтрунивали над ним:

— Когда же ты напишешь книгу своей жизни?

Но он умел молчать. Так, как молчит человек, на голову выше других.

Соседи по комнате, прожившие с ним уже три года, смеялись:

— А вы попробуйте на него внимания не обращать! Разве не знаете — Стяпас обожает служить темой разговоров...

Только сокурсницы дружно опекали Стяпаса.

— Чего вы от него хотите! Человек ищет свою мечту, а вам хочется, чтоб все были на одно лицо. Пошли, Стяпас,— уводили они его в сторону.— Приходи,— шептали,— вечером в нашу комнату — у Эллы день рождения. Тебе надо рассеяться...

Раз он попался. Зашел к Насте домой и застал всю семью. Мать, добродушная толстуха, встретила его, как старого знакомого, медоточивой улыбкой, долго жала руку и только что не называла зятьком. Отец на минутку исчез и возвратился с бутылкой в кармане. Стяпас извивался как угорь на сковороде. Насте, взволнованная настолько, что дрожали ее тонкие пальчики, в первый раз чуть-чуть накрасившись, все наклонялась к его уху:

— Ты им очень, очень понравился. Они очень хорошие, ты не обращай на них внимания...

Стяпас решил больше не звонить.

Через две недели она сама появилась в общежитии:

— Идем.

— Послушай, Насте...

Она ладонью зажала ему рот:

— Все, все понимаю... Идем!

Перепуганный Стяпас только поглядывал исподлобья. Шальная девчонка, будто не видит — как назло, все соседи по комнате в сборе и только прикидываются, что заняты своими делами.

— Идем, идем... Никого нету. Все укатили на свадьбу к двоюродной сестре. На два дня.

Дома ждала бутылка вина, в комнате было прибрано.

Стяпас считал себя порядочным человеком и смущенно заговорил — Насте ошибается, они не могут стать мужем и женой, она необыкновенная девушка, но все не так просто, надо найти свою дорогу...

Насте чуть не расплакалась — она и так была на волосок от истерики.

— Разве я чего-нибудь прошу от тебя? Скажи, я хоть раз требовала с тебя какие-нибудь векселя? — Она обняла его и маленькими, жесткими кулачками рабочего человека больно колотила по спине.— Мне с тобой хорошо, и все, понимаешь? И пока ты здесь, я никому тебя не отдам, слышишь, тюфяк ты мой неповоротливый? Разве я тебя не понимаю, скажи, разве я выклянчивала когда-нибудь обещания?!

Стяпас испугался — она не то хохотала, не то всхлипывала. Потом почувствовал, как Насте шарит за его спиной. Она выключила свет.

Они опять стали встречаться — по нескольку раз в неделю. Она знала расписание его лекций, часы всех его собраний. Стяпас удивлялся — товарищи полюбили Насте. Стоило ей прийти, как они находили себе занятие в другом месте, подолгу оставляли их наедине. Даже дежурные с ней здоровались.

Всегда она была веселая. Только когда передавала приглашение мамы — заходить к ним, ее голос дрожал. Но Стяпас так и не пошел.

Но раз Стяпаса неожиданно вызвали в деканат. Когда он постучался и зашел, его уже ждали. Рядом с деканом сидели комсорг и комендант общежития. Стол был застлан красным сукном. Как на суде.

— Насчет Насте, да? — накинулись на него потом товарищи.

Стяпас хмуро кивнул головой.

— Что сказали? Они все знают? Что именно знают? Говори — предлагали жениться?

Но Стяпас не ответил. Дня два он не показывался на лекциях и, когда Насте снова пришла к нему, заявил, что должен с ней серьезно поговорить.

Оба вышли на улицу. Сердито, в упор глядя ей в глаза, Стяпас сообщил, что поступил на курсы метеорологов.

У нее только брови взлетели. Затянулись дымкой глаза. Она молчала так долго, как никогда. Стяпас даже забеспокоился.

— Сколько... сколько это может продлиться? — спросила она почти спокойно.

— Полгода.

— Так быстро...

Стяпас вздохнул, словно скинув гору с плеч.

— А... надолго?

— На всю жизнь. Разумеется.

Скоро Насте успокоилась. Стала даже веселее, чем раньше. Она ничего о себе не рассказывала, не просила его бросить курсы, остаться в Вильнюсе. Стяпас даже забеспокоился — с чего это? Да и видеться им сейчас приходилось реже — разве что она подкараулит его где-нибудь у подъезда.

Экзамены в университете совпали с окончанием метеорологических курсов. Стяпас поднатужился и не прогадал,— заметка о том, как он, при подобной нагрузке, выдержал все экзамены на «отлично», появилась в студенческой многотиражке. Все расспрашивали Стяпаса — куда его назначат? Он уже знал, но только пожимал плечами.

Перед разъездом товарищи устроили прощальный ужин. Тогда-то Стяпас и сообщил:

— Выбор был небольшой. Я — на Дальний Восток.

Секретарь университетской комсомольской организации вручил подарок — транзистор. Стяпас скромно сказал:

— Благодарю.

Еще в самом начале вечера Стяпас великодушно усадил рядом с собой Насте.

Все изумились — она выглядела очень счастливой.

— Расставаться не жалко? — спрашивали ее, а Насте только хохотала, обнимала то одного, то другого, перецеловала всех девушек. После выступления секретаря и она не выдержала. Молча, на цыпочках подошла к Стяпасу, обняла его и положила на стол книжку в синей жесткой обложке. Ничего не соображая, Стяпас прочел вслух: «Диплом радиста II класса». Насте расцеловала Стяпаса в обе щеки. Другие разобрались во всем побыстрее, закричали: «Ура!», «Горько!», «И везет же этому Стяпасу!» Кто-то побежал за шампанским.

Стяпаса это ошеломило настолько, что Насте, не переставая хохотать, пояснила ему на ухо:

— Мне было куда легче, чем тебе,— щебетала она.— Ведь радио и телеграф — специальности родственные! Это — подарок от меня. Вечер за вечером — и вот...

Друзья поднимали тосты за то, чтобы — вместе в огонь и в воду, за комсомольские дерзания.

Стяпас основательно напился.

Несколько месяцев спустя они действительно вместе мчались в московском поезде. Насте сама уложила вещи — сказала, что Стяпас устал от экзаменов, и не подпустила к чемоданам. На вокзал снова пришли гурьбой товарищи с цветами, и когда, после первых десятков километров, попутчики расселись по местам, начались взаимные расспросы — кто, куда? — Стяпас, как всегда, отмалчивался, но не препятствовал Насте рассказывать, что они едут на Дальний Восток, будут работать на полярной станции. Вагон был общий, пассажиры менялись на каждой остановке, и Насте не раз приходилось повторять свой рассказ.

За Москвой, во владивостокском экспрессе, публика была иная.

— А, метеорологи,— только и сказали попутчики.

Эти несколько суток показались Стяпасу страшно скучными.

Во Владивостоке в управлении их встретили тоже запросто:

— Первый год? Оставьте документы и обождите в коридоре.

Как раз происходила пересмена на станциях. Управленческий дом, стекло и алюминий, был набит битком. В узком коридоре на плохо уложенном паркете — груды узлов с вещами и инструментом, сидели и стояли мужчины, невыспавшиеся женщины, верещали малыши. Люди много курили, говорили о плохих сапогах, снабжении и зарплате. Один — уже крепко под мухой,— в съехавшей на затылок ушанке, бесцеремонно ткнул Стяпаса в грудь грязным пальцем:

— Новичок? Не дрейфь, подзаработаешь! Только просись поближе — пойдут навстречу. Новичку — лафа!

В конце концов их вызвали.

— Значит, новенькие. Ничего, не бойтесь. Поможем,— обнадежил начальник.

Стяпас нахмурился. Ему подали список, напечатанный

на машинке,— выбирайте. Стяпас прочел, попросил карту. Начальник поколебался, потом дернул тесемку, и на стене раздвинулась шторка. Стяпас долго путался в непривычном масштабе.

— Живее, живее. Народ ждет.

Стяпас ткнул пальцем в красный кружок и с вызовом поднял голову.

Начальник впервые внимательно пригляделся к нему.

— Остров святого Ионы? Это очень маленький кусочек земли. Вся станция — два человека.

— Святого Ионы,— спокойно подтвердил Стяпас.— А что?

Небольшой буксир «Метеоролог» шел две недели — в Охотском море еще стоял лед.

— Пешком их отправить по льду,— сердито острили моряки. Буксиру предстояло еще зайти на несколько станций, и всех обуревало нетерпение — горел план.

Сначала на горизонте появились тучи, потом черная точка под ними, и вот — гряда островерхих, беспорядочно раскинутых скал. Даже с низкой палубы «Метеоролога» виднелись обе оконечности острова — восточная и западная. К узенькому каменистому пляжу бежало двое чумазых людей. Еще на склоне горы начали стрелять — облачко дыма, а потом долетает негромкое «пафф». Кунгас раздвинул льдины, но подойти к берегу не смог. Слишком мелко, пришлось спрыгнуть в ледяную воду, несколько раз возвращаться на кунгас за вещами, оцинкованными ящиками с продовольствием, мешками с углем. Буксир гудел; смена, уже успев расцеловаться с новоприбывшими, нервничала, торопилась, словно могла куда-то опоздать.

Вещи свалили сразу же за кромкой прибоя.

Когда судно стало поворачивать к морю, Стяпас спохватился и выпалил из двустволки. Насте тоже стала пускать ракеты. С визгом, гамом взмыли сонмища кайр и бакланов. Пролетали под самым носом, без всякой боязни, пронзительно кричали, рыдали, метались в воздухе. Потом воцарилась тишина. Только шелест волн. И шорох грязных льдин, трущихся друг о дружку боками.

После того как доставили вещи на место, Насте три дня отскребала ножом и отмывала грязные полы и стены вагончика. Потом привели в порядок метеорологическую площадку. Свободного времени было хоть отбавляй, и скоро они обошли остров, облазили все его вершины.

Чайки не боялись людей. Только шипели, широко раскрывая клюв — белые язычки дрожали, как жала,— и норовили цапнуть за палец. У подножия гор рос мох. Повыше — чахлые кусты рододендрона, втиснувшие оранжевые корни между камнями, и все. Насте наломала веток. В комнате запахло рутой.

— Дорогой мой, такому медовому месяцу может завидовать весь мир!

— А что же было там, в Вильнюсе? — усмехнулся он.

— Не смей дуться, не смей! — хлестала она веткой Стяпаса по руке.

Никогда она не теряла хорошего настроения. Не отрываясь от аппарата, быстро перезнакомилась с ближними и дальними радистами, рассказывала Стяпасу новости.

— Тут просто чудесно, я тебе говорю.

— Погоди, зима придет. Нахнычешься.

Лед растаял, и остров стал необычайно густо населенным — как большой город. Стяпас постоянно пропадал с ружьем. Или же запирался и что-то записывал в толстую тетрадь. Двенадцать раз в сутки замеришь температуру, ветер, давление, иногда пустишь воздушный шар — зонд, а потом свободен. Чтобы набить руку, он палил по круглым тюленьим башкам, натащил моржовых шкур. Насте втихомолку их выкидывала — они со Стяпасом не умели дубить кожу, да и нечем было. Добыча портилась. Появилось стадо сивучей. Тупоголовые самцы затевали междоусобные драки. Кайры и черные бакланы, длинношеие, как ласки, вывели потомство и носились круглые сутки, чтобы накормить своих птенцов. Солнце вообще уже не заходило. Светило, как сквозь простыню, вызывая зуд в глазах и тревожа сон,— все казалось, что надо куда-то идти и что-то делать. Возвращаясь с берега, Стяпас неизменно слышал пение Насте. Ей всегда хватало работы — варить, штопать, стирать, да еще эта вечная мойка полов... Она встречала Стяпаса поцелуем:

— Это — на закуску!

У Стяпаса лицо покрылось буйной растительностью, и он стал отращивать «викинговскую» бороду. Насте помирала с хохоту.

Потом подули северные ветры. Как-то сразу остров стал белым-белый. Птицы улетели, стало тихо, как в могиле. К концу сентября замерзло море. Теперь только по сгрудившимся льдинам можно было распознать линию берега.

Из клыков моржей Стяпас пытался вырезать фигурки на эскимосский лад. Однако кость оказалась твердой и откалывалась не там, где надо. Решил написать маслом северное сияние. Но забыл краски на подоконнике, и они высохли.

Раз Насте сказала:

— Давно ты в ванне не бывал.

— Э... зачем это...

Так она впервые услышала новую нотку в его голосе.

— Хочешь? Притащу твою перекладину в комнату. (В первый месяц Стяпас из старой трубы соорудил перекладину и обмолвился, что будет подтягиваться каждый день.)

— Все равно нас заметет...

— Ну, миленький...— она вытерла руки и села ему на колени. Взяла голову Стяпаса в ладони, приподняла: — Как ты говоришь?.. «Иф ю кэн цейт...»

Он спихнул ее с колен:

— У тебя пошло получается... Кроме того, неправильное произношение.

— В университетах я не училась, но...

— И жаль,— перебил он ее.

— ...но всему учусь у тебя! Теперь у нас есть свой собственный остров, собственные метели, миллионы послушных подданных, которым мы предоставили отпуск. Собственное море и собственный океан!

— Может, стихи начнешь писать?

— Нет, но когда передаю твою сводку, часто слышу, как радистка в Хабаровске прогоняет других с волны. «Остров святого Ионы говорит!»

— Чтобы лопухи там, на берегу, напутали еще в одном прогнозе погоды?

— Чем это хуже стихов? — она уже научилась не слышать того, что не хотела слышать.

Теперь светло бывало только в полдень. Но и то солнце укрывали тучи десятками пластов. Домик замело по самые окна, и на всем белом острове осталось две коротких тропинки — на метеорологическую площадку и к роднику.

Однажды Стяпас примчался с площадки задыхаясь. Насте даже вздрогнула от радости — так его глаза сверкали и щеки горели только в Вильнюсе, да и то изредка.

— Корабль тонет!!! — закричал он, схватил ракетницу и убежал, не закрывая двери.

Занесенные рыхлым снегом валуны невозможно было распознать. Стяпас несколько раз скатывался по снежным косогорам, больно расшибся об осколыши, проваливался в щели, потерял ушанку. С вершины горы было ясно видно — за горизонтом взлетает на несколько сантиметров в воздух белая искра и гаснет. Стяпас выпустил в сторону океана три зеленых ракеты. Странно — в ответ там, вдали, поднялся целый рой разноцветных огней. Стяпас снова пальнул из ракетницы, и опять раскинулись веером огни — белые, красные, зеленые, оранжевые. Как призрачное видение — ни гула выстрелов, ни корабельного силуэта.

Скатившись вниз вместе со снежным обвалом, Стяпас ввалился в домик:

— Свяжись с ними! Давай общее «SOS». Вызывай Владивосток, Москву! Всех!

Он полез в аптечку, зачем-то стал шарить под койкой. Насте не могла отказать себе в удовольствии послушать его мужественный, энергичный голос. Потом подошла, осторожно смахнула снег с его волос.

— Это ледокол... Атомный ледокол в экспериментальном зимнем рейсе. Я уже выходила с ними на связь. Ведь сегодня — седьмое ноября...

Он все еще не понимал. Насте показала на стол. Торт из сгущенки, открытая ножом жестянка со шпротами, зажженные свечи. Она бросилась целовать его — лицо, лоб, озябшие руки. Но ничего нельзя было поделать — глаза его тускнели, угасали...

Через месяц стало трудно пробираться к площадке для наблюдения. Каждый день приходилось прокапывать длиннейший ров. Стяпас пытался хитрить — полз на животе, чтобы не увязнуть в снегу. Все равно площадку приходилось расчищать. Несколько раз Насте уличала Стяпаса в том, что он выдумывает сводку. Вернее, в центре усомнились и попросили повторить. Они поссорились, и Насте стало не по себе.

— Зачем ты?.. Кого ты обманываешь? Ушел, постоял за дверью? Даже меня хочешь обмануть? Ведь призвание мужчины — борьба...

— Детский бред! Никогда я этого не говорил. У человека одно только призвание — понять реальность. А наша реальность — умереть в безвестности. И нужно мужество, чтобы смотреть в лицо фактам. Не цепляться когтями за дурацкую жизнь.

Она сдержалась. Надо сдержаться. Принялась гладить его волосы.

— Это — хандра... Обязательно ли стать знаменитым? Ты мало двигаешься. Все сидишь и сидишь. Так недолго и цингой заболеть. Взгляни-ка на меня...

Он оттолкнул ее руку. Его раздражало — действительно Насте неизменно была румяной, ела с аппетитом.

— На горных ледниках тоже живут... Знаешь кто? Амебы.

— Ах ты, мой профессор...— она со смехом снова потянулась к волосам Стяпаса.

Но в следующий раз пошла вместе с ним на площадку. Стяпас страшно обиделся.

— Если контроль — то я здесь вообще лишний.

И лег в кровать, как всегда, не раздеваясь. Насте отправилась одна. С непривычки долго возилась. Стяпас выжидал — надоест ей! Но Насте пошла и во второй, и в третий раз. А потом Стяпас уже не мог подняться. И это было самое страшное. В душной комнате, без движения, мускулы расслабились, болели даже, когда надо было перевернуться на другой бок. Пальцы отекли, щеки впали, посерели.

Как и раньше, гудели движки рации, сквозь дверную щель поблескивала неоновая лампочка.

— Перед центром выслуживаешься, да?! Глядите, мол, какая я героиня!

Но раз, проковыляв по комнате, прочел в радиожурнале — все наблюдения она подписывала его именем.

Стяпас не мог ни бодрствовать, ни спать — забытье, апатия. Силился припомнить — когда же он слег? Неделю тому назад? Накатило внезапно, как тиф. Не было даже бреда. Время он измерял по открываемым дверям, по скрипу раскапываемого за окном снега. По появлявшимся рядом красным, мокрым Настиным рукам. Он успокаивал себя — наверно, ей не трудно. Взрывался, только когда Насте твердила, что эта цинга, болезнь лентяев, уговаривала его пройтись по острову, поохотиться. От бессонницы она хрипла.

— Дура, никогда ты ничего не понимала. Не понимаешь даже, что человек умирает.

Он становился иным только изредка, почувствовав рядом ее тугое, разгоряченное тело. Странно, но это в нем еще не умерло.

Но вскоре она стала отталкивать его:

— Милый! У тебя изо рта несет...

Он расплакался. Взмокла борода, слиплись нечесаные космы. Тело дергалось в судорогах. Он протянул руки, чтобы поймать ее.

Тогда она впервые ощутила омерзение. Такое страшное, что испугалась — сейчас вытошнит. И ненависть.

— Если ты... если ты сегодня же не примешь ванну!..

Но он сделал прыжок, и ей не удалось вырваться из его цепких рук.

На другой день она вынесла свою койку на кухню и на ночь стала запирать дверь. Прошла неделя. Он пытался ловить ее, когда она проходила мимо, нес какую-то чушь.

Однажды утром, хлопоча по хозяйству, услышала стук в соседней комнате. Распахнула дверь и нисколько не удивилась. Стяпас валялся на полу. Из шеи сочилась кровь. Рядом валялась бритва. Насте брезгливо подняла бритву, обтерла, положила на место. Даже покончить с собой не сумел — царапнул где-то у затылка и сразу потерял сознание.

Но койку свою она занесла обратно. Больше ничего от него не требовала. Была такой, как прежде. Сотням женщин выпадает такая доля. За эти месяцы она наговорила ему столько ласковых слов, что не стоило большого труда их механически повторять. И улыбаться даже умудрялась.

И все-таки она заставляла Стяпаса немного ходить. Еду готовила на кухне — волей-неволей придешь. Принуждала и посидеть — в ожидании кормежки. Знала, ничего страшного с ним не случится. Получает витамины, пастеризованные фруктовые соки...

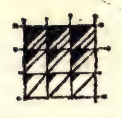
Скоро все кончится. Наступит весна. Придет «Метеоролог». Прибудет смена. Они вернутся во Владивосток. Как странно — думала Насте. Никогда они не говорили о том, что будет весной. А все ясно. Чем меньше люди говорят о будущем, тем оно яснее. Стяпас вернется в Вильнюс. Насте знала — он не сбреет бороду, не скоро пойдет стричься. Как и прежде, на танцах будет торчать в углу зала. В кафе будет сидеть у стойки. Станет посещать вечеринки. Когда его очень и очень попросят, расскажет про остров святого Ионы, про метели, поднимающие дом с фундамента. Рассказывать будет сдержанно, о многом умалчивая, предоставляя догадываться слушателям. Рассказывать по-мужски.

А Насте в управлении попросится на остров Врангеля. Нет, она вовсе не собирается писать свою книгу жизни. Она просто хочет прожить ее. После того как узнала Стяпаса, ей хочется встретить настоящих людей. Веточка рододендрона греет подобно очагу, лишь когда за окном свирепствует самая яростная метель планеты. Насте хочет быть счастлива. В толпе друзей взобраться на покрытую снегом сопку и в торжественном молчании встретить появление краешка солнца — первый оранжевый клочок после шестимесячной ночи. Потом, задыхаясь от радости, бежать, ловить дыхание, и снова бежать к своему передатчику. Тысячи друзей во всем мире будут знать — «На Врангеле солнце, на Врангеле солнце!». Солнце, которое она встретит первая во всей Арктике.

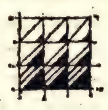
В июне дождется весны. Скинет меховой малахай. Ветер принесет запах тающего снега, растреплет волосы. Станет тепло — такого тепла не знают курортники. Усеянная тысячами цветов тундра будет принадлежать ей. Вся тундра, вся Арктика — ей. Что может быть чудесней завоеванной тобою весны? Тепла в тундре?

Одного только боялась Насте. От одной мысли цепенела. Не проветренная за всю зиму перина давила, словно надгробье. Только бы не ребенок! Ради бога, только не ребенок!

Ведь он может быть похож на Стяпаса.



День мятежа



Небо было ясное над всей Португалией в то утро, и вертолет в голубизне над Лиссабоном казался сверкающим стеклянным пузырьком. Уже две минуты Римас следил за ним, глядя в окно класса, повторяя вслед за синьором Паулу сложнейшие формы вежливого императива. Паулу был вдвое моложе своего ученика. Приходящий к одиннадцати часам болгарский журналист Ганев предостерег Римаса, что Паулу — маоист. Может быть. Кто его знает. Школа была частная, и разговоры учеников с преподавателями о политике запрещались. Микрофоны открыто стояли на столах во всех классах, провода тянулись в кабинет директора. Римасу объясняли, что это — для проверки работы преподавателей, их методики и вообще для дисциплины. Возможно. Паулу не смахивал на левака — аккуратно подстрижен, что вообще редкость для португальца, ходил в светлых тропических костюмах. Один его галстук стоил, пожалуй, не меньше, чем мопед. Когда Римасу приходилось самому составлять португальские фразы, он нарочно ввертывал что-нибудь про колхозы или сибирские стройки. Паулу не реагировал. Может, только щурился едва заметно. Синьор Римас платит деньги, синьор Римас говорит что хочет. Паулу не ходил со своими слушателями на переменах в таверну выпить пива с креветками, как другие преподаватели.

За две недели в Лиссабоне Римас уже привык к разным намекам, не очень-то важным секретам, разговорам без начала и конца. Не владея португальским, привык быть полуглухим и полунемым.

Бок вертолета полыхнул белым пламенем, к земле потянулась косая линия дыма. Тут же — вторая. На миг почудилось, что вертолет привязан к земле вожжами.

Лишь потом послышались глухой свист и два удара как бы далекого грома.

— Началось,— сказал Паулу и кивнул в сторону окна. Положил учебник на стол и вышел.

Накренившись, вертолет поднимался к зениту. С восьмого этажа, где размещались классы, больше ничего не было видно.

Римас вышел в общую комнату и увидел: двери классов открыты настежь, ученики сгрудились у окон.

— Что случилось? — спросил по-испански Римас у делопроизводителя, элегантной дамы (шелест натурального шелка, запах французских духов). Во время перемен не возбранялось говорить по-испански.

— Мы ничего не знаем... С самого утра разбираем почту...— Она надула губки.

— Война?

— В наши функции это не входит. Мы — школа языков...

Римас подошел к телефону, но советское посольство молчало. В трубке была глухая тишина, даже без треска. Вацек из польской торговой миссии увидел Римаса у телефона, покачал головой, махнул рукой, а сам поспешил к лифту. Два реактивных истребителя, содрогая дом до основания, пролетели на высоте окон, пилоты — будто сидячие мумии под стеклом. Сколько мгновений отделяет самолеты от вертолета? Самолеты прочертили дугу (может, и не заметили вертолета) и исчезли за рамой окна.

— Авиация восстала,— сказали по-французски около окна.

— Может, наоборот, авиация усмиряет мятежников? — другой голос. По-английски.

— Маневры, — по-немецки уверенно сказал третий.

— Над городом? — рассмеялся француз.

Школа была дорогая, и у Римаса еще не было случая познакомиться с другими слушателями. В этой школе вообще была традиция кивнуть головой, встретившись на лестнице, и идти своей дорогой. Римас обратил внимание на то, что тут, в комнате, не было, кроме него, никаких других представителей из соцстран.

Пришел директор. Приветливо улыбаясь, подождал, пока затихнут голоса. Телевизор был включен, но на экране мелькала только таблица настройки. Далеко, в пригородах, грохотало глухо, без эха.

— Уважаемые господа, прошу не волноваться. В сто-

лице начались военные действия. Нам пока не известны ни ход, ни характер событий. Мы вынуждены прервать работу. Ваши убытки за несостоявшиеся уроки будут возмещены. Я советую всем идти домой. Послезавтра прошу позвонить. А вы зайдите, — пригласил он Римаса.

Директор был аргентинец. Высокий, молодой, спортивного вида, с усиками и в очках. Всегда в духе. Словно сошел с рекламной картинки. Говорил на двенадцати языках, как и положено директору такой школы. Римас слышал: пройдоха, каких мало. Но школой управлял железной рукой — за два месяца овладеешь языком, — и было ясно, что наживал неплохие деньги на дипломатах, торговцах, журналистах, — не всегда и скажешь, у кого какая профессия, — нахлынувших в Лиссабон сейчас, когда все в стране ходуном ходит после революции «красных гвоздик». Мало кто из слушателей платил из собственного кармана. Вот и драли с таких по семь шкур.

— Не ясно, что происходит, верно? — сказал директор, медленно закрыв дверь своего кабинета и пригласив Римаса садиться. Дружески улыбнулся. — У меня есть основания полагать, что наша революция перешла во второй этап. — («Почему «наша», если он аргентинец?») — Очень возможно, что сейчас вам небезопасно появляться на улице. Сами знаете, толпа, эмоции... Ничего тут не поделаешь...

Римас старался сохранять спокойное выражение лица. Было ясно: директор знает больше, чем говорит.

— Могу предложить вам временное прибежище. Оставайтесь в школе. Есть диван.

— А вы не могли бы отвезти меня в посольство?..

Директор покачал головой.

— На улицах стреляют.

— Но кто стреляет?

— Если бы я знал, мог бы здорово заработать. Продал бы эти сведения русским или американцам. Или сразу и тем и другим. — Он расхохотался, откинувшись на стуле. Словно актер на сцене. А лицо — было видно — напряженное, бледное, и руки не находят себе места. Почему?.. — Вы посодействовали бы мне, а? Я, конечно, шучу, шучу...

— Может, ваш курьер мог бы сходить в полицию и там всё узнать? Я бы оплатил хлопоты.

— Вы не знаете, что такое государственный переворот. Вижу, не знаете. Все против всех, каждый торопит-

ся свести свои счеты. Думаете, там, в пригородах, — он махнул головой, — солдаты знают, в кого стреляют?.. Полиция... Оставайтесь. Есть кофейник, в шкафу — сахар...

...В Вильнюсе Римас как-то опоздал на самолет. Долго укладывал чемодан, хотя собирался уложить вещи еще утром, долго говорил по телефону. Просил жену вызвать такси, потом сказал, что сам закажет, так оба и забыли. Когда пора было ехать и он вышел на улицу ловить машину, почему-то неудобно стало останавливать частников или служебные, ждал зеленого огонька. Так и опоздал. А самолет в Белоруссии врезался в пашню...

А еще до этого... Он тогда работал в рыболовецком флоте. Шли они по Каттегату — темной ночью и в густой туман. Римас проснулся в два часа ночи, хотя умаялся после вахты и хорошо спалось под качку. Сунул босые ноги в туфли и пошлепал к радисту покурить и послушать известия. Радист свирепо гнал его вон, ему надо было передать целую кучу радиограмм. А пять минут спустя в правый борт врезался носом заблудившийся шведский танкер — прямо в каюту Римаса. До самой центральной линии траулера всё смял. Соседу Римаса по каюте оторвало ногу. Потом, когда траулер поставили в док, Римас не мог даже свою койку найти...

— ...Спасибо. Я хотел бы поглядеть, что к чему. — Римас и сам удивился, что ответил директору так быстро и твердо, без колебаний.

— Как хотите. — Директор думал о своем, решал в уме какие-то только ему одному известные уравнения. — Но тогда хоть сидите в гостинице. И никуда не выходите. Ясно?.. Если что, мы... ну, мы сегодня еще долго тут задержимся...

«Глупо я поступил», — подумал Римас, оказавшись на улице и увидев, что на ней нет ни души. Пусто, словно выметено, хотя десять минут назад огромный город кипел, гомонил. Прогрохотал вагон трамвая без пассажиров. Белизна стен на утреннем солнце слепила глаза. Политических лозунгов, намалеванных прямо на стенах под окнами первого этажа, стало как будто даже больше, чем обычно, или это так казалось из-за отсутствия прохожих. Может, этот директор — тайный наш доброжелатель? Есть ведь такие, и, наверное, они так же вели бы себя... Хочет помочь, а открыться не может. И не спросишь....

Римас думал, что смешается с толпой или поймает

машину и доберется до посольства. Однако машин не было и не с кем было смешиваться. Лишь вдоль широкой аллеи тысячи невидимых глаз за окнами. В голубизне неба — ни облачка, по краям небосвода столбы дыма — вот черный накрененный, разветвленный наверху столб, другой белесый, в третьем мелькает пламя. Тихо. Словно в Помпее. Только вдалеке где-то грохочет. Куда подевались люди? И что им известно такое, чего не знает он, Римас? Чего следует остерегаться? Может, и впрямь лучше вернуться в школу?

Еще один квартал, другой... Три километра до посольства. Доберется. Недалеко.

Надо, чтобы шаги были четкие, спокойные. Чтобы ноги не вязли в асфальте. И голову держать прямо. Останавливают трусливых, что-то скрывающих.

А что делать, если остановят?

Сперва узнать, кто остановил... Римас приводил в порядок свои мысли... На чьей они стороне. За правительство или против правительства... Но кто теперь правительство? На чьей оно стороне? И сколько этих сторон? Левые, правые, ультралевые и те, что посередке... Кто остановит — сами будут спрашивать, а не объяснять.

Паспорт Римас сдал консулу, как положено. Но в кармане две записные книжки, письма с московскими адресами. А как остановишься около мусорной урны, когда на тебя смотрят изо всех окон?

В конце аллеи, на площади у памятника, что-то чернеет. Ну конечно. Бронетранспортеры. Два. И совсем они не черные, а черно-зеленые, жабьей расцветки. Повернулись боком, пулеметы башенок нацелены на аллею. Стук-стук — шаг. Повернул налево, в переулок, затем направо. Придется обходить кругом.

Римас вдруг понял, что, пожалуй, зря идет. Срабатывает инстинкт жаться к своим. Ведь нет же советского посольства — несколько молодых дипломатов, завхоз и временный поверенный в делах месяц назад сняли целый этаж в небольшой гостинице. Даже вывески нет. Если сегодня дело серьезное, у этой гостиницы как раз и окажутся броневики.

Конечно, со своими было бы лучше. Когда все вместе, не так страшно, если тебе грозит арест. Потом вытащат. Ведь из Чили вытащили же наших...

Только вот переулки эти переплетаются и петляют. Вон какая-то свалка... А тут начинается лестница...

Он смахнул со лба испарину. Ох уж эти закоулки! Вспомнил статистику: каждую ночь в Лиссабоне в среднем тридцать ограблений, восемь убийств. А в такой день?

Римас знал, что должен сделать прежде всего. Давно пора бы это сделать. Столько войн прокатилось по Литве, и теперь крестьянский здравый смысл, унаследованный от дедов, подсказывал: надо тебе, Римас, как следует пожрать. Только ведь, кажется, все закрыто. Решетки, ставни. Будто в городе чума.

Поднялся по улице-лестнице, спустился по глинистому откосу, и наконец перед железнодорожным переездом запахло жареной рыбой. Обшарпанный каменный дом без вывески, запах шел из приоткрытой двери.

Внутри было темно, и, когда глаза привыкли к полумраку, оказалось, что народу набилось битком. Сидели за столиками, стояли у стен, приложив ухо к транзисторам. Официант в желтом клеенчатом переднике не очень-то обрадовался иностранцу — повертел головой, осматривая свои владения, — но деньги есть деньги... Поставив для Римаса табурет у двери в кухню, принес трехногий столик, вытер его рукавом.

— *Мясо и рыба. И суп...* — Римас силился говорить по-португальски.

— Белое или красное? — Здесь не спрашивают, будешь ли вообще пить.

До границы с Испанией двести километров. Если пешком — трое суток...

Непонятно, почему люди крутят эти транзисторы. Кроме легкой музыки — ничего. Когда дикторы радиостанций меняли пластинки, они даже названий не объявляли — боялись голос подать. Значит, еще не знают, кто берет верх.

Подождав, пока люди перестали его рассматривать и снова зашептались между собой, Римас спросил соседа, потного лохматого толстяка в расстегнутой клеенчатой рубашке, с высоким стаканом пива в руке:

— *Кто... поднялся?.. Которые... восстали?*

Толстяк смотрел молча, набычившись. Отхлебнул пива.

— Ун эспаньол. — Голос из угла: испанец, мол; это было сказано о нем, о Римасе.

Вот и всегда так, не первый раз уже. Родственные народы, языки похожи. При желании все можно понять.

А не захотят — делают вид, что не понимают. Испокон веков не переваривают друг друга. А сейчас особенно. Франко чуть не каждую неделю вешает подпольщиков, и здесь кишат беженцы из Испании, а также полицейские агенты и провокаторы, притворившиеся беженцами.

Можешь, конечно, сказать, что ты не испанец. Сказать-то просто. Не исключено, что поверят. Сказать-то просто. Только хорошо бы знать, кто тебя услышит. Лохматый толстяк может быть и железнодорожником, и домовладельцем, и бывшим агентом разогнанной ПИДЕ[1], и беженцем из колоний, оставившим «русским и кубинцам», как они выражаются, плантацию в две тысячи гектаров где-нибудь в Анголе, удравшим без денег, без семьи. Эти особенно озлоблены. Смотрит теперь куда-то в стену поверх макушки Римаса, а сам небось прикидывает, что это за птица в кабачок залетела. Немецких эсэсовцев и их потомства в городе пруд пруди. У самого Скорцени, говорят, здесь была контора. Беженцы из Бразилии, Аргентины, Уругвая. Чилийцы. Итальянцы, французы, даже голландцы. Те, кто намазывает пятки, и те, кто за ними гонится. Есть тут резиденция болгарского короля, дворец внуков Романовых... Хорваты сербам втихаря вспарывают животы, армяне — туркам. Израиль перепродает уран. Скандинавы работают на арабов. Еще с первой мировой здесь так повелось. Чистый Хичкок. Фильм ужасов.

Как он, Римас, попал в эту кашу?

Работал себе спокойно в московском издательстве после университета, редактировал переводы с испанского. По утрам бегал в магазин за кефиром. В кармане — месячный билет в метро, абонемент в зал Чайковского.

Сидел бы теперь в лиссабонском кабачке кто-нибудь другой, может, даже владеющий языком...

И за супом, и за вторым никто Римасу ничего не сказал. Получив кофе, он по-другому задал вопрос:

— *Чей... верх... будет?..* — И даже руками показал, чтобы яснее было.

Толстяк выдержал паузу, потом пробасил:

— Господа бога.

Римас не спеша расплатился и вышел.

Эти люди правы. Совершенно правильно себя ведут. Сказать что-нибудь — это уже занять позицию. Найти

---

[1] ПИДЕ — тайная полиция Салазара.

слова... Можно сказать: «восстание», а можно — «бунт». «Фашисты» — или «поборники порядка». «Коммунисты» — или «демократы»... В переполненном кабачке, где наверняка все знакомы... Когда не знаешь, что будет завтра... В стране, где пятьдесят лет была диктатура, которая еще может вернуться...

Чуть отлегло, лишь когда миновал железнодорожный переезд и еще несколько кварталов. И тут он опорожнил карманы в одной темной подворотне. Засунул письма и записные книжки в водосточную трубу, запомнил номер дома. Только деньги оставил. Деньги не пахнут, криво усмехнулся. Надо скорее к ребятам.

Проще всего было бы отыскать свою гостиницу. Где-то неподалеку, кажется. Только почему директор так настойчиво советовал ему сидеть в гостинице?.. Ты там прописан. Там знают, что ты советский. Если кому это будет надо, придут и заберут, как консервную банку с полки... Податься в другую гостиницу? Без документов и багажа не примут... Куда-нибудь в бар? Засидишься — тоже обратят внимание.

Жарко было и душно. Уже полдень. Без пиджака, а рубашка все равно липнет к бокам. Выли сирены. Вдалеке, на разные голоса, не замолкая ни на секунду. На улицах побольше с воем носились пожарные машины и кареты «скорой помощи». А в остальном — тишь да гладь. Делай что хочешь, провались хоть сквозь тротуар или жми куда вздумается по белым меловым улицам, раскаленным почище духовки. Если, конечно, знаешь куда и зачем.

Гостиница с ядром посольства — это все-таки не выход. Поздно. Если ее еще не захватили, то заблокировали, наверное. Да и пока дойдешь...

Еще один холм, а внизу, за домами, порт. Коричневая мутная вода, лес подъемных кранов, суда у набережных как игрушечные, как разноцветные модели... А что, почему бы и нет? Там и наши должны быть. Ни от кого не зависят, сами себе хозяева. Увидят, что дело плохо, — «вира найтовы» и ходу. Через полчаса в океане. С холма показалось — рукой подать. Только кусок старого города пересечь да не заблудиться в нем.

Сразу сил прибавилось. И шагать под горку легче. Только не бежать. Спокойнее. Моряк задержался в городе. Что в этом странного? А с капитаном он договорится и без документов. Тот войдет в положение. Может,

войдет... В старом городе уютнее. Улочки кривые, узкие, как в Таллине или Вильнюсе. Замурзанные дети роются в мусоре. Еще минут пять — и порт. Надо идти вот по этой улице.

Оглушительно застрекотало над ухом. Римас бросился на тротуар, откатился к стене, закрыл голову руками, зажмурился. С десяток пулеметов где-то совсем рядом — чуть выше — шпарили звонко, без эха, было даже слышно, как лязгает металл. А может, это автоматы, которые теперь тоже как пулеметы? Не поднимая головы, он отполз в подворотню. В окнах завизжали женщины. Детей с мостовой сдуло. Не поймешь, откуда шпарят. Не сыплется штукатурка, не слышно свиста пуль. А может, современные пули и не свистят?

Вот тебе и издание сочинений классиков и наблюдение за авторскими правами! Такое невинное занятие! И вот на чужом пиру похмелье. Схлопочешь дырочку в затылок, и все знакомые только плечами будут пожимать — как его туда занесло?

Он огляделся и осторожно встал, держась за вычурную решетку окна. Машинально стряхнул с брюк клейкие апельсиновые семечки. Подворотня была сводчатая, темная, дальше — четырехугольный двор, мощенный булыжником. Окна с решетками, и ни единой двери. Сегодня, видно, ему предстоит только так — по тупикам. В ворота было видно кусочек широкой улицы. Там снова стало тихо. Во дворике ни души.

А до дома пять тысяч километров...

Послышался рев мотора. Тяжелый дизель. Даже несколько. Этого еще не хватало! Танки? Угодить в танковый бой?.. Поглубже во двор. Римас прижался к стене, одним глазом выглядывал из-за угла, следил за улицей.

По ней ехал грузовик, обыкновенная бетономешалка. В первый момент Римасу показалось, что это ему просто мерещится. А грузовик полз медленно, на первой скорости, заполнив тоннель подворотни керосиновой гарью. Капот обложен мешками с цементом, мешки прикручены проволокой, оставлена только щель, чтобы шоферу было все видно. Раскачивается антенна рации. Другая такая же бетономешалка, третья. Вслед за ними парами самосвалы, а в них — вооруженные люди. Пластмассовые шлемы. Винтовки выставлены как из бруствера. И тут же за ними пешие — кто крадется вдоль стен, кто шагает прямо по мостовой, бодро размахивая руками.

Вооруженные. В замасленных спецовках, забрызганных краской блузах. Иные и в приличной одежде, только перепоясались ремнями. Один несет на плече базуку, словно бревно, согнулся даже. На рукавах — красные повязки.

Трое зашли в подворотню, чтобы прикурить. Римас прижался к стене, не решаясь подглядывать, — только слушал. Донеслись слова: «камарада» и еще «фашиста». Голоса грубые, осипшие, какие бывают у людей, работающих на воздухе или уже накричавшихся сегодня. Первый порыв у Римаса был — подойти, сказать им «камарада», сказать им «совьетико», спросить, что, черт возьми, происходит, куда ему лучше идти.

Однако Римас уже зарубил на носу: в Португалии нельзя поддаваться первому порыву. Ни первому, ни второму, ни третьему. В Португалии надо все знать наверняка.

Несколько дней назад он уже наварил каши. Выйдя как-то из метро, угодил в демонстрацию. По улице шли рабочие. Ровные, как у солдат, шеренги. По пятеро. Колонна за колонной. Тоже потертые спецовки, грубые башмаки. Твердая поступь по мостовой. У каждой восьмой шеренги распорядитель, у него из рюкзака торчит антенна рации. Лозунги на кумачовой ткани: «Долой буржуазный парламент!», «Долой военное правительство!», «Вся власть — рабочим, крестьянским и солдатским комитетам!» Просто лозунги из нашего учебника по марксизму. Лишь цокота копыт чапаевской конницы не хватало. Или гулкой поступи моряков Кронштадта. Можно подумать, это не Западная Европа и не середина семидесятых годов.

Римас тогда помчался сразу в гостиницу, где размещалось наше посольство. Сидите, мол, занавесив окна, и не знаете, что в городе творится!..

Алексей, первый секретарь, даже рот разинул. Покраснел, снял очки.

— Ты, парень, лучше сядь для начала. Отдышись. Знаем мы про эту демонстрацию, нам еще вчера сообщили... Слушай, а ты им, случайно, книг не давал?

Римас кивнул. То есть книг он не давал — у него их просто при себе не было, — но с одним парнем из распорядителей удалось договориться. Записал его адрес.

— Полюбуйтесь, каких за границу работать посылают! — Алексей обращался к находившимся в комнате. Перестали стучать машинки. — Начитаются «За рубе-

жом», брошюрок разных — и готово!.. Борец! Все по полочкам разложил!.. А ты знаешь, в какую передрягу нас всех можешь втянуть?

Вошел временный поверенный. Остановился на пороге, молча слушал.

— Красивые лозунги, конечно. С некрасивыми теперь докеров на улицу не выведешь. Ленин говорил: «Долой учредительное собрание!»? Говорил. А тут такое как раз и собирают. Только есть маленькая разница. Коммунисты будут в нем доминировать... «Долой военное правительство!» А какое? Да офицеров, которые несколько месяцев назад свергли фашизм!

Римас хотел было возразить, но сдержался.

— Что там еще? «Вся власть — Советам»? Красиво. А Куньял почему-то молчит по этому вопросу. Вот тебе и компартия! Выходит, антиленинец? Ревизионист? Но какие «советы» — и где? В стране НАТО? Чтобы завтра высадилась американская морская пехота?.. Провокаторы вывели этих твоих рабочих! Думать надо!

— Маоисты?

— Он опять свое! — Алексей начинал нервничать, и деланный смешок у него не получился. — Ясности хочешь? Чтобы было непременно белое или черное? Так не бывает. Слышал про такую группу — УДП? [1] Немаленькая. Часть рабочих ее слушается, особенно в Лиссабоне. Называют себя большевиками. Красиво называют. Пока коммунисты сидели в тюрьмах, они проникли в движение.

— Если во дворце Сан Бенту[2] узнают про этот инцидент... с книгами...

«Да не было никакого инцидента!» — хотелось крикнуть Римасу.

— Еще хорошо, что он по-португальски не мастак. Его могли просто не понять... — сказал Егор, сидевший у радиоприемника.

— Его счастье... — Алексей внимательно рассматривал свои ухоженные ногти. — Остался бы ты, Римас, на мостовой, как мешок из-под картошки...

Поверенный в делах махнул Римасу:

— Зайди...

---

[1] Краткое наименование левацкой организации «Народно-демократический союз».

[2] Там находилось прогрессивное правительство.

По улице топала, кажется, уже вторая волна вооруженных штатских

— Гуардия насьонал, — громко сказали в подворотне, и тут же последовало ругательство.

Национальная гвардия, то есть жандармерия... правительство... И казарма ее рядом... А люди с красными повязками — «большевики» из УДП? Восстали против правительства Гонсалвеша, как грозились? Ну тогда советский гражданин в подворотне... Даже не спросят, что ему здесь надо... Такой труп очень нужен. «Советское посольство связано с жандармерией!» Мировая сенсация. Все вопли этих леваков будут оправданы. «То-то, а мы разве не говорили!» — завопят они опять.

В нем взорвалась злость, и этот взрыв был сильнее и оглушительнее всех слышанных сегодня взрывов. А потом охватил стыд. Стыд за свою неловкость, за то, что все так глупо сложилось. Выходит, он уже ищет где бы спрятать собственный труп? Красота. С самого начала он вел себя не так... Только где оно, это начало?

Не полезет он, как нашкодивший кот, прятаться в чужой погреб. Да это и не поможет. Из окон его видят, без всякого сомнения. Видят, что он скрывается. Страх его заметили. Если еще не высунули голов и не махнули тем, что на улице, то скоро догадаются это сделать. Вот-вот махнут. Из спортивного интереса. Потому что видят чужого.

Он с силой оторвался от стены, пригладил ладонью волосы и размашисто зашагал в сторону улицы, высоко подняв голову. Если попробуют его остановить... он... зарычит. «Хр-р-р...» Как собака...

Главное сейчас — слушать, о чем говорят. Хоть что-то он поймет. И тогда что-нибудь придумает. Пора кончать с этими бесконечными тупиками, хватит бегать и скрываться.

Широкая улица снова была пуста. Только автомобили на тротуарах; один ярко горел, лежа вверх колесами, два дымились. Слева, в конце улицы, блокируя выход на площадь, стояли самосвалы и бетономешалки. И выстрелов больше не слышно.

Римас повернул направо и зашагал посередине тротуара. Улица скоро кончится, а там, наверно, уже спокойные кварталы.

Толпа выросла стеной, внезапно запрудив улицу. Перед этим Римас услышал гул, как на взморье, громкие

возгласы, потом появились сначала мальчишки — они, подпрыгивая, неслись по мостовой — и сразу же за ними шеренги держащихся друг за друга людей. Во всю ширину улицы, от стены до стены. Быстрый, сбивчивый шаг, почти бегом. Улица уже полна, и конца толпе не видно, из боковых вливаются новые потоки. Люди безоружны, много флагов — красно-зеленые национальные и красные. Римас увидел буквы *«PCP»*[1]. Тут уж никаких сомнений. Коммунисты. Эти буквы он знал. Товарищи, друзья.

Толпа выросла стеной, внезапно запрудив улицу, бросила Римаса в стайку девчонок из лицея. Они завизжали, падая друг на дружку, крепче взялись за руки. Римас вцепился в локоть ближайшей к нему — она несла знамя. Девчонки, откинув головы, скандировали вместе со всей толпой — звонко, счастливо, гордо.

Римас подергал соседку за рукав.

— Камарада! — Ткнул себя пальцем в грудь: — Совьетико!

Весь день молчал, и теперь собственный голос показался ему каким-то странным.

— О, камарада! — взвизгнула та, сказала подружкам и еще что-то добавила, взяла Римаса под руку, другая вцепилась с другого боку, и опять побежали, скандируя, — Римас понял только «фашизму» и «нау пасара».

— Где... секретарио? Где... руководитель?

— Мы все руководители! — засмеялась девчонка.

Наверно, ей лет пятнадцать, но, как все латинянки, она казалась старше. Черные локоны разметались, большие карие глаза на округлом лице, пышная грудь. Низенькая, как большинство португалок, — бедра короткие.

— *Сегодня утром... кто поднялся? Кто пиф-паф?*

— Ты совьетико? Правда? — Ее лицо вдруг стало серьезным.

— Да, да.

— А почему ты без винтовки?

Ничего себе! Она считает, что это за «совьетико»: в такой день — и без винтовки!

— Дипломата, — торопливо соврал Римас.

Славная попалась девчонка, доверчивая.

---

[1] Сокращенное наименование Португальской Коммунистической партии.

— Генерал... командосы... авиация... гвардия насьонал восстали. Фашисты. Хотели стоп революцию. Им уже капут, — пыталась она ему как-то объяснить.

— Гвардия насьонал — та-та-та? — Римас показал на площадь в конце улицы.

— Гвардия насьонал сейчас будет капут, — девчонка резанула ребром ладони себя по шее.

Толпа выпихнула лицеисток за грузовики, и Римас увидел, что на небольшой треугольной площади он оказался одним из первых. А те, из самосвалов, с винтовками и базуками, стояли группами, одни прятались за газетным киоском, другие — за мраморным парапетом фонтана; все винтовки, словно стрелки компасов к магниту, повернулись к готическому зданию в глубине площади. Значит, никакая это не УДП, а бойцы компартии.

Словно делая моментальный снимок, память Римаса запечатлела эту тишину равновесия, в которую он влетел вместе с девчонками, — угрюмая казарма с закрытыми ставнями, запертыми воротами, ни одного лица там, опустели даже сторожевые вышки — ничья земля между людьми с красными повязками и серым порталом дворца, мостовая словно минное поле, — и в следующее мгновение площадь уже заполнилась, демонстранты смешались с вооруженными, обнимались, ничьей земли не осталось, потому что сзади напирала толпа; люди вставали друг другу на плечи, цепляясь за решетку, добирались до второго этажа, били кулаками по стальным ставням, толстым, будто дверцы сейфа:

— Откройте! Выходите!

— Фашисты!

— Сдавайтесь!

На площади пели «Грандолу»[1]; на улицах, откуда шли все новые толпы, слышалась «Аванти, камарада!»[2].

Римас стал пробираться назад. Боком, нажимая плечом, не извиняясь. Надо уходить, хотя кругом и друзья.

Не только потому, что здесь в любую минуту может начаться бог знает что. Вдруг кому-то из осажденных жандармов придет в голову швырнуть гранату в толпу... Или они, желая прорваться, дадут очередь из пулемета... В панике люди передавят друг друга.

---

[1] «Грандола» — песня, давшая сигнал началу вооруженного выступления 25 апреля 1974 года.

[2] «Аванти, камарада!» — любимая песня коммунистов.

Да дело и не только в этом.

Забравшись на деревья, журналисты уже щелкали камерами. С крыши газетного киоска снимали — для кино или телевидения. Это посерьезнее пулеметов. Да, может, и в самой толпе кто-нибудь ошивается... Не хватало только, чтобы его распознали. Такого поверенный в делах ему не простит...

Он хотел вывести с собой и девчонок, но та, со знаменем, по-своему истолковав приглашение, игриво встряхнула локонами.

— Нет, нет, нет!

Прикрывая ладонью глаза, будто бы от солнца, добрался до переулка. Надо возвращаться в свою жизнь... Может, уже такси работает? Посмотрит из окна машины на гостиницу посольства и разберется, можно заходить или нет.

Грохота больше не слышно. Черный гриб дыма над крышами домов уменьшился, белый столб совсем исчез. Уже открылись рестораны, бары, вся улица сверкает вечерними огнями. В витринах из шлифованного стекла вращаются автомобили, поблескивая хромом, манекены моргают лиловыми глазами, дальше — куча музыкальных инструментов, висят копченые угри, высятся груды ананасов, благоухая через открытые двери. Продавцы скучают, делают вид, что не смотрят на улицу, смахнут с чего-нибудь пыль, что-то почистят, скрывая зевок.

Хорошо одетые люди стояли, говорили громко, спорили. Расступались, пропуская Римаса, словно прокаженного, — видели, что запыхавшийся человек идет оттуда, с площади Кармо[1].

Наверно, можно уже и к себе в гостиницу. Ноги ныли, ноги умоляли вытянуть их хоть на полчасика, ступни скользили в туфлях. Ничего, кажется, уже скоро.

Когда он увидел неонового петуха, а потом, пересекая улицу, в гостиничном холле трехметровый глобус, — все столицы мира мигали на нем огоньками и скрещивались все трассы авиалиний — привычная за эти две недели картинка, — он даже улыбнулся. Словно возвращался домой. Из долгого, трудного путешествия. Даже перестал прихрамывать.

Портье, как всегда дружески и важно, поздоровался

---

[1] Площадь в центре Лиссабона, где находились казармы жандармерии.

в своем стеклянном кубе и, как всегда без просьб, подал ключ.

Потом вполголоса добавил:

— За вами приходили. Два синьора спрашивали.

В гостинице не считалось дурным тоном говорить по-испански.

— Кто такие?

— Не знаю. Понимаете, мы — гостиница...

Римас повернулся было, чтобы уйти. Завтра выяснит. Надо присесть. Руки грязные. И хорошо бы сменить белье. И душ принять.

Портье — молодой, но уже плешивый, поднаторевший в своем деле с ранних лет, пока носил чемоданы вырвавшихся на юг туристок, соломенных вдов и одиноких секретарш из северной Европы, начинавший свою карьеру, наверное, как все, мальчиком на побегушках, а теперь статный, в элегантном коричневом фраке с золотыми ключами на отворотах, — смотрел иначе, чем все эти две недели. И не скажешь, как именно смотрел. Умеет человек.

Римас пошарил в кармане брюк и снова подошел к стойке. Положил ладонь на столик. Румяный портье не спеша подвинул к себе газету, и сложенная вчетверо бумажка в двадцать эскудо упала в выдвинутый ящик.

— Они были вооружены.

Римас ждал.

— В двенадцать двадцать три.

Римас ждал.

— Посидели пятнадцать минут.

Римас ждал.

— Ничего не говорили.

— Кто они?

Вереница старушек просеменила из бара в туалет. У всех на шляпках шелковые розы, у всех сумочки и кукольные улыбки. Пилоты «Люфтганзы» дремали в кожаных креслах, сидя прямо и независимо, как молодые банкиры. Их было много в холле — не один экипаж. Значит, аэродром еще закрыт.

Римас ждал, глядя на портье.

— Не знаю. Понимаете, гостиница... Мы стараемся держаться подальше от политики.

Римас нашаркал в кармане сотенную. Скатал, не вынимая руки из кармана, сунул ладонь под газету на стойке.

Портье, не двигая головой, покосился на своего коллегу, сгорбившегося над регистрационной книгой, на бар в глубине холла. Сказал беззвучно, одними губами:

— Из вашей школы.

— Директор?!

— Нет.

— Один из них был в костюме цвета слоновой кости?

— Нет... — Лицо у портье непроницаемое, гладкое, как и его плешь. — Оба в белых рубашках. Брюки хаки. Башмаки парашютистов.

Колеблясь, Римас протянул ключ.

— А вы такси не можете заказать?

— Простите, такси нет. Мобилизованы. Я... для вас уже вызвал машину нашего отеля. Шофер ждет. — Он показал взглядом на фигуру у двери. Коричневый китель, золотые лампасы, ливрея малость помята. Держит в руках фуражку.

Чертовщина какая-то. Все знают сценарий, только ты не знаешь. Не знаешь даже, актер ты, статист или голос за сценой...

В темной улице перед гостиницей посольства стояли два бронетранспортера, два бесхвостых ящера. Солдаты дремали, развалясь на сиденьях, другие спали на асфальте, прислонясь головой к колесам. Не стали ни останавливать, ни спрашивать Римаса.

Выходя из лифта в посольской гостинице, он столкнулся с Алексеем. Галстук у него развязался, но причесан гладко, в руке — портфель.

— Наконец-то! Мы уже волновались, хотели посылать тебя искать! Вся колония давно в сборе, только тебя не хватает. Так нельзя!.. Я уезжаю! — крикнул Алексей через коридор. Люди снуют, носят бумаги, электронным ветром завывает телетайп. — Римаса возьму с собой! Он уже объявился, слышите? Машину мне постережет.

На улице Алексей махнул портфелем на бронетранспортеры:

— Это уже не те, что были утром. — Рассмеялся. — Ты знаешь, что тут утром творилось?

Римас кивнул.

Миниатюрный «пежо» помчался по ночному бульвару, словно по тоннелю, в сторону центра. Там было светло как днем. Перед памятником маркизу Помбалу шел митинг, людей немного, оратор взобрался на цоколь па-

мятника. На проспекте другой митинг, а дальше — у каждого перекрестка. Алексей останавливался, слушал, открыв оконце и не выключая радио, по которому гремели марши, дикторы что-то победоносно кричали. Изредка выскакивал из машины, отыскивал в толпе знакомого, хлопал кого-то по плечу, пожимал руки — и опять дальше.

Голова гудела, как после самолета. Римас сбросил туфли, сидел в одних носках.

— Значит, не вышло сегодня у генерала?

— Что не вышло?

— Власть скинуть...

— Он и не собирался власть скидывать. Иначе бы он лучше спланировал бы все это предприятие. Ему еще повезло. Уже несколько часов, как в Испании сидит. Небось компрессы к голове прикладывает... Погоди, заглянем в министерство информации.

Полчаса Алексея не было. Толпа на улице шелестела, плыла мимо машины непрерывным потоком. Дети барабанили пальцами по крыше «пежо».

— Но генерал ведь поднял бунт? Я слышал, и коммандосы, и жандармы, и авиация были на его стороне, — сказал Римас осторожно, когда вернулся Алексей.

— Конечно, а что ему оставалось делать? Я у гостиницы тебя высажу. Спи спокойно, сегодня ничего больше не будет. А мне еще поработать надо.

Алексей явно был как рыба в воде.

— Тогда не очень понимаю.

— Такие дела действительно можно понять только десять лет спустя... Генералу было бы удобнее осенью взбунтоваться. Время работает на него. И компартия выжидает. Силы леваков тают. — Алексей мысленно, наверное, составлял свою докладную записку. — Неделю назад судостроители перешли на сторону компартии, вчера — докеры. Эти, твои «знакомые»... — Он снисходительно улыбнулся. Устало, незло.— Ничего, не волнуйся, все уже забыто...

— Так почему сегодня? И кто?

— Кто — знаем. А почему — до полуночи и это узнаем.

Дальше проезда не было. Загородив улицу, стояли парни. На шаг друг от друга. В руках — метровые точеные палки. Город тупиков. За парнями — неплотная толпа с красными знаменами. Единственный цвет, кажется, се-

годня в городе. Светло, прожекторы с деревьев направлены на подъезд. Там, на ступеньках, на возвышении — гроб.

А флаги были почти как советские. И даже пятиугольная звезда — в верхнем углу, у древка...

— Ты видишь? — Римас схватил Алексея за плечо.

Это есть наш последний
И решительный бой...—

пели по-португальски.

— Вижу... — Алексей дал машине задний ход, шины взвизгнули, и вскоре машина снова оказалась в темноте. — Фашисты проклятые! — выругался он.

Фашисты с красными флагами?

Через несколько минут Алексей затормозил, выключил мотор.

Из темноты вынырнул Егор. Открыл дверцу. Не здороваясь, уселся на заднее сиденье.

— Твоя версия подтвердилась, — сказал он. — Генерала действительно спровоцировали. Пешку из него сделали, — он рассмеялся. — Встретил знакомого журналиста...

— Но генерал своих людей подставил?

— Это уж точно. А что ему оставалось делать? Ведь к нему на стол положили список приговоренных к расстрелу...

— И он был в этом списке под первым номером?

— А как же! Иначе бы он не поверил...

— УДП подкинула?

— Да, через генеральского адъютанта. Бланк украден в генштабе.

— Дело рук Большого хозяина...

— Может, ты отпустишь человека? — Егор явно не хотел при Римасе продолжать разговор. — Совсем носом клюет.

Подъехали к гостинице. В высоком холле за стеклянной стеной вращался трехметровый глобус. Пилоты «Люфтганзы» все еще спали, сидя в креслах.

Ночь субтропиков терпко пахла гниющими апельсинами, вьющимися розами на балконах и хорошим бензином. Шелестела, словно лес во мраке, невидимыми шагами, шепотом незримых людей.

Надо бы спросить... Вопросов много...

Но как завтра работать? Был мятеж или его не было? Мятеж правых, левых или правых, прикидывающихся левыми? Хорошо, что разгромили, или плохо? Кому хорошо, кому плохо и надолго ли это? Полезно для нашей страны или вредно? Сейчас — а через год? Существуют ли вообще эти понятия — хорошо, плохо? Правда — неправда?

Прежде всего — спросить о тех, кто был вроде бы с советскими флагами.

Только как спросить, чтобы не разозлить Алексея? И как ему рассказать о тех двух, которые заходили за ним в гостиницу? Рассказать, чтобы не поднять паники во всей колонии? Может быть, сделать это завтра?

Алексей хорошо видел в темноте.

— Завтра, когда пойдешь в посольство... по той улице не ходи. Понял? Фашисты. Заимствовали у коммунистов флаги, эмблему и даже «Интернационал». Маскировка. Послереволюционная мимикрия. Часовую бомбу в наш теплоход подложили. А сегодня в «Аэрофлоте»... Знаешь, что там было?.. Хорошо, что вовремя успели оттуда людей вывезти.

«Ну и темный лес», — думал Римас, пока поднимался на лифте и отпирал дверь. Из комнаты повеяло нагревшейся за день пылью.

Как-то, когда он был у дяди в деревне, застал там археологическую экспедицию. В поле работала. Было слякотно, как всегда в Литве, дождь, ветер. Археологи откопают могилу, сфотографируют, пронумеруют все, соберут кости, вычистят яму, кажется, глина только и осталась. Нет, копают дальше. Под первой, глянь, оказывается вторая могила. Под этой — третья, иной раз — четвертая...

Он взял в постель томик Хемингуэя. Репортажи из осажденного Мадрида. Читалось с трудом. Сорока лет не прошло, а кажется — другое столетье. Все тогда было так просто.

Алексей очень хорошо видит в темноте. Но не все. Это ведь преподаватель Паулу лежал в гробу там, в освещенном прожекторами подъезде. Белая рубашка, брюки хаки, зашнурованные башмаки парашютиста... Все кубики укладываются на свои места. Значит, он и приходил тогда в гостиницу с автоматом под мышкой... а потом его самого шлепнули...

Не хотелось больше рассуждать ни о чем таком — слишком устал за день. Да и о чем тут рассуждать?.. Обрывки дня приходили ему на память в одиночном номере, в этом чужом и таком не нужном ему городе.

Устал не от пройденных километров, даже не от страха, не от того, что могло случиться.

От неясности. Тем тяжелее, что, по-видимому, неизбежной. От неведения. От двусмысленности вокруг, от собственной податливости и притворства. От лживого молчания, когда хочется кричать. Так давно не было простого дня. Где и когда начался тот конвейер, кому он нужен, куда тащит людей и кто раскручивает маховик?

Зазвонил телефон. В трубке — приглушенный голос портье:

— Я хотел вам сказать... Я теперь здесь один... Хотел только поздравить с победой сил прогресса, камарада. Уже сообщили: жандармские казармы Кармо наконец сдались. Хотел, чтобы вы знали: в глубине души я коммунист. Правда. Только, знаете, гостиница, хозяин, трудно... Но вы всегда можете, если нужно будет, рассчитывать на меня... Только деликатненько... понимаете?..

Ну и фрукт...

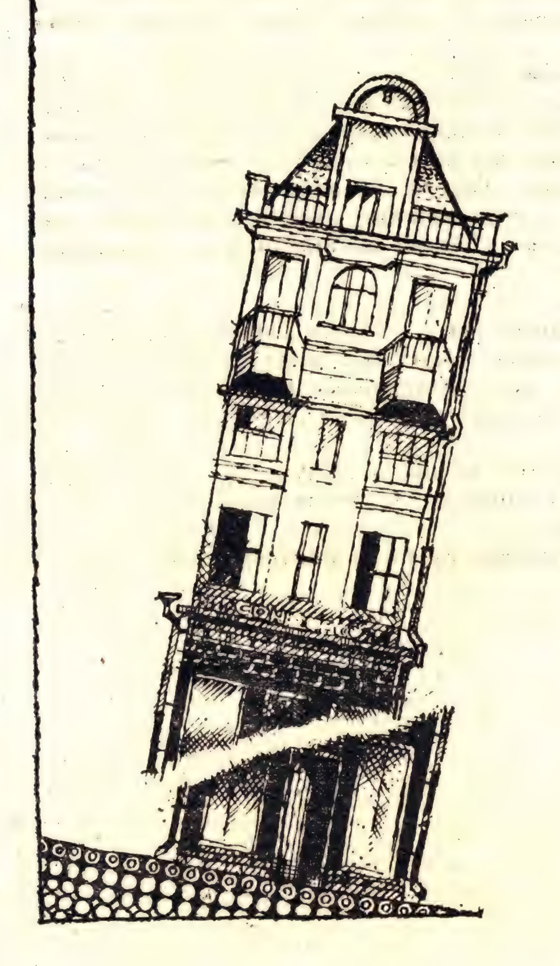
Три года придется здесь работать. Никуда не денешься. Раз взялся — надо. Надо организовать издание здесь советских книг, нот, пластинок. Организует. Узнает страну, выучит язык и привыкнет. Наверное, останется жив.

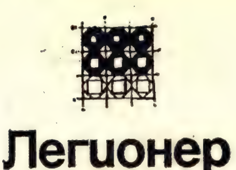
А потом вернется домой, в Литву. Точка. Не задержится здесь ни на минуту. Хватит. Очень устал.

Отдохнет дома.

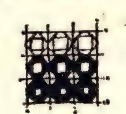
Дома наконец можно будет не притворяться.

Повести





Легионер



Дорогие Стив и Мери,

я заимствовал для этой книги ваши имена, так же как и названия университета, нескольких стран и торговых фирм. Конечно, все, что было в жизни вашей, Поля, Ито, Реджиса, людей из пригорода на Западном конце, втиснуть в эти страницы я попросту не смог, и вы справедливо возмущались тогда, в ночь тропического урагана, когда я читал вам рукопись, переводя ее с листа. У нас кончился керосин, и тогда, в небоскребе, мы жгли припрятанные кем-то рождественские свечи... Но с одним вы все соглашались — путем упрощений мы не шли. Ни в жизни, ни в рукописи. Поэтому ни одно, ни другое не отличается гладкостью... Может быть, так оно и лучше? Может быть, времена приглаженных жизней и законченных книг прошли?

Поля я видел последним из всей нашей восьмерки, которая провела ночь на 24-м этаже над затемненным городом, в здании, дрожащем в унисон с порывами урагана. Уже после чилийской трагедии я его видел и после его одиссеи на шхуне, груженной овцами. Он и оба его сына были последними, кого я знаю вырвавшимися из этого ада. Не о литературе мы тогда говорили, конечно, но меня опечалило одно — Поль сказал, что в отдельных деталях я предвосхитил события. Это та ситуация, когда автор предпочел бы ошибиться.

Надеюсь увидеть вас живыми.

Ваш Альгис Чекуолис

I

Тадас стоял у витрины спортивной лавчонки и разглядывал разложенные в окне рыболовные снасти. Спиннинги, связки сетей, ярко-красная обтекаемая моторка, оранжевая маска для ныряния, палатка и даже парабеллум. Как обычно в маленьких магазинах, на витрине яблоку негде упасть — столько товаров.

Кто-то ласково, как друг, тронул его за плечо, и Тадас в испуге обернулся. Никого. Почудилось... Не спеша брели мимо одинокие прохожие. Женщина вела на поводке собачонку, наряженную в клетчатый жилет. Недавно прошел ливень, и в черной, отшлифованной до блеска брусчатке отражались вытянутые глаза светофоров и сереющее вечернее небо.

Тадас любил рассматривать витрины. Всерьез прикидывал: это бы пригодилось на Игналинских озерах, а это вроде ни к чему. Вот эти крючки со свинцовой блямбой вместо ушка — для чего? Может, для рыбалки в море? Возьмет ли наша щука черную блесну? Тадасу вдруг почудился запах влажного сена в просмоленной лодке под серым небом, померещилась деревня над озером, почерневшие от дождя крыши. Но он только рукой махнул. Какая чепуха! Он просто рассматривает рыболовные снасти... Надо будет послать какую-нибудь диковинку шурину в Миндунай. Не сейчас — когда заведутся лишние деньги.

Кто-то снова коснулся плеча. Нежно, как друг или девушка. Словно сказал: «Послушай-ка...» Но вокруг — ни души. Тадас потрогал пальцами плечо. Добротный материал пальто был чуть сыроват. Тадас покосился вверх, на жестяную водосточную трубу. Ага, это капли. Час назад кончился дождь. Да, это всего лишь капли дождя из дырявой трубы. Они — нечаянно. Они метили в тротуар.

Тадас улыбнулся. Правда, его все еще трясла дрожь. Будь стекло в окне почище, он увидел бы свои глаза. Улыбка помогает согнать с лица испуг; однако не сразу.

Тадас свернул в переулок. На ходу легче собраться с духом. Башмаки стучат, как у всех, ноги сразу настраиваются на привычный, будничный ритм. Это успокаивает. Фу, какая чепуха! Чего ему бояться? Позови его даже отец или мать — чего ему трусить? Он ведь никому

не сделал ничего плохого. Не убил, не обокрал. Разве он чем-нибудь выделяется в толпе? Такое же, как у всех, пушистое шерстяное пальто, застегнутое до подбородка, малость расклешенное — даже поновее, чем у других. Из рукавов выглядывают белые манжеты рубашки. У нас только писатели разгуливают в таких пальто... И башмаки у него новые — на платформе, а верх мягко охватывает ступню. Волосы аккуратно подстрижены. Сыт, только что выпил кружку черного пива. А если и покосится на него прохожий, то тут же вежливо отведет взгляд. Но только задумайся об Игналинских озерах, как прохожие станут оглядываться на тебя...

Греки, итальянцы, даже скандинавы десятками тысяч ежегодно эмигрируют в другие страны, думал Тадас, и никто не делает из этого истории. Человек, можно сказать, никого не обокрал, никого не убил — зачем же клеить ему на лоб ярлык предателя? Надо только обжиться, и все будет в порядке. Главное — пустить корни, обжиться, а все остальное выкинуть из головы.

Вот и его Истедгеде. Вполне приличный район. Улица не очень-то широкая, дома старинные, четырехэтажные, фасады — из тесаного камня.

Прошло несколько долгих месяцев, но Тадас, доказывая себе, что поступил верно, все еще толковал мысленно с Робертасом и Альгисом — надо же с кем-то отвести душу.

«Вот видишь, Робертас, — Тадас воображал, что водит приятелей по Истедгеде, — рабочий квартал, а в каждом доме — магазины. Все первые этажи — сплошь магазины. И никаких тебе очередей. Заходи смело — только удовольствие доставишь продавщице».

Готовая одежда развешана и в дверях, и снаружи на витринах, а то просто на тротуаре стоят рядами вешалки, прикрытые от дождя прозрачными пластиковыми мешками.

«Попробуй оставь так на улице у нас, а?» — улыбается Тадас, а Робертас и Альгис уже роются в ворохе плащей, брюк, нейлоновых и кожаных курток.

«Высший класс, Тадас, модерн высшего класса!» — говорят приятели, а Тадас, затянувшись сигаретой, смеется:

«Тоже мне класс! Это же ношеное, отутюженное барахло или вышедшее из моды. Для скаредных старичков. Для почтальонов на пенсии. Солидные люди одева-

ются в «Дю-Норде», вот как я, а еще лучше — покупают контрабанду у американских моряков».

А вот и продавщицы выбежали, тащат за руки в лавку: шутка сказать, целых три клиента! «Вам свитерочки?» — строят глазки, не спрашивая, бросают на прилавок двадцать свитеров, тут же срывают ярлыки, заигрывают, проворно взбегают по стремянке к верхним полкам, демонстрируя бедра под мини-юбками, обернувшись, заливаются смехом. «Хи-хи, замшевые куртки — последний крик моды», — налегают на прилавок декольтированной грудью. «Засекли? — подтрунивает Тадас над друзьями. — Нарисуете, что к чему, а потом в Клайпеде портниха скроит вам такие джинсы, что весь завод лопнет от зависти». Альгис и Робертас аж вспотели от смущения, — такой переполох в магазине из-за них! «Курить у вас можно?» — «Ну, конечно, вот пепельница», — продавщица убегает куда-то, вытряхивает окурки, вытирает, подает да еще подмигивает: «А дамское белье вас не интересует?» Другая тянет Альгиса в темный угол, а сама такая стройненькая: «Вот незаменимый подарок для стильной девочки». В бархатной коробке сердечком — семь ажурных дамских панталон. На одних вышито «I love You on Monday»[1], на других — «I love You on Tuesday»[2]. И так до воскресенья, все разных, нежных, можно сказать, девичьих цветов.

«Это вам не универмаг на улице Монте! — хохочет Тадас. — Ладно! Угостите девочек сигаретами, и потопали из этой барахолки...»

...Тадас уже поднялся на четвертый этаж и без спешки отпирал свою дверь. Знал, что голову снова держит высоко. Что ж, отлично. Ведь фру Бендиксен сейчас улыбнется ему соблазнительно, всепрощающе и, как всегда, спросит:

— Весело провел время, Тедди-бэр? Ох и шальная молодежь стала! Одни развлечения, девочки да виски! Славный у нас город, верно?

В длинном коридоре полумрак, двери в комнаты закрыты, звук шагов скрадывает мягкая дорожка, но фру Бендиксен все равно высунулась из своей комнаты:

---

[1] Я люблю тебя в понедельник *(англ.)*.
[2] Я люблю тебя во вторник *(англ.)*.

— Ну и поздняя же пташка наш Тедди-бэр! Как повеселился?..

— Багодарю, мадам, недурно.—И поклонился, улыбнулся ей. — Ведь не поздно, — попробовал защищаться, — только восемь...

— Всюду поспевает эта молодежь! Вот и славно, радоваться надо. Ваши дни, ваши ночи. Я-то люблю молодых и понимаю...

Тадас постоял в коридоре, через плечо хозяйки заглянул в ее комнату.

— И моя Андри еще не приходила. Развлекается девочка. Молодежь, эх, молодежь... — вздохнула она без всякой печали.

Робертас и Альгис, с которыми Тадас еще не распрощался, языками прищелкнули: «Вот те и на, старая баба, а причесана, как кинозвезда, и костюм что надо, и чулочки...»

Тадас не отвечает им. Пускай лучше комнату осмотрят. Не первый раз он приводит друзей к себе. Ему нравится их приводить. Вот они, как и каждый раз, останавливаются на пороге, с любопытством оглядываются.

«Культурно... И шторы, и диван, и цветочки. Все твое?»

«На кой черт мне это! Хозяйкино все. Так и так скоро съезжать».

«Сколько с тебя берут?»

«Сорок в неделю».

«Ого. Пара туфель!»

«А что мне!.. Человек должен жить по-людски. Сколько можно скитаться по общагам, как вы?»

Тадас закрыл форточку. Внизу, за дощатым забором, всю ночь напролет ныряют в тоннель станции электровозы. Ну конечно, что ему этот грохот! Старый моряк, двигатели прогудели ему уши. Зато всего лишь сорок крон в неделю.

Разделся, закурил, разгуливая ко комнате в одних трусах.

А вот почитать нечего. Тадас ходил, ставя босые ступни на ребро, чтоб не шлепать. А то завтра опять попрекнут. Дом уже спал. Весь город окутала ночь. Здесь ложатся рано. Только поезда грохочут без устали. Пути прямо у него под окном.

Больше делать было нечего. Совершенно нечего. И с

приятелями толковать не о чем. Все уже обговорено, и не раз.

А скорее всего, ему так и не представится случай вправду поговорить с ними. Никогда он их не встретит, никогда и никого не будет водить по Копенгагену.

II

И ему снова вспомнился допрос.

Допрашивали его вообще-то недолго. А когда на второй день сказали: «Вы свободны», и он вышел на улицу, не зная, куда податься, ему все время казалось, что они не поверили, выжидают, проверяют, что он станет делать, и главный разговор впереди. Он бросал взгляды через плечо — неужто не следят? Шел медленно, нога за ногу, чтоб им проще было позвать его и договорить все до конца.

Первым его допрашивал начальник плавучего маяка. Моложе остальных на плавучке, невысокий, тучный блондин, напоминающий Наполеона. Морщился, словно от зубной боли, и ни разу не посмотрел в глаза, уставившись на свои бумаги или на край стола, к которому прислонился голым животом Тадас.

— Имя?

— Фамилия?

— Как-как? Не понял. Напишите вот здесь латинскими буквами. А это какая буква?

— Национальность? Кака-ая?

— Подданство?

— Вероисповедание? Год рождения? Место?.. Название судна? Порт приписки? Судимости?.. Прививки? Чем болели? Мотивы, по которым просите политического убежища?

— Личные. — Подумав, что ответ коротковат, Тадас добавил: — Мир хочу повидать.

Но эти пятеро или шестеро в тесной кают-компании плавучки молчали, словно ждали, пока он найдет более точное выражение. Поймать взгляд Наполеона Тадасу не удавалось. Начальник плавучки и не думал скрывать, что недоволен нечаянными хлопотами и тем, что его подняли среди ночи: лампа была одна, на столе; другие датчане, тесно усевшись на коротком диванчике, были в тени, они опустили головы и перешептывались, словно при покойнике, даже не глядя на него. Простыню дали, теплые шлепанцы, глоток горячего кофе из термоса, рюмку вод-

ки, — а вот взглядом не удостоили ни разу, даже не похлопали по плечу.

— Заработать хочу... — Тадас говорил, глядя в стену; со стеной говорил. — Побольше денег... Ну, знаете, западный... ваш образ жизни... — Сам почувствовал, что это звучит смешно. — Из страны в страну... беспрепятственно...

Молчат, вроде ждут от него чего-то. Не так он все это представлял... Почему он вдруг перестал верить в свои слова?..

— Поссорился с... судовым начальством. (Как будет по-английски «помполит»?)

— Политические преследования? Национальный гнет? — Наполеон уставился на Тадасов голый, еще мокрый пупок.

— Да нет! Понимаете...

— Драка? Кража? Непосильная работа?

— Нет, но...

— В конце концов, это не мое дело, — оборвал его Наполеон. — Придется дать письменные показания.

— Простите? — не понял Тадас. Начальник маяка говорил по-английски невнятно, пришепетывая.

— Я сказал — идите спать. Куда вас еще денешь. Завтра поговорите с компетентными лицами.

Его отвели в другую каюту, показали койку с развороченной постелью — видно, на ней недавно кто-то спал — и, уходя, заперли дверь. Но заснуть так и не удалось. Почти сразу же за крохотным круглым иллюминатором затарахтел движок, ударилась о борт плавучки лодка, в каюте заколыхались шторы, послышались энергичные шаги, в коридоре громко заговорили — не так, как говорят ночью на судне. Тадас, вздрогнув, сел в постели; почему-то отчаянно заколотилось сердце. Его долго не звали; он слышал нематросскую походку, в каюте над головой двигали стульями. Прошло много времени; он все еще сидел, съежившись под одеялом. Наконец услышал, как отпирают дверь; резко, со звоном повернулся ключ.

У трапа маяка качалась, стукаясь о борт, беспалубная лодка. В ней был только один человек. Он ковырялся в моторе, посвечивая фонариком, и не ответил на «Good evening»[1] Тадаса. Лодку швыряло, пришлось, скорчившись, устроиться на мокрых рыбинсах; за борт

---

[1] Добрый вечер *(англ.)*.

держаться было опасно, лодка вмиг прищемила бы пальцы. Как всегда на море, дул пронизывающий ветер, и Тадаса, который вышел из теплой каюты в одном комбинезоне без белья, сразу же бросило в озноб. А этот, у мотора, молча занимался своим делом. На носу плавучки устрашающе гремела якорная цепь, тяжелее, чем на обычных судах, а белый луч света из толстой башни в центре судна беззвучно устремлялся куда-то, вращаясь у них над головой, не только не освещая их лодку, погруженную в тень плавучки, но не касаясь и сумрачного берега вдалеке. В сопровождении Наполеона у трапа появились двое в штатском; сказали что-то, громко рассмеялись, натянули перчатки и грузно спрыгнули в лодку. Один из них, высокий, тут же обнял Тадаса, крепко прижал к плечу и сказал на неплохом русском языке:

— Устал, напереживался, мальчик? Да ладно, все обойдется, все.

От него несло спиртным.

Тадас опустил голову, глотая слезы; долгая ночь тревоги, и неизвестно, что ждет впереди.

Он ждал, что хоть эти его похвалят, скажут, что поступил правильно, и объяснят, почему именно правильно, подивятся его смелости. Но никто не сказал больше ни слова, может, потому, что затарахтел движок... Вскоре лодка подошла к причалу; рядом маячили черные стены крепости. Они сели в автомобиль с двумя длинными антеннами, торчащими из багажника, и помчались по автостраде к огням большого города, оставив моториста в лодке, — он не поднялся на берег.

Автострада была пустынна, город тоже; его озаряли разноцветные пляшущие рекламы и огромные витрины, в которых толпились манекены. Некоторые из них, заметил Тадас, были подвешены вверх ногами. Машина долго кружила, прыгала по трамвайным путям и наконец остановилась у ограды неосвещенного сада. Говоривший по-русски отпер калитку и повел Тадаса и этого другого по асфальтированному двору, потом на второй этаж старинного особняка, в окнах которого не горел свет, по темным коридорам, на ощупь по лестницам, пока, наконец, они не оказались в светлом и теплом кабинете. В комнате почему-то пахло зубной пастой. Мягкие кожаные кресла. Говоривший по-русски — рослый, медвежеватый господин лет под пятьдесят, с добродушным умным лицом, в очках — велел Тадасу снять куртку. Тот,

другой, все еще хранил молчание, и Тадас почему-то не мог как следует его разглядеть.

— Согреться надо, — сказал очкастый.

Он открыл шкаф и, раскупорив бутылку водки, наполнил три рюмочки. Водка была слабая, отдавала тмином. Тадас не знал, чем бы заняться. Прочитал надпись на бутылке: «Akvavit». Очкастый снова налил, и все выпили по второй. Но водка что-то не действовала.

— Как бы не схватил воспаление легких!.. — очкастый озабоченно положил руку Тадасу на лоб. — Ну и ну, как лед! Вот что, надо принять профилактические меры.

Другой подошел к сейфу, а очкастый принялся расспрашивать — о том же, что и начальник маяка. Вскоре этот другой оказался рядом с Тадасом с большим шприцем и кусочком ваты в руках; Тадас замахал руками, объясняя, что он здоров, но очкастый велел спустить штаны. Запахло спиртом, боли Тадас не почувствовал. А вопросы между тем не прекращались. Очкастого интересовало все: состав семьи, где кто работает, служил ли он в армии, почему не служил, кто его знакомые. Составить список. Где и кем работают. Тадас успокоился, вопросы были незамысловатые, да и в голове почему-то загудело. по всему телу разлилось тепло, мысли начали путаться.

Господин Петерсен — Тадас даже не заметил, когда очкастый назвал себя, — вышел из-за стола, сел в кресло напротив Тадаса, положил ему руки на колени и сказал:

— А теперь, мальчик, расскажи нам, как ты оказался на плавучем маяке Флакегрунд.

Он смотрел на него в упор; глаза были добрые, приветливые. Часто мигающие, прищуренные близорукие глаза.

— Я уже давно собирался... Ну, не очень-то давно, неделю назад... — Тадас старался говорить откровенно, начистоту, чтоб этот человек поверил ему и не перестал так мягко, просто, как отец, улыбаться. — Нет, с командой я ладил, подходящие ребята, компанейские... И работа не пыльная, отстоишь у вспомогачей четыре часа днем да еще четыре ночью, и точка. Факт, когда ремонт — работы больше, тогда все вкалываем, никто часов не соблюдает. Сами понимаете — ремонт.

Петерсен не прерывал его, все кивал головой. Тадас теперь видел только черные зрачки его серых глаз, даже лицо и очки перестал различать.

— И вот — датский берег. Я уже знал — через сутки

мы придем в Клайпеду, и точка, мне больше в рейсы не ходить. Так и сказали: больше я моря не увижу. И из мореходки отчислят, сказали. А как мне быть без моря?.. С детства мечтал... Сами понимаете, далекие тропики, незнакомые гавани... жаркие ночи чужих миров...

Тадас улыбнулся, чтобы Петерсен понял больше, чем можно выразить словами. Провел ладонью по щекам. Тадас не знал, произносит ли он на самом деле слова, теснящиеся у него в мозгу, но два черных зрачка, казалось, впитывали его мысли и все понимали.

— В мореходке было несладко, не думайте. Первый год — в Атлантике, на СРТ. Три месяца подготовки — и прямым ходом в Атлантику. Пресной воды мало, в умывалке — один кран на всех, а рыбы много. Трал за тралом! И все смотрят — выйдет из тебя моряк или нет. Я работал как проклятый. Оставили. Через год начались лекции, фурункулы затянулись. Вот, посмотрите, — Тадас задрал рукав комбинезона до локтя и показал лиловые звездочки шрамов. — Каждое лето — в Атлантику; правда, с каждым разом было все легче, я стал работать мотористом. Понравилось. Море ведь. Скоро конец, думал я, стану механиком, буду работать по-настоящему. Три курса кончил. И вот говорят — не пойдешь... Жяуна, наш «помпа», сказал. А как мне жить без моря?.. Сложил вдвое конец, спустил за борт, все дрыхнут, знаете, как всегда на судне, сполз тихонько в воду и веревку вытащил, чтоб на винты не намоталась. Жутко холодно было, но я спортсмен, Флакегрунд рядом, да и пробковый жилет на всякий случай надел. Знал, что этот маяк проходим, хотя суда при этом почти касаются бортами. В этом месте мы делаем поворот, я в атлантических рейсах насмотрелся. Я на судах все могу делать — у дизелей и у паровой машины, матросом тоже могу, приходилось и на камбузе работать. — Тадас положил на стол руки ладонями вверх, но два черных зрачка смотрели прямо, и пальцы снова сжались. — У вас большой флот, мы часто датские флаги встречаем. Я могу и учеником вначале... Поверьте, никто на меня не пожалуется... Я же не прошу дармового хлеба... Только не надо, сами понимаете, всего этого... Ну, чтоб радио, газеты... Я вам не вру и никому другому врать не собираюсь... никому не хочу повредить...

— Боишься за родителей, за сестер? В Сибирь их сошлют, верно? — словно с облаков прогремел голос.

— Да нет... Что им могут сделать... Не те времена. Они за меня не в ответе... Не хочется мне, чтоб приятели... и в мореходке... смеялись. Ведь... дома... — Он не мог найти удобной замены слову «родина». — Дома никто не сделал мне худого... Зачем врать-то?.. И еще об одном прошу — с нашими, с литовскими, эмигрантами меня не сводите... Знаю, какие они, в деревне жил, бандитизм помню. Был у нас такой период... С ними говорить не собираюсь. Я только свет повидать... В море ходить... Я же видел ваших моряков... Тоже молодые парни. И у нас, в Клайпеде, видел, и там... Все у них есть, и делают что в голову взбредет... А я чем хуже?

— Из-за чего ты рассорился с этим Жяуной?

— Я-то не ссорился... Невзлюбил он меня, и точка. Когда первый раз меня увидел, давай смеяться... стилягой обозвал. Да что он понимает?.. Майор, демобилизованный... Старый, тощий, даже есть ничего не может. Вечно он ко мне придирался. Говорил: «Если бы мода на клеши и длинные волосы пришла из Рязани, а не из Америки, ты бы не ходил в таком виде...» Ну, а потом, в этом Валвис-бее... Я первый раз был в загранке. Обрадовался, не всех брали. И работать легче, чем в Атлантике, и тепло, и интересно, есть на что посмотреть, и кормят лучше, продукты посвежее. На берег пускают, конечно, группами, по три-четыре человека. Мол, чтоб не было провокаций. Господи, какие там провокации! Люди на нас и не смотрят, мало ли ходит иностранных моряков. Да ладно... К нам на траулер двух негров прислали, Алубет и Нгикуэте их звали. Мы брали пресную воду, а они следили за шлангами, счетчиком. Целые сутки на палубе. А ночи у них холодные, хотя днем и жара. Сидят, вижу я, скорчившись, на кнехте, дрожат, мы им даже тулуп вахтенного дали. Говорю, зайдем, ребята, ко мне, согреемся. А в Южной Африке неграм спиртное не продают, и врезывают им иногда, сам видел, и в городе жить не дают, они в пустыне живут, милях в трех от города... Нам в тропиках причитается по триста граммов вина в день... Я как раз два графина сэкономил. Короче, сидим мы в каюте, а негры только головами кивают — «ага», «ага», что ни скажи им... И все на иллюминатор зыркают — не видят ли их с берега. Мы у причала стояли, потому они и трусили. «Сидите, говорю, спокойно, вам тут бояться нечего, вы мои гости, и сейчас мы выпьем». Ну и рассказал я им, что у нас была революция, что вот такие

бедняки, как они, расстреляли царя, взяли власть в свои руки и никого теперь не боятся, живут себе, поживают. И про войну рассказал, и про наших казахов, туркменов да бурят. Должны люди хоть раз в жизни правду узнать или нет? Их там тьма, в Южно-Африканской Республике, негров-то. А белых раз-два и обчелся. Ну, а на палубе «помпа» в это время в шашки играл. Мой иллюминатор как раз на четвертый трюм смотрит. Вбежал Зигмантавичюс — мой товарищ по каюте — и говорит: «Тебя Жяуна срочно зовет». Ну, пошел я. А тот как разорется на меня: «Кто тебе позволил на судне агитацию разводить?! Хочешь, чтобы для нас порт закрыли? Завтра же на берегу они все расскажут! Гони их в шею!» Я и говорю: «Никакой агитации не развожу, могут рассказывать что хотят, я же чистую правду говорю, ее и без меня все знают, какая тут агитация? А выгонять их неудобно—все-таки гости... Говорю, сами выгоняйте, если вам совесть позволяет». А он мне: «Ты их притащил, ты и убери, но чтоб в три минуты их в каюте не было, а с тобой мы еще потолкуем!..» Я возвращаюсь, негры улыбаются, головами кивают — я им наши журналы оставил. Там Клайпеда, Вильнюс. Тыкают пальцами в снимок с пляжа — «гёрлс, гёрлс». Уже и сами вина подливают. Сижу я, курю, не знаю, что и делать. Снова влетает Зигмантавичюс, говорит: «Жяуна велел передать, что он сию минуту тебя на губу посадит». Вижу, худо дело. Говорю неграм, что мне на вахту заступать. Они отвечают: «Хорошо, иди, мы тут посидим, ничего у тебя не возьмем». Нет, говорю, положено каюту запереть и свет потушить. Ну, они и ушли. Жяуна меня потом оставил без берега и вообще сказал, чтоб к неграм на десять шагов не подходил. Понимает он хоть что-нибудь, скажите? Ладно, без берега так без берега... Ребята возвращаются, травят: то видели, то купили, а ты сиди как в тюряге да еще на вахте их подменяй. Но совсем меня не пустить Жяуна, видимо, не мог. Сами понимаете, мы получаем прибавку к зарплате в инвалюте, когда в порты заходим. Этих денег немного, но все равно потратить их надо. И вот в Гибралтаре, последнем порту перед Клайпедой, все покупают ковры, платки на подарки, а у меня за душой ни гроша. Что мне Лайма скажет? Девушки ждут нас, придут встречать, приоденутся, даже на улицах в Клайпеде пестрее станет. Подружки Лаймы, другие официантки, спросят: что тебе Тадас привез? Недавно мы дружим, но все равно

ведь спросят. Сами понимаете — девушки! Ходим мы, значит, по этому Гибралтару, хоть там и не разгуляешься, всего одна улица, в лавки заглядываем... Ребята из моей группы выбирают, торгуются, покупают, а я торчу дурак дураком. Лавочники у них народ тертый, можно сказать, по глазам читают. И лавочник уже снимает у меня с плеча фотоаппарат. Не могу же я продать, запрещено, да и аппарат хороший! Аппарат, говорю, не дам. Покупай, если хочешь, объектив! Выкрутил он, смотрит на свет, сует фунт. Ребята тянут меня за рукав — не дури, мол, хлопот не оберешься. Какие, говорю, хлопоты — свое продаю, не краденое. Да и вообще, хорошо вам говорить, когда вы при деньгах. Взял я этот фунт и у него же в лавчонке истратил. Потом все машинное отделение смеялось. Смейтесь, думаю, в Клайпеде новый куплю, тоже мне горе. Бискай, Ла-Манш уже прошли, скоро — Северное море. Приходит ко мне помполит, обходительный, ласковый, — сразу видно, все ему известно. «Ну и где же твой объектив?..» — спрашивает. «Нету», — говорю. «И куда же ты его дел?» Что тут врать? Выложил ему все, как есть. Как закричит он на меня — я, мол, и барахольщик, и торгаш, и фарцовщик, знает он таких стиляг — мне, мол, не в море ходить, а в Клайпеде в темном переулке у ресторана с иностранцами торговать. «Где достоинство советского человека?!» А где, говорю, достоинство того негра, что мне часы продал? «Какие еще часы?» — выпучил глаза Жяуна. А вот эти, показываю. Золотые, так и блестят, браслет — металлический. Говорю, в Дакаре — в Дакар, в Сенегале, мы заходили еще до Валвис-бея — пристал ко мне на улице разносчик: купи да купи у него часы. Поначалу заломил десять тысяч франков. Я говорю — уходи, таких денег я в глаза не видал, а он все тащится за мной, спускает до восьми, пяти, а потом меняться предлагает. У меня на руке старая «Победа» была. Прибавь, говорит, две тысячи, и «Омега» твоя. Тысяча у меня была, вторую занял у Зигмантавичюса, — говорю, отдам, когда опять валюту выдадут. Все-таки, думаю, «Омега», водонепроницаемая. Так и не стало у меня валюты. А останавливались, проклятые, два раза в день. Открываю — ни единого камешка. А золото это — от жары или от сырости, что ли, — облупилось... Помполит аж побелел, когда я ему все выложил. Ну, говорит, видал ты теперь море как свои уши. Тебе не только офицером рыбфлота нельзя быть, тебя к приличному

судну на пушечный выстрел подпускать нельзя. И механики злятся, шушукаются, в лицо мне говорят, что изза меня у них одни неприятности. Жяуна каждый день вызывает к себе Зигмантавичюса, обо мне всю подноготную выспрашивает. Ах да, еще собрание было! Обсуждали меня. Вот тогда я и понял, что дело мое кончено. А, думаю, подавитесь! Дай боже эту сотню метров до Флакегрунда доплыть и с холода не подохнуть. Молодой я, здоровый, американскому радио не очень-то верю, но кто туда перебрались или там в Австралию, и посылки присылают, и с голоду не дохнут, даже машины у них есть. Верно ведь? А у меня специальность. Вот и все.

— Все? А почему не сказал, какое тебе дали задание?

— Кто дал? — Тадас не понял.

— На берегу. Потом на судне уточнили. Нам все известно.

— Шутите... А может, Жяуна хочет меня припутать...

Наконец-то заговорил и тот, другой. Вопросы следовали один за другим, слева и справа.

— Где тебя готовили? На курсах? В школе?

— На моториста-то? Я уже говорил... — Тадас понял: случилось что-то страшное — они не поверили ни единому его слову! — Больше нигде... — «Теперь, наверно, будут бить, не давать спать, и вообще будет как в кино».

— В каком городе прошел обучение?! В Ленинграде? В Балтийске? В Москве?

— Да что вы! — Тадас встал. — Я...

— Сиди!!! Знаешь, что таких ждет? Одно только спасение — сразу все сказать!

— В чем были твои инструктора? В штатском? В форме? Говори, нечего в молчанку играть!

— Вы ошибаетесь... Прошу вас...

— Нам все известно! Даем тебе шанс спастись... Жалко, мальчишка... Никто тебе не поможет, понял? Никто же не знает, доплыл ты до маяка или нет. С кем ты должен выйти на связь?

— Я никого здесь не знаю...

— В какую страну приказано проникнуть?

— Не знаю... Куда разрешат... Никто мне не приказывал...

— Тебе только двадцать лет, подумай! Скажешь все — выдадим паспорт на другую фамилию, поможем тебе, уедешь куда хочешь. Какое твое главное задание?

— Что поручили делать в случае войны с Советским Союзом?

— Не забывай — ты ведь мог и остаться в Зунде... Говори!!! Как будешь себя вести при встрече с китайскими моряками?

— Воля ваша, но я правда...

— На какой адрес приказано писать в Россию? А в другие страны?..

. . . .

Проснулся он тогда в кровати, без комбинезона, под простыней. Во рту был тошнотворный вкус, голова кружилась, он долго не мог понять, где находится. Вспомнил наконец, испугался, но в окнах не было решеток, только рамы с толстыми стеклами, закрытые наглухо. Подумал, что траулер, наверно, уже под Клайпедой, если только не вернулся его искать. Ребята позавтракали, на судне все только и говорят о нем да матерят его.

Испугался, услышав, что открывается дверь. Вошел паренек в форме, подал чашку кофе, бутерброд с ливерной, посыпанной перцем. Потом принес его комбинезон и куртку, повел умываться, оттуда снова в кабинет, в котором Тадас был ночью.

Тадас застыл на пороге, увидев господина Петерсена и офицера, сидящего за столом. Господи, сколько это еще может продолжаться! Но Петерсен улыбался дружески, как будто и не кричал ночью на него. Вытирая платочком очки, он пригласил Тадаса подойти поближе. Пожал руку, познакомил с офицером, который, по всему видно, был здесь начальником. Офицер тоже свободно говорил по-русски.

— Мы тебе верим. Ты можешь оставаться в Дании. Ты хороший парень.

Тадас стоял и ждал.

— Мы поверили тебе, понял? И правительство, наверное, предоставит тебе политическое убежище. Сбылись твои мечты, сможешь делать все, что хочешь. Ну? Ты теперь в свободной, демократической стране. Будь честным ее гражданином. Понял? Беды твои кончились.

Тадас ничего не ответил. Он обернулся, но за спиной у него никто не стоял.

— Из всего, что ты вчера наговорил, мы приготовили заявление, — Петерсен подал ему отпечатанный на машинке текст. — Перепиши и поставь подпись.

Тадас посмотрел на листок: «Ее Величеству Королеве Датчан...»

— Садитесь, садитесь, — сказал офицер. — Читайте вслух.

— Но здесь... — Тадас снова испугался. — Я же не говорил, что в Литве у меня нет свободы слова... и что национальные меньшинства... — Больше всего он боялся, что сейчас все начнется сначала — начальник уже поморщился и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу.

— Ну, подумай же ты сам, — усмехнулся Петерсен. — Нам пришлось как следует поломать голову, как лучше составить твое заявление. Не могли же мы написать, что ты жаждешь увидеть пляски дикарей Мадагаскара. Русское посольство потребовало бы выдать тебя как психического.

Тадас переписал все слово в слово и расписался.

— А вот это — присяга. Что будешь соблюдать наши законы. — Петерсен подал второй листок.

Его переписать не велели. Половина текста была о правилах уличного движения.

— А это — подписка о невыезде из страны без особого разрешения. Временная мера, разумеется.

В этом особняке без решеток он провел еще сутки, и тогда его выпустили. Вот и все. Больше его уже не допрашивали.

...И только здесь, в комнатушке на Истедгеде, каждую ночь ему снова учиняли допрос. Жгли башку раскаленным железом — и голова таяла, как глыба масла, но жарко не было и больно тоже, только он не мог ни слова сказать. Господин Петерсен хохотал, все не мог протереть дочиста свои очки и со слезами на глазах спрашивал:

«Ты ведь потому не можешь сосчитать бутылки, что работаешь на разведку Китая!.. Нам известно даже, сколько волосиков у тебя на пальцах ног!»

А то просто набьются в комнату люди, рассядутся на диванах вдоль стен и смотрят, как он корчится, не может вымолвить ни слова, ответить на вопрос, заданный еще до сна, тискает пальцами горло и не выдавливает ни звука, пытается ответить взглядом, но они только барабанят пальцами по столу и ждут, ждут... На лицах — брезгливость, в глаза никто не смотрит. Он заставлял себя проснуться, поворачивался на другой бок, но не ус-

певал закрыть глаза, как перед ним снова появлялись люди на диванах, и эта пытка длилась всю ночь.

На работу он уходил до рассвета. Встав, тут же зажигал обе лампы — настольную и под потолком; одевался, чистил башмаки, стараясь до последней секунды, пока не откроет дверь, не тушить света. Чтоб не быть в темноте перед тем, как выйти в коридор.

Только не быть одному в темноте!

III

Другие грузчики приезжали на пивзавод на велосипедах, чаще — с моторчиками, кто помоложе — на мотоциклах и, увидев, что Тадас выскакивает из трамвая, всякий раз качали головами:

— Ой-ой, не умеешь ты жить, парень. Morgen[1].

Когда работы убавлялось и все садились покурить, кто-нибудь непременно брал Тадаса за рукав и, сгибая пальцы, принимался подсчитывать. Притом кричал на ухо, будто разговаривал с глухим или ребенком, хотя за эти три месяца Тадас неплохо овладел языком, даже газету мог читать, а разговоры рабочих, их незамысловатые шутки понимал тем более. Может, только чуть не так произносил мягкие гласные и шипящие согласные.

— Сам посчитай, парень. На трамвае, если одна линия, — крона. А у тебя пересадка. Уже полторы. А обратно? Потом в центр съездишь. Если возвращаешься поздно, когда ночной тариф, — глянь, и пять крон в день набежало. За неделю — тридцать крон. Понял, парень? Тридцать крон!.. А подержанный велосипед, пускай без моторчика, — сотня. И хоть до свадьбы катайся.

— А после свадьбы — тем более! — смеется другой.

— Да я серьезно говорю. С такими замашками не разживешься, парень.

Тадас отшучивался, а то просто молчал. Разве объяснишь им, что не для того он наплевал на Клайпеду, чтоб теперь трястись за каждый эре и тащиться через весь город на дребезжащем велосипеде? Ютиться в черт знает каких домах, как они, и каждый год менять квартиру, прослышав, что где-то сдают подешевле? Лететь высунув язык, когда универмаги объявляют распродажу несезонных товаров, и толкаться среди баб? Он ведь,

[1] Доброе утро *(датск.)*.

черт возьми, моряк. Дай только он натурализуется. Правда, подданства придется ждать семь лет... Вот тогда он им покажет! На кой черт ему велосипед? В Клайпеде, не только когда плавал, но и в мореходке, Тадас не привык считать деньги. Есть — хорошо, тратишь, нету — значит, скоро будут, вот и весь разговор... А ну их, с этими дурацкими советами!

Грузчики на «Карлсберге» — народ разношерстный. Каждого порядком помотала жизнь, пока он оказался у ящиков с пивом. Может, потому все они любят давать советы и по-детски обидчивы. Больше всего не с руки Тадасу было работать в паре с Йенсеном. С этим долговязым костлявым стариком в позолоченном пенсне носились все грузчики. Разве так уж важно, что у него когда-то была собственная мыловарня? О том, что Йенсен был богачом, а после смерти жены запил и все спустил, Тадасу с гордостью шепнули чуть ли не в первый день. На работу Йенсен являлся в черном, правда, замусоленном костюме, курил только сигары, — конечно, дешевые, из автомата, и даже на велосипеде катил, сохраняя достоинство. А вот когда надо было работать на грузовике, Йенсен всегда успевал поставить свои ящики в нижний или второй ряд, оставив Тадасу верхние ряды, куда ящики надо поднимать на вытянутых руках. После этого долго ныли запястья.

Сильнее всех был Борге. Рослый, косая сажень в плечах, грудь тугая, аж звенит, как хорошо надутый футбольный мяч, лицо багровое, с голубыми прожилками на щеках и носу. Ему тоже было за пятьдесят. Он все хвастал, что был боксером, три года — даже чемпионом округа Орхус. Будь я грамотен, говорил Борге, меня бы тренером оставили. А вот о том, как он ходил в море и за что его выгнали портовые докеры, Борге не распространялся, и никто к нему не лез с вопросами, потому что к концу работы Борге успевал так накачаться черным пивом, что лучше было ему на глаза не попадаться. В понедельник он являлся на работу поцарапанный, с синяками.

Всем им никогда не надоедало дуть пиво, даже Йенсену.

На «Карлсберге» платили не так уж мало — крон девяносто в неделю. Сравнив с ценами в лавках, Тадас поражался — куда же деваются деньги? Есть же рабочая столовая, обед в ней дешевле, чем в городе. На столиках

даже цветы стоят. Ну ладно, обедают в столовой все. А вот на кой черт возить из дому завтрак — такие же бутерброды, как и в столовой, только мятые, да бутылки молока и термосы с кофе? Стоит ли страдать из-за нескольких эре? Расскажи Робертасу или Альгису — не поверят. Или вот одежда. Пусть мода у них такая — зимой ходить по-спортивному, без теплого пальто, в плаще или куртке, а то просто в свитере да пиджаке. Даже детей здесь одевают легко. А вот почему на работу они приезжают в ветхом свитере, в довоенной фуражке со сломанным козырьком, в жеваных штанах? Одежда-то стоит гроши, на самом деле дешевле, чем у нас.

— Видишь ли, Тедди-бер, ты не умеешь жить, — сказал ему как-то Балерун, тощий, вечно печальный белокурый парень. (Тадаса здесь, как и всюду, словно сговорившись, сразу прозвали так. Он знал, что по-английски это «плюшевый медведь»; так зовут еще и маленьких безобидных медведей, обитающих на деревьях. В Южном Китае, кажется, или в Гималаях. Правда, неизвестно, почему люди ухмылялись при этом, переглядывались, а другие даже просили не обижаться.) — Видишь ли, Тедди, ты совершенно прав, у нас, в Дании, заработки неплохие и дешевизна. Запомни, у нас — самый высокий уровень жизни в мире! — Тадас это тоже знал назубок, ему уже уши об этом прожужжали. И произносилось это страшно серьезно, с гордостью, и каждый поднимал при этом палец. — Самый высокий! Но человек обязан стараться. Само собой ничто не приходит...

...Под вечер, после смены, Тадас едва застегивал пуговицы. Руки свинцовые — едва поднимешь до груди, пальцы бесчувственные — им-то больше всего доставалось. Хватаешь ящик, забрасываешь на спину, потом ставишь на место и еще поправляешь. Вся тяжесть и все занозы — для пальцев, хоть и рукавицы есть. Нельзя сказать, чтоб датчане увиливали от работы. Может, один, Йенсен. Другие работали без палки, до седьмого пота. Закусить или покурить садились дружно, все грузчики вместе. И все ж иностранцев можно было отличить, пусть они и рта не раскроют. Они-то просто в лепешку расшибались. Южный характер сказывался, наверно. Больше всего здесь было испанцев — человек десять. К вечеру они валились с ног. Были португальцы, югославы, греки. Еще поляк — беглый студент. И каждый замкнут,

у каждого своя мечта, своя оставленная где-то семья, — Тадас представлял себе при этом брошенных в гнезде голодных галчат. В день получки грузчики-иностранцы чуть ли не бегом мчались на почту. Честили они «Карлсберг» почем зря, но держались за него руками и ногами.

IV

Тогда, из полиции, он отправился прямо в порт. Чувство такое, как в отпуску в чужом городе — никого из знакомых не встретишь, иди куда хочешь, даже дорогу спрашивать не надо — портовые краны видны отовсюду.

Судов — прорва. В порту — никаких ворот. И пропусков не надо. Километры причалов, сотни судов — горделивые великаны и крохотные, с автобус, суденышки. У трапов, и то не всегда, вахтенный. Тадас немало походил по коридорам первого парохода, пока нашел старпома. Но тот только рассмеялся.

— Нет,— сказал он,— на датском судне так просто работу не получишь. Мы вправе принимать лишь членов профсоюза. Нет, даже юнгой нельзя. Такой закон, — добродушно развел он руками. — Попробуйте лучше на судне из Панамы, Либерии или Кипра. Им часто не хватает людей. На профсоюз и гражданство они тоже чихали. И платят много. А пенсия и страховка для вас ведь роли не играют — вы еще молоды, не так ли?

Подошел другой моряк:

— Я сам работал на панамце. У них капитаны даже сами документ могут выправить. На какую хочешь фамилию. Пойди к ним — все будет хорошо.

Тадас уже слышал это: «Все будет хорошо». Скажет человек и доволен.

Но на причал вернулся в отличном настроении. Панама, Либерия — звучит неплохо. Как он сразу не додумался! Он же знает, что это за корабли. Продажные флаги. В море таких полно. А какие у них рейсы? Это же трампы — бродяги морей, — куда получат груз, туда и идут. Весь мир — и бойкие порты миллионных городов, и скалистые рейды забытых богом островов — для них. Это тебе не сельдяной флот. Встретит где-нибудь клайпедский СРТ и помашет рукой: «Эй, вы, может, сбросить вам бутылку джина!» Домой — посылки, и Робертасу с Альгисом что-нибудь, скажем, открыточку из Сан-Франциско или транзистор из Иокогамы.

Железнодорожные пути, контейнеры, краны, машины. Пахнет свежими фруктами, сандалом. Разгуливают моряки — элегантные, как стиляги высшего класса, под хмельком.

Вот и панамец. Кажется, пассажирский, не годится. Паром на Швецию. Два американских корабля, снова паром, из ФРГ, а тут... советский, «Беломорлес»... Чепуха, он же не будет слишком настырно смотреть. Ему ведь нечего, совсем нечего бояться. Пускай они выгружают эту свою крепежку... Осторожнее, Тадас, здесь натянуты тросы...

Вот этот. Да, это будет его корабль. Не слишком большой и не слишком новый, черная краска на бортах малость облупилась. «Lucky Jane» [1]. Монровия, флаг вроде американского, только звезда одна. Грузит плоские бумажные мешки, скорей всего с цементом, — все вокруг поголубело от пыли. Парням придется как следует потрудиться, сперва все аккуратно подмести, потом только отмывать водой. Говорят вроде бы по-датски, но это грузчики.

У трапа его остановил по-немецки паренек. Ровесник Тадаса, в руке — блокнот, на голове — фуражка с лакированным козырьком. Такие носят эстонские шоферы, а в Литве — жемайтийцы.

— Простите, сэр, я бы не мог говорить с вами по-английски? — Почему голос сразу же зазвучал робко?

— Разумеется. Вы насчет работы?

— Да, хотел бы.

— Приходите через три дня. Всю команду будем набирать.

Тадас даже удивился, что так легко пошло.

— Я работал мотористом.

— Вот и чудесно! Через три дня, о'кей?

И убежал ко второму трюму ругаться с докерами. Тадас терпеливо ждал. Возвращаясь, немец его уже не заметил.

— Простите... Нельзя ли было бы... сразу? — «Господи, нельзя же так, цену собьешь». — Я...

— Понимаю вас, но каюты заперты и запломбированы. В порту мы всегда распускаем команду. Потом набираем новую. Какая от вас польза в порту... — усмехнулся немец. — И камбуз на замке, — подчеркнул он. —

[1] Счастливая Джейн *(англ.)*.

Только чтоб карточка в матросской книжке была подклеена аккуратно!

— У меня нет книжки. И вообще никаких документов.

— В сущности, это не наше дело. Эй, говорил же, осторожно, это вам не железо! Полиция или консул могут поручиться за вас? Вы кто — швед? Голландец? Вас знают?

— Полиция знает. Я могу телефон сказать. Я литовец... сбежал с советского судна... с траулера...

Штурман, стоявший к нему боком и наблюдавший за грузовиками, которые не могли разъехаться на причале, живо повернулся.

— Вот как? — он впервые в упор посмотрел на Тадаса, на его большой, не по росту, комбинезон, на стеганую военную куртку. — Ах, вот какое дело... И давно? Плавали уже после этого?

— Нет. Я всего несколько дней.

— Ах, это о вас было в газетах? Прошу вас, закуривайте!

— Может быть. Я не читал.

— Пожалуйста, берите всю пачку, не стесняйтесь, у меня еще есть. Поздравляю, вы поступили мужественно. Я слышал, как там все было. Непременно, непременно скажу капитану! — Немец не просто улыбался, он явно заинтересовался. — Наш старик — волк, — подмигнул он. — Формальности — не ваша забота. Он сделает все. Он же здесь как свой. Но сейчас, извините, он правда улетел в Гамбург, к жене и детям. Мы тут с механиком одни, — махнул он рукой, — на этой посудине. Приходите с утра, и, уверяю вас, все будет в порядке.

Штурман записал телефон Петерсена, крепко пожал руку Тадасу и еще раз повторил, что его встретят с «истинным немецким радушием». Откуда на либерийском судне немецкое радушие, Тадас не спросил.

Гуляя по причалу, Тадас нашарил в кармане листок с адресом, который дал ему Петерсен. Кофе в полиции был жидковат, наверно, потому Тадаса бросило в озноб.

На перекрестке полицейский показал, куда идти, но не козырнул. Тадас растерялся, увидев, что попал в церковь, точнее — во внутренний дворик собора. Стрелки с нарисованной дымящейся тарелкой привели его к окошку. Тадас постучал, но никто не ответил. Пахло тушеной капустой. Окошко открылось, бледная женщина с уны-

лым носом старой девы взяла у него бумажку, прочитала, что-то недовольно буркнув, захлопнула окошко. Оглядевшись, Тадас увидел, что все скамьи во дворике заняты людьми. Старухи в потертых шляпках и дырявых черных чулках, старики с обмотанными шарфами шеями смотрели на него с неодобрением. Тадас подумал уже, что не туда попал, как вдруг ударил гонг, открылась дверь, и толпа ринулась в старинную комнату со сводами, где на деревянных столах были расставлены пустые глубокие тарелки и разложен хлеб. Тадас встал между двумя старухами, которые толкали его острыми локтями и переругивались, а может, поносили его. Длинноносая хозяйка стояла, сложив руки для молитвы, и ждала. Когда все замолчали, она буркнула что-то. Ответ гулко прогремел под сводами, словно из мешка высыпали картошку. Старая дева снова что-то буркнула, потом вроде запела. Все в комнате, даже эта старая дева, смотрели только на него, и Тадас тоже зашевелил губами. Наконец принесли стеклянные миски с жирными щами.

Старики чавкали, соседка Тадаса кормила из горсти свою собачонку. После еды долго читали библию, пели псалмы, и Тадас снова проголодался. Уходя, все кланялись длинноносой старой деве. Кивнул и Тадас, но она отвернулась.

Дождь показался ему ледяным.

По улице, беседуя, спешили люди. Увидев его, делали шаг в сторону, замолкали, иногда даже оборачивались.

В порт! Черт с ней, с этой «Lucky Jane». Тадас подошел к новому танкеру без флага, но у трапа висела картонная табличка: «Наем не производится». У следующих двух кораблей — такие же надписи. Тадас отмахал километров пять, пока не увидел белый панамский пароход без огней. Толстяк курил на палубе. Он не возражал, когда Тадас поднялся наверх, дал прикурить, охотно болтал — видно, со скуки. А вот работы, мол, никакой, и переночевать у них нельзя. Вся команда на берегу, вернется через четыре дня. Его и наняли для того, чтоб посторонних не пускал. Еще спалят судно.

Потом он оказался в компании подвыпивших моряков с польского судна, — как и многие литовцы, он знал польский язык, — даже поспал часть ночи в чьей-то каюте, не распространяясь много о себе. Но его все же вытурили, и до рассвета он продремал под брезентом, свер-

нувшись в клубок на ящике с пианино. Спасибо, куртка оказалась довольно-таки теплой. У него был адрес какого-то общежития, но Тадас подозревал, что это опять будет богадельня.

Утром он пробовал счастье на других судах. Его опухшее от бессонницы немытое лицо никого здесь, кажется, не удивляло, но мест все равно не оказалось, и он решил снова сходить на «Lucky Jane». И правильно сделал — капитан уже прилетел. Но ждать пришлось долго, почти до полудня.

Наконец молодой штурман подошел. Он был смущен.

— Простите, пожалуйста, но капитан не может вас взять, и ему не о чем говорить с вами, он так сказал. На самом деле... Он не может принять на судно советского гражданина... keinen sowietischen Staatsangehörigen.

У Тадаса в груди аж екнуло.

— Да, да, я понимаю, вы... вы, так сказать, бывший... Весьма прискорбно, то есть я хочу сказать, — положение весьма сложное. Но поймите, мы — грузовое судно. Заходим в разные порты... Да, департамент безопасности подтвердил вашу личность... Мы не потому, что вы, мол, лжете, нет... Сами понимаете, порты бывают и особого назначения... Я уж не говорю о стратегических грузах или стройках... Иногда мы на вооруженные силы работаем... Если узнают, что на судне советский, могут не впустить... Простите, пожалуйста, я об этом не подумал, а то бы сразу сказал... Капитан посылает вам восемь крон, и от меня вот еще пять. Попробуйте обратиться к рыбакам! Рыбацкий флот у датчан большой, вы тоже рыбак, и все будет хорошо. А на торговых, я полагаю, всюду одно и то же. Американцы, сами знаете, с ума сходят, всюду им мерещатся шпионы.

Тадас заметил, что хотя штурман и кланяется ему, но смотрит на него как-то иначе, чем раньше.

Рыбаки здесь, как оказалось, работают на паевых началах. Тадас потратил целых полдня, пока это выяснил,— пришлось тащиться на другой край города. Сезонную работу рыбаки предлагали, но только весной, когда пойдет салака.

Теперь Тадас заходил и на паромы, и на каботажные суденышки. От чувства, что ты в отпуску и волен идти куда захочешь, давно не осталось и следа.

А потом он увидел, что стоит в садике перед полицией.

Зашел в особняк, отыскал Петерсена. Тот выпучил глаза:

— А я-то думал, ты уже в Гонконге! Что ж, здравствуй. Нам звонил какой-то немецкий капитан.

— Да что вы тут говорите...— Тадас не посмел рассердиться, даже упрекнуть Петерсена.— Ведь сами все отлично знаете... На меня все равно смотрят как на советского... Или от вас указания получают, разве я знаю...

— Ну и ну, какие сложности!.. — Петерсен открыто издевался. — Как попирают человека!.. А тут о тебе справлялись.

— Кто справлялся?!

— Твои друзья, соотечественники. Два господина из Парижа. Минуточку, они, кажется, оставили номер телефона своей гостиницы. — Петерсен стал рыться в бумагах. — Весьма приятные латыши, то есть литовцы, прошу прощения.

— Не нужны они мне. Их интересует одно, меня — совсем другое. Неужто в Дании нельзя найти честную работу? Я же работяга, моряк!

— Да какой из тебя моряк... — господин Петерсен развалился в кресле. — Раньше или позже все равно к ним придешь... И чем раньше придешь, тем больше будут тебе верить.

— За здорово живешь? Думаете, поверят задарма? Вот вы не верите, на судах не верят, а они, по-вашему, не потребуют, чтобы я плевал в сторону Литвы?

— Говоришь, будто «Правду» читаешь! Много у тебя еще сена в голове... Как маленький: «не верите», «не верите»... Верим, сто раз тебе говорили! Но есть закон, правила... Кормить-то я тебя не могу!

— Мне и не надо! Позвольте честно зарабатывать хлеб!

— ...А эти господа худа тебе не желают, наоборот, подыщут жилье, работу. С ними и уехать разрешим. И чего тут раскричался? Это ты перешел границу, не я.

— ...Не хочу больше на ящиках спать!

— ...И не просто границу, а линию фронта. Рубеж двух миров. Ты — перебежчик. Кстати, никто тебя не звал. Думаешь, без тебя у нас хлопот мало?

Тадас замолчал.

За окном, на повороте, завизжал трамвай. Петерсен углубился в свои бумаги и больше не поднимал головы. Уйти, что ли?

— Я знаю... точнее, слыхал. В Клайпеде у нас шел суд. — Тадас любил говорить в открытую. Он и Лайме в первый же вечер сказал, с кем дружил, какие девушки ему нравятся и что жениться еще не собирается. Робертас с Альгисом часто над ним смеялись.— Радист Гиндушкин из сельдяного флота сбежал. До него кто-то из Калининграда, еще, кажется, эстонец. И все они вернулись.

Тадас вспомнил — суд был открытый. Гиндушкин плакал, просил наказать его, клялся трудом искупить вину. Ему дали срок, а он радовался. Тадас тогда сказал себе: кишка тонка. Видать, Гиндушкин думал, что там манна с небес прямо в рот падает. Поначалу ведь всюду трудно, надо уметь стиснуть зубы, довольствоваться хлебом и водой.

Но, видно, Гиндушкин тоже прошел через все это. Сколько он продержался? Вроде бы два месяца? А ведь он совсем не церемонился! По радио хвастал, что теперь у него всего завались, что его чудесно, с цветами встретили, издевался над очередями в магазинах и над телогрейками. И эстонец вернулся... Еще он читал в газете о каком-то моряке из Одессы...

— Теперь я понимаю, почему все возвращаются. А я не вернусь! Меня вся Клайпеда знает. Уж лучше сразу... хоть срама не будет...

— Ладно уж, закури.

Трясущимися пальцами Тадас долго не мог нащупать сигарету. Петерсен подождал, потом поднес огонек зажигалки.

— Не так все плохо, как ты думаешь, но не так уж и хорошо. Ты, как вижу, детективных романов начитался. Эти люди искренне к тебе стремятся. Может быть, и есть дело у них к тебе, не спорю — земляки вы все же. Ну, а что тебе терять?

— Я не буду читать с их бумажки по радио! А если своими словами скажу то, что думаю, — про них и про... дом, мне еще хуже будет.

Петерсен долго дымил сигаретой, и Тадас был уверен, что старик хочет, да не решается сказать что-то — видимо, главное.

Так и не решился, снова заговорил пренебрежительно, как и до этого:

— Самоубийством, я так тебя должен понять, угрожаешь? Ну и что? Мы в полиции знаешь сколько переви-

дали на своем веку! Гиндушкина вспомнил, тоже мне, еще вспомни Курдюкова... Это все не было связано с Данией, мы — свободная страна, пойми ты это. Раньше или позже сам сделаешь выводы... Тоже мне, гордый покоритель морей...

Тадас молчал.

— Подожди в коридоре.

V

Когда однажды он шел с работы, у тротуара завизжали тормоза, и человек предложил ему сесть в остановившуюся легковушку. Тадас понял, что в его судьбе что-то переменится. Он давно был готов к переменам. Но это был всего лишь инспектор по найму «Карлсберга» — тот самый, который принял его на работу. Не говоря ни слова, он включил передачу и, попетляв по переулкам, затормозил у Королевского сада. Народу здесь было мало, машин не было видно. На ветках деревьев за чугунной решеткой миниатюрными свечечками светились первые почки, няни катали детские коляски по бурой прошлогодней траве.

Пока инспектор расспрашивал, как у Тадаса с жильем, доволен ли он работой, с кем дружит, он отвечал машинально. Потом тот заговорил о заводе, пожаловался на трудные времена из-за подорожавшей нефти и зерна — мол, приходится сокращать производство. Тадас подумал, что инспектор забыл подать ему руку.

— ...А в списке увольняемых ты под первым номером.— Тадас насторожился.— А как же иначе? Позднее всех принят, не член профсоюза. Я и говорю начальнику экспедиции — жалко парня. Молодой, крепкий, старательный. Вдобавок, куда он денется, невозвращенец... Я же тебе добра желаю. Вот он мне и говорит: потолкуй с ним. Как ты считаешь, а?

— Спасибо... ему тоже спасибо скажите.

— Я не об этом! Нам важно знать, кто первый начнет роптать из-за увольнений. Скоро всем станет известно. С вами, иностранцами, наши попробуют стакнуться. Насчет пикетов и прочей ерунды... Есть же горячие головы. Я не об уполномоченных профсоюза... о таких, которые сразу — давай единый союз, общее голосование! Сменить профуполномоченных! Я об этом.

— Вы хотите, чтобы я для вас шпионил?

— Ничего подобного! — инспектор сердито фыркнул. — Это тебе не Россия, у нас нет ни НКВД, ни ЧК. Я предлагаю честную сделку. Это большая честь — помогать администрации в решении производственных конфликтов.

Тадас живо представил себе, что будет, когда выйдет на улицу сотня, а то и две уволенных пивоваров и грузчиков. Всюду так и будет слышно:

— Подданство?

— Член профсоюза?

— Национальность?

Ради кого ему, в сущности, стараться: ради Йенсена и Борге? Ради этого дохлого Балерупа? Им ведь и в голову не придет заступиться за него, если Тадас окажется на улице! Испанцы пойдут в свое консульство, переберутся в ФРГ, во Францию, в худшем случае поедут домой — на чеснок с оливковым маслом. А куда денется он?

— Могли бы предложить и другому, конечно, каждый бы только обрадовался, — инспектор бесстрастно смотрел в боковое стекло. — Я и говорю: парень с головой, имеет хорошую специальность, в море собирается. Настанет час — попросит бумажку...

— Ладно! — оборвал его Тадас. — Сколько будете платить? Я согласен шпионить. И хорошо буду шпионить, от души. Как будете платить — отдельно за каждую информацию или недельным конвертом?

Инспектор не повернул головы, не посмотрел на Тадаса.

— Ты молод, но вовсе не так умен, как я думал... Обиделся — и зря. Где тебя выпустить? — Он повернул ключик, двигатель зажужжал.

— А что в этом плохого?! За каждую работу положено платить. Или это не работа? На жалованье прожить нелегко!

Тадас решил держаться такого тона. И сейчас, и впредь он только так будет разговаривать с людьми. Так и только так! Хватит лебезить! Иначе на ноги не станешь.

Глядя прямо перед собой, инспектор сказал:

— Отвезу тебя к остановке восьмерки. Хорошо?

Ограда парка кончилась. Один поворот, другой. Сейчас они подъедут к остановке трамвая, и дверца откроется.

Тадас сжал локоть инспектора, тот даже поморщился.

— Подождите! Почему вы не хотите говорить по-человечески? Разве я отказываюсь...

Не то... Тадас услышал в своем голосе мольбу. Каждый раз вот так...

Еще поворот. Красный зрачок светофора с любопытством уставился на них.

— Думаешь, я в восторге от таких дел? — инспектор выплюнул слова, как окурок.

Трамвай Тадаса.

Инспектор выбросил передачу.

— Езжайте дальше...

А прозвучало это как: «Пустите на ночь...» или «У вас пушок на рукаве, позвольте смахнуть...»

Договорились быстро. Связь — по телефону. Фамилию не спрашивать, свою не называть. Не спускать глаз с испанцев — их больше всего. Кто с ними водится. Если появится чужой, из города — тут же позвонить. Если Тадасу что-то предложат, куда-то пригласят — не отказываться. Звонить через день, если не о чем сообщить — звонить все равно.

Даже не пообещал оставить его на работе.

На Истедгеде дочку фру Бендиксен Андри, прислонившуюся спиной к стене дома, обступила стайка подростков. Она и сама подросток — «...надцатилетняя», как здесь говорят. Трусики — или это плавки — прямо под замшевой курткой. Рыжие веснушки на вздернутом носике ничуть не безобразили лицо. Андри гордилась своими веснушками — последний крик моды. Смешливые глазищи, кажется, не умещаются на лице. Рыжие ресницы, рыжие распущенные волосы... Андри — хорошенькая. Да Тадас и не видел в городе некрасивых женщин...

Андри первая подала руку, еще круче изогнулась своим осиным тельцем.

— Хай! — с хохотом крикнула. — Русский медведь!

Тадас сдержанно кивнул, пареньки дружно повернулись к нему, а один вдруг завыл на всю улицу:

— Йо-хо-хо-хо-о-у-и!

Другой бросился на колени, прислонился лбом к тротуару, с силой захлопал ладонями по плитам.

Андри поманила пальцем Тадаса — он даже поздороваться не успел,— сунула ему в рот запачканную помадой сигарету и тут же легонько подтолкнула в спину — уходи, мол.

По лестнице поднимался весь в поту. Второпях буркнул что-то, когда фру Бендиксен высунула голову, и юрк-

нул в свою компатушку. Остановился, положил кулаки на стол. Долго стоял так, краснея, и ждал — сам не зная чего. Может, надеялся, что Андри прибежит за ним? Но ведь не заходит. Ни разу не зашла. Только хохочет, когда его видит. Обнимет на лету, прижмется своим поджарым тельцем и — «хай!» — хохочет уже за добрую сотню метров. И ведь не заигрывает — просто веселится. Его брала досада — неужто ей интересней с этими «регаре», как их тут называют? Не то стиляги, не то хулиганы; носятся на своих мотоциклах, без крыльев и глушителей — треск стоит, как от пулеметов. Он тоже мог бы курить эту отраву, много ли ума надо, но ведь тошно придуриваться. Села бы, поговорила... Но пускай сама придет. Он — моряк. Ночью, зимой, в одних трусах вплавь по Зунду... А она даже не спросила, как все это было. Тадас посмотрел в зеркало в деревянной раме. Белокурые волосы, упрямые челюсти, крупный нос. Сухопарый, сильный. И рост ничего, и глаза голубые. В Клайпеде девушки говорили, что он похож на одного писателя. Лайма его любила, это точно... И до нее были девушки, тоже сами на шею вешались. Андри — порядочная, из хорошей семьи, еще ребенок. Господи — шестнадцатилетний ребенок, только что размалеванная. Что ж, тут все красятся, чем она хуже.

Они бы дружили. А потом, года через два, когда Андри вырастет... Хорошо, когда дружишь, исподволь узнаешь человека. Ожидание — это уже не одиночество.

Он так одиноко жил эти месяцы. Оглох от тишины. «Morgen!» — бухнут тебя что есть силы по спине и вроде бы улыбнутся, но смотрят холодно, изучающе. Вот что главное. Вот что не изменишь, хоть волком вой. Ты тоже отвечаешь: «Morgen!» Тоже с размаху хлопаешь по спине, но все ждешь. И так всю смену, хотя работаешь вместе и дружно со всеми охаешь в такт, поднимая тяжести. Только малюсенькая разница — не выругаешься всласть, как они, не станешь честить правительство или дирекцию пивзавода. Им можно, тебе — нельзя. Они свое ругают, а ты — их родное.

Когда же он смеялся в последний раз?

Вечная трепотня приятелей, там, в мореходке, помнится, надоедала до смерти... Или встретишь на улице человека, с которым ходил в Атлантику. «Привет!» — «Привет!» Вроде бы что уж тут такого... Или вот мама. «Смотри, сынок, только не пей, как все моряки, хоть ты

будь человеком...» Не любил он этого зудения. «Маленький я, что ли? Раскудахталась ты, мама, будто курица!» Она вставала до рассвета — классы надо было убрать, пыль протереть, пока дети не пришли. На танцах — тоже скука. Или оркестр никуда, или радиола фальшивит. Часто даже до конца не выдерживал. А сколько везде дураков! Вот, скажем, попал на судне к настырному механику — работы нет, а он тебе ее нарочно выдумывает.

Все вроде яснее ясного, но почему сейчас так хочется невидимкой пройтись по улицам Клайпеды? Убедиться, что действительно так плохо и скучно там. В короткий-короткий отпуск! В ту самую Клайпеду, которая казалась слишком маленькой для двадцатого века, скудно освещенной вечерами. Почему так хочется встретить самого занудливого моряка со своего траулера, услышать: «Привет!» — и ответить: «Привет!»? Да хоть и этого Жяуну... Странное дело, даже о нем он сейчас думал без злости.

Нет, хватит, он уже раскис. Наверное, и Гиндушкин, и те, другие, что бросались то туда, то сюда, раскисли, когда стали слишком задумываться. Стисни зубы и подожди! Надо подождать! Он просто не привык еще. А если б он работал где-нибудь в Арктике — один на островном маяке? Нет, это несравнимо... Туда приходят радиограммы, и оттуда есть дорога.

Андри все не выходит из головы. Почему он стоит, положа кулаки на стол, и слушает хлопанье дверей в коридоре, голоса на улице? Пускай Андри хохочет, носится на мотоцикле, обхватив за талию какого-нибудь сопляка... Но почему и с Тадасом не заговорит, почему не сходит с ним в кино? Картина иначе смотрится, когда кто-то сидит рядом. Сколько можно смотреть на экран в одиночку? И город другой, и ты другой, когда вас двое. Когда в кино молодежь еще при свете начинала обниматься, у него всякий раз комок подступал к горлу. Гомонят стайками в переулках, на трамвайных остановках, курят все подряд одну сигарету. А ты отворачиваешься, словно тебе на это наплевать.

В кубрике мореходки парни, вернувшись субботней ночью из города, рассказывали, какие они были молодцы, как противились и плакали их Зины, Ниёли и как потом ластились, боялись разлуки — растрепанные, потные и робкие. Он тоже рассказывал, ему тоже казалось, что именно это — главное, что мужчины только так и должны

вести себя. Никто не хвастался, что гулял по парку, взявшись за кончики пальцев. Добиться своего подчас бывало не просто; парни знали — своим не соврешь — и завидовали тем, кому повезло. Как молодые псы. Завидовали женатым, завидовали иностранным морякам — говорят, этого у них сколько угодно. В кубриках мореходки об этом только и говорили.

Теперь и Тадас может иметь этого сколько угодно.

Как-то, чуть ли не в день первой получки, Борге повел его на улицу Нью-Хавен.

— Приобщим тебя к мужскому делу! — сказал он.

Грузчики перемигивались, цокали языками: «Ох, этот Борге!» Хихикая, давали советы. Балеруп буркнул: «Свиньи, все вы — свиньи». Одного Йенсена, как всегда, ничуть не занимало, что творится в бригаде. Аккуратно складывал, выглаживая ладонью, спецовку, располагал на полочке шкафчика, надувая впалые щеки, запыхавшись, как после зарядки. Тадас даже оробел, увидев такое внимание к своей особе, старался выглядеть беззаботным, но во рту пересохло, как перед экзаменом. Он даже заулыбался от нетерпения — сам не почувствовал, как рот растянулся до ушей. Проводили их свистом и улюлюканьем. Однако бар, хотя и назывался внушительно — «Бруклин», оказался захудалым, тесным кабаком с деревянным некрашеным полом. На дворе еще был день, но окна занавешены грязными шторами: сквозь них было видно, что верхние стекла в окнах — красные. Над стойкой горели лампы с оранжевыми абажурами, только там было светлее, а в углах — не разглядеть лиц. Борге заказал пять бутылок черного пива. Из темного угла, шатаясь, поднялся старик с гноящимися глазами, подойдя, протянул дырявый, засаленный, как кухонная тряпка, шарф — купите, мол. Борге, не удостоив его ответом, отпихнул рукой. Когда кельнер принес пиво, на свободный стул, как-то бочком вынырнув из темноты, опустилась женщина. Тут же обняла одной рукой Тадаса за шею, другой цапнула его стакан, налила пива и не спеша выпила, по-прежнему не говоря ни слова. Потом властно привлекла Тадаса к себе, крепко зажала его под мышкой — была она мускулистая, долговязая, лет за тридцать,— снова бесцеремонно налила себе, выдула и спросила по-английски:

— Пойдешь со мной танцевать?

— Здесь Дания и здесь говорят по-датски! Ты, шведская... — сказал Борге.

Тадас подумал, что надо, наверно, заступиться за даму, но дама беззаботно наливала себе третий стакан. Он все не мог ее как следует рассмотреть, видел только здоровенные, с каравай, груди, затянутые в фиолетовый трикотаж, и синюю жилу на шее. Потом не мог даже вспомнить ее лицо и волосы, и вообще, как она выглядела. К ним никто не подсаживался, словно Борге здесь знали. А может, и правда знали... Тадас с тоской смотрел на сверкающие за стойкой бутылки водки и виски. От одного пива он никак не мог расхрабриться. За окном смеркалось, но свет в баре не зажигали.

— Ты мне нравишься, мальчик. Ты добрый. Мне нравится, когда добрый.

Даже Тадас понял, что она неважно говорит по-датски.

— Пойдешь со мной спать, а? — замурлыкала она ему в волосы.

— Сколько? — тут же вмешался Борге.

— Двести, — ответила женщина, глядя на Борге.

— Ого, у тебя что, из золота?.. — Борге поставил стакан и довольно захихикал.

— Ну, знаешь... — вроде бы рассердилась женщина, но тут же налила себе пива. — Полторы — хорошо, мальчик? — Теперь она обращалась к Тадасу.

— Иди, иди, поищи американцев! Я видел, в баре «Грилл» их полно. Может, они цен не знают.

— Сотня...— ласково шептала она Тадасу на ухо.— Ты же добрый... Закажешь мне аквавит?

— Американцы в баре «Грилл» пьют аквавит! — Борге был начеку. — Можешь к ним убираться.

Тадас заказал три рюмки; он хотел, чтоб поскорей все от него отстали. А если он потратит свои деньги, вообще ничего не придется делать... Не будет же Борге за него платить! И он вернется к себе на Истедгеде... Лечь бы на кровать и слушать, как грохочут на стрелках электрички!.. Но Борге свое дело знал. Наконец сошлись на двадцати кронах. Борге вытащил из кармана Тадаса его конверт, оплатил счет, прибавив кельнеру хорошие (даже Тадас удивился) чаевые и включив в счет еще три бутылки пива. Женщина вывела Тадаса из-за стола, с кем-то поздоровалась, кому-то помахала. Тадас, как воспитанный юноша, тоже кивал кому-то головой. Над улицей небо

было еще светлое, но витрины уже сияли мертвым криптоновым светом, а на судах, ползущих по каналу, зажглись красные и зеленые ходовые огни. Словно разноцветные змейки, они мерцали в воде.

Она завернула за угол, взобралась на второй этаж и без единого слова взяла ключ у портье, читавшего газету.

— Дай ему семь крон, — сказала женщина, по-деловому рассматривая свое лицо перед зеркалом. Они прошли по узкому, как в вагоне, коридору, отперли номерок. Постель была смята, одеяло сброшено наземь, на полу стояла отпитая бутылка пива. Женщина закинула голову, рукой нащупала «молнию» на спине, потянула, и Тадас увидел, что платье раскрылось вкось — с левого плеча до правого бедра. Спина была желтая, как сливочное масло, и прыщавая. Под платьем — ничего. Потянув за рукав, она высвободила одно плечо, потом второе и вышагнула из платья.

Тадас сел на край кровати.

Протянув желтую руку, женщина похлопала его по коленке.

— Ты полиции не бойся. Я работаю. Действительно работаю. Я служу в фотоателье. Никто не может придраться, если я с женихом.

— Мне надо немножко выйти.

— В конце коридора. Там, где ключи. Оставь деньги, darling[1].

Он положил деньги на подоконник и вышел.

Уныло брел переулками, где было меньше света и прохожих.

Утром Борге явился на работу исцарапанный и злой.

— Разве у вас, в России, так принято? Из-за юбки забыть друга? По твоей милости я всю получку спустил, свинья ты, вот кто!

VI

Теперь работать стало веселее. Для башки появилось занятие. Когда нельзя любить — начинаешь ненавидеть. Природа не терпит пустоты. Что в этом такого, если инспектор не подал ему руки? Инспектору, наверное, не подает руки министр, рассуждал он. Пускай бригада посвистывает да болтает, усевшись на солнцепеке. Теплая,

---

[1] Дорогой *(англ.)*.

погожая весна. Наконец-то и Тадас может насвистывать. У него есть кое-какая почва под ногами.

На пивзаводе уже знали, что будут сокращать производство и много народу уволят.

— Все эти проклятые русские виноваты! — сказал Йенсен и пальцем ткнул в Тадаса.

— При чем тут русские? — от души удивился Тадас, забыв, что с ними нельзя говорить всерьез, тем более о политике. — Потом, я не русский, сколько раз говорить...

Им было все равно.

— Это ведь твои подбили арабов дурить с нефтью, — вежливо пояснил Балеруп; вечерами он посещал коммерческое училище. — Да и в нашем правительстве умники... Американцев сторонятся.

— Может, и разумно... Хоть целы будем, — сказал Тадас. И тут же пожалел об этом.

— Ну, ты-то, красный щенок, ты-то всегда-а останешься цел, — многозначительно протянул Йенсен.

Не стоит с ними связываться, лучше держать язык за зубами.

Всезнающий Борге, как всегда, не упустил случая сострить:

— Послушай, комсомолец!.. Как будет по-русски «Добро пожаловать в Копенгаген»?

Тадас сказал и спросил, зачем это Борге нужно.

— Крикну, когда к нам Советы придут! Первый крикну, по-русски. Я же социалист! Как по-твоему, назначат меня комиссаром? Я бы пошел — хоть бы пожил шикарно на старости лет.

Грузчики дружно загоготали. Борге уже не первый раз встревал в разговор со своим «социализмом». Все они голосуют за социал-демократов, а Борге когда-то даже состоял в партии Акселя Ларсена. Тадас уже знал, что на заводе есть и ячейки настоящих коммунистов — трое или четверо человек в цехах. Подробней об этом расспрашивать он не посмел. Да и к чему это? Что он им скажет? Они тоже не станут с ним говорить.

На прессу Тадас мелочь не жалел. В мореходке привык каждый день читать газеты. Правда, в мореходке он мог сколько хочешь болтать о том, что в них пишут. А теперь прочитал — и молчи. Покупал Тадас самые большие, несколько раз даже коммунистическую «Ланд ог фольк», хотя она была и дороже других. Прочитал и

сжег. Не наказывают за это, верно, но если у него заметят... Там про Союз было много, даже про Литву.

Тадас начал тревожиться, что ему нечего сообщить инспектору. Смотришь в оба, слушаешь навострив уши, вообразив себя черт знает кем, а на самом деле — чепуха на постном масле. По телефону инспектор отвечал коротко, сквозь зубы, и Тадас стал бояться: вдруг тот ему не верит... И надо же было ему тогда кочевряжиться!..

Шептаться рабочие шептались, конечно, но испанцы — между собой, португальцы и греки — тоже только со своими. Датчане хоть и шептались, но волновались мало. Только стали держаться подальше от иностранцев. Тадас как-то догнал их, когда они шли с работы, но они остановились, закурили и молча подождали, пока он не уйдет. Не стесняясь, дали ему понять, что он лишний. В разливочном цехе созвали митинг, но едва только Тадас вошел, как двое или трое заорали на него и выгнали. Грузчиков на митинг не пригласили, даже датчан. На всякий случай Тадас отложил в сторону газеты с объявлениями по найму. Ничего подходящего для него: места для стенографисток, конторских служащих, коммивояжеров. То надо в совершенстве владеть языком, то, например, продавцам — внести крупный денежный залог или иметь опыт работы.

Борге сказал: каждый пускай нарисует на куске картона по бутылке пива «Карлсберг» кверху донышком.

— И факел не забудьте смастерить! Пойдем пикетировать ратушу.

После работы Тадас позвонил инспектору домой, но тот отрезал, что знает и даже сам идет.

В сумерках Тадас явился на площадь. Там уже выстроились редкой цепью полицейские, оставив для демонстрантов место у колоннады ратуши. Полицейские следили, чтобы пикетчики не запрудили улицу и не помешали движению. Появились дети, изредка останавливались прохожие. Факелы шипели и потрескивали, а когда начинали гаснуть, их снова макали в керосин — наготове стояли две бочки. Рабочие курили, перебрасывались шутками, почти не обращали внимания на ораторов, для которых из соседней лавки вынесли стремянку.

— Э, никчемная затея!.. — махнул рукой Балеруп. Он-то не принес с собой ни картонки, ни факела. — Играем, как дети. Лишь бы только...

Выступал советник городского магистрата, представители всех партий. Когда вышел коммунист, единственный в спецовке «Карлсберга», Балеруп подтолкнул кулаком Тадаса:

— Полюбуйся, твой приятель. — Подождав, добавил: — Тоже чушь говорит. Советский Союз и не покупал нашего пива и не будет покупать...

Тадас тут же повернулся спиной к оратору, но все равно слушал. Он снова чуть было не ввязался в спор с Балерупом. Коммунист, размахивая кепкой, говорил о том, что Советский Союз предлагает удвоить, утроить свои закупки, но международные монополии, торгующие горючим в стране, не впускают советскую нефть, которой Советский Союз платил бы за датские товары.

Когда коммунист кончил, Тадас на всякий случай не аплодировал. Толпа хлопала всем одинаково — с прохладцей. Как будто все на службе...

Перед тем как разойтись, приняли резолюцию — не сокращать производства.

— Поиграли, как дети, — снова сказал Балеруп.

Наутро Тадас таскал ящики на грузовик в паре с Борге. Улучив минуту, когда вблизи больше никого не было, Борге спрыгнул наземь и, подойдя к шоферу, предложил ему сигарету. Тот — молодой, краснощекий блондин — вытащил свою пачку. Передвигаясь между платформой для погрузки и машиной и громыхая ящиками, Тадас слышал только обрывки разговора.

— Завтра утром во дворе будут стоять грузовики, — сказал Борге. — В Копенгагене будет сухо.

— Я-то пью молоко.

— Шоферы фирмы «Тондер» нас поддерживают.

— Рад за вас. Мое дело — сторона.

— А ты ничем не рискуешь. Грузовики «Тондера» станут в воротах в несколько рядов.

— Здорово у вас получается.

— Знал, значит?

— Знать ничего не хочу.

— ...и решил обождать в гараже...

— Это мое дело, что я решил.

— ...а потом возить пиво в Копенгаген из Хольбека. И лимонад, и соки. И днем и ночью, на всю железку. Скоро второй купишь, да?

— А у тебя котелок варит. Мог бы министром заделаться. А теперь отваливай.

— Все вы, частники, собаки. Тоже мне фирма — один грузовичок!

Тадас подумал, что начнется драка. Борге побагровел, его шея и бритый затылок налились кровью. Но шофер только рассмеялся.

— Да куда тебе в министры... Без «Тондера» ваш пивзавод не обойдется — плюйся не плюйся, а нанимать надо. А вот если я вас послушаюсь, меня больше не позовут, не понимаешь, что ли?

— Если производство не сократят, для всех хватит работы. Даже для собак.

— А мне забудут позвонить.

— Денька два пузатые пострадают без пива, и дело в шляпе. Ясно?

— Одно мне ясно — пособие по безработице мне никто платить не будет.

— Грузовик, бывает, ломается, — Борге выплюнул окурок и растер его каблуком. — Даже в гараже ломается.

— Чтоб починить, у меня инструмент есть,— не поворачиваясь, спиной к Борге, блондин вытащил из-под сиденья заводную ручку.

— Может поломаться через неделю или через две. А то и загореться.

— Привет... Грузовик застрахован.

Борге вдруг рассмеялся:

— Значит, по рукам?

Борге хлопнул блондина по плечу — тот аж присел. Но и глазом не моргнул.

— По рукам, по рукам... Значит, приезжаешь пораньше и подгоняешь грузовик вот сюда. Все вы, частники, ставите грузовики у платформы. А потом приедут грузовики «Тондера», займут весь двор, улицу, вынут ключики и уйдут. Они-то согласны. И вы, частники, можете быть спокойны. Никто не прицепится. Только приезжай пораньше и прямым ходом сюда.

И, не дожидаясь ответа, даже не догрузив машину, Борге ушел.

Тадас не находил себе места. После работы звонить поздно. Инспектор взбеленится. А выйти не с руки. Но выбора нет. Если это цена за море, то он ее заплатит. Больше уж никого не придется продавать. Пускай только дадут ему работать по-человечески!

— Дай закурить! — громко сказал он испанцу Базилио.

Тот вытащил черными ногтями сигарету из пачки.

— Я курю американские, — поморщился Тадас. — Минуточку. Я только до автомата.

Он выбежал на улицу. Руки дрожали. Главное — не оглядываться на людей. Спокойнее. Как можно спокойнее.

Когда он вернулся, вроде даже легче стало. Как всегда, когда переступишь черту.

Инспектор все понял. Кажется, наконец-то он был удовлетворен. Пришлось только подождать, пока регистраторша не нашла этого деятеля.

Дома Тадас умылся, переоделся. Уже смеркалось. Сегодня надо куда-то сходить. В кино? Фильмы его малость разочаровали. Редко попадается интересная картина. Он ждал большего. По правде, в Клайпеде было похоже. Но там ты хоть знал, что если заграничная картина, то почти всегда хорошая. А тут все, так сказать, заграничные, но все на один манер. Часто такие идиотские, что только трое-четверо в зале сидят. Хорошо хоть, что можешь курить во время сеанса и уйти в любую минуту.

В дверь постучали. Фру Бендиксен просунула голову в комнату.

— Милый Тедди, ты кому-нибудь давал мой телефон?

— Нет, мадам! — вытаращил глаза Тадас.

— Не понимаю... — Хозяйка, кажется, была недовольна. — Тебе только что звонили. Твой товарищ звонил. Сказал, чтоб ты пришел в бар «Три угла». Датчанин он.

— Благодарю, мадам. — Тадас не мог ничего понять.

— Ты Тедди, больше никому, — хозяйка надула губы, — никому не давай мой телефон.

— Хорошо, мадам. Но я никому и не давал!

Тадас прошелся бархоткой по туфлям, еще раз глянул в зеркало.

«Три угла» были недалеко. У двери его остановил паренек.

— Вы — Тедди из России? — с любопытством посмотрел он.

— Кто же меня ищет?

— Вот сюда, — мальчик показал на переулок. — Я их не знаю. Я ничего не знаю!

Людей в переулке вроде не было. Даже реклама в нем не горела, только мигали одинокие фонари. Тадас

прошел десяток шагов, хотел обернуться и спросить у паренька, как вдруг с глухим рокотом разверзлись небеса и взлетел рой зеленых искр. Тадас пригнулся, поняв, что это уже конец, даже удар в пах почувствовал, только рухнув лицом на тротуар, когда по черепу стукнула железная балка. Потом он, наверное, пришел в сознание, потому что слышал — не чувствовал, а только слышал — удары в ребра, под ложечку. Наконец башмака, прижимавшего его голову к тротуару, не стало. Тадас хотел закрыть лицо, но не мог шевельнуть руками — даже пальцем. Закачались уличные фонари. Видимо, его поставили на ноги. Он хотел заслонить лицо, но руки не повиновались. Его держали под мышки, и кто-то успокаивал:

— Ничего, ничего... Они уже убежали...

Он видел темно-зеленую шинель полицейского и автомобиль с зажженными фарами. В нос ударил острый запах нашатыря.

— Кто они? — спрашивал человек в штатском, а полицейский вытирал ему платком глаза, потом, расстегнув рубашку, обнажил грудь. Человека в штатском Тадас где-то уже видел, но у него так заболела грудь и живот, что он едва не сполз по стене на тротуар. Подскочил еще один полицейский и удержал его. — Ты их знаешь?

Господи, где же он видел человека в штатском и почему так важно вспомнить? Только не сказать им про Борге, хватит с него Борге. Борге-то он узнал...

Тадаса потащили к машине. Он еще успел увидеть, как расстелили клеенку, и все пропало.

Когда Тадас открыл глаза, ему пришлось прищуриться от обилия света. Во рту был противный вкус, язык, величиной с валенок, не умещался во рту; Тадас не мог нащупать им передних зубов.

Белая гора напротив шевельнулась, чуть отодвинулась, и Тадас увидел, что человек в штатском, шевеля губами, наклоняется к нему. Вздрогнув, Тадас попробовал отодвинуться, но только застонал от жгучей боли в затылке.

— Не бойся, — сказал человек по-русски. — Ты в больнице.

Тадас узнал этого человека. Он же встречал его в городе! На Истедгеде, потом как-то видел в порту. Раза четыре встречал его в разных местах. Когда Тадас сидел в машине инспектора у Королевского сада, тот проехал по другой стороне улицы, даже не взглянув на них. Неужели

надо было схлопотать ломом по макушке, чтобы вспомнить такое лицо?

— Мы тебя спасли, — продолжал человек. — Могло быть хуже.

«Ну конечно, где уж вам опоздать!»

Утром человек снова наклонился над ним.

— Зря ты встрял в это дело. Никогда не берись за то, чего не умеешь. Ты ведь тут слепой. Спасибо, мы ехали мимо. Теперь полежишь немножко. Все равно на «Карлсберг» больше не вернешься. Инспектору тоже не звони. У него крупные неприятности.

А домой? У фру Бендиксен его вещи. Все, что он тут нажил. И там его подстерегают?

— Может, придется другую комнату подыскать... Деньги у тебя есть? Лучше, конечно, перебраться в другой город.

Ну конечно... Думаешь, туда Борге и его приятели не сообщат?.. Дознались про звонок, в тот же день пронюхали, и не найдут тебя в другом городе? Не найдут и не скажут другим рабочим?

Господи, как болит голова! Будто забили в затылок гвоздь. Он лежит на правом боку, а перевернуться нет сил. И зубы, кажется, выбиты. А может, и языка нету? И с ногами что-то не так. Откуда этот тип знает, что Тадас его слышит?

— Мы звонили в Париж. Когда сможешь встать, они приедут. За больницу уже заплатили. Обещали о тебе позаботиться.

Ну конечно. Из соски будут кормить. Месяц, а то и целых три...

Нет, он будет держаться за эту землю. Теперь его корни здесь. У него появились враги на этой земле. Раньше у него ведь не было даже врагов. Ему надо распрямить плечи здесь. Он уедет, конечно, уедет, но когда сам этого захочет — и куда захочет. Это не блажь. Иначе нельзя. Иначе тебя всю жизнь будет носить ветром. А ему надо прожить всю свою жизнь. И он уже знает, как ему быть. Все знает. Пускай они его бьют. Он уже знает, как ему поступить. В этой стране ему дали урок, и он знает, как ему поступить. Страну, где недурно учат, легко не бросают.

— Вот твое заявление. Это была драка из-за женщины. Понимаешь? Ты ведь тоже не хочешь, чтобы пресса совалась в заводские дела?

— Никуда я не поеду, — ответил Тадас. Но во рту только забулькало. Он не разобрал, услышал ли его слова человек в штатском. Изо рта на подушку потекла струйка. Даже головы не повернешь, не вытрешь эту гадость.

Человек в штатском озабоченно придвинулся к нему.

— Высылайте, если этого вам хочется.

Но снова только: «шо-шо-шо» — и клейкая слюна изо рта.

Он хотел показать, как вцепится руками в эту землю. Но пальцы не могли ухватиться даже за простыню.

VII

К директору его не пустили.

— Его нет. Он занят, — сказала секретарша, не скрывая того, что ей неприятно разговаривать с Тадасом. — Вдобавок, у вас не может быть к нему дела. Вы уже не работаете на «Карлсберге».

Называть себя Тадасу не пришлось. Секретарша, хоть и видела его впервые, сразу догадалась, о чем он хочет разговаривать. Как тут не узнать! Голова забинтована, глаза запали, чернеет беззубый рот. Едва приковылял, опираясь на палку. Увидев Тадаса, она сразу же встала.

— Нет, нет, и не ждите! — взвизгнула она, когда Тадас опустился в кресло, решив превратиться здесь в мумию, но добиться приема. — Я швейцара позову!

И тут же нажала на кнопку. Швейцар не заставил себя долго ждать.

Оно и к лучшему, думал Тадас, постукивая палкой по тротуару. Стук, стук, стук — будто слепой. Будем играть в открытую, и на том спасибо. Пускай изрубят его на куски, Тадас все равно расправит плечи. Тем приятнее будет. Сейчас сам черт ему не страшен. Оказалось, свернуть ему шею не так-то просто. Он даже не подозревал, что в нем столько силы. Такой железный хребет. Он добьется своих прав. Вот пришел на «Карлсберг», и плевать на них хотел. Не убьют же! Теперь их черед дрожать. Директор на один манер будет трястись, Борге с компанией — на другой.

Адвокатских контор в городе было много. Тадас решил выбрать поскромнее. Там, где зеркальные двери и устланные коврами лестницы, за зеркала и ковры платит клиент. Да хотя бы эта: любая сойдет. Начинающий ад-

вокат тоже все сделает, нечего сорить деньгами. Средневековый дом отделанный синим глазурованным кирпичом. Надраенная медная дощечка едва заметна между вывеской парикмахера и плавниками искусственной пальмы у двери небольшой гостиницы. «Трудовые конфликты». Вот это ему и нужно. Чугунный молоток на цепочке. Тадас постучал молотком трижды; не слишком сильно и не слишком слабо — так стучат люди, которые знают, чего хотят. Открыла горничная в белой кружевной наколке, сделала книксен, пропустила Тадаса, задвинула засов. Ах, черт, здесь тоже зеленый ковер и запах сигар. В приемной — картины; высокие, до потолка, дубовые двери. Журналы. Тишина.

Тадас прождал добрых полчаса. Наконец появился человек с брюшком и лысиной — точь-в-точь такого Тадас и ждал, пожал руку, извинился, что придется еще подождать, исчез за другой дверью и вернулся минут через пятнадцать.

— Прошу вас, — пригласил он.

Старинный, сумрачный и просторный кабинет. Мореный дуб, никаких пластмасс, и тишина, не слышно уличного шума — сиди себе спокойно и все выкладывай.

Адвокат умел слушать. Не спускал с Тадаса глаз, ничему не удивлялся и ничего не записывал. Когда Тадас не находил подходящего датского слова, помогал ему по-английски, иногда даже по-русски.

— Все ясно, — сказал он, когда Тадас замолк. — Но известно ли вам... Сказали ли вам, что никакой забастовки не было и она даже не намечалась?

— Ну и что? Какое это имеет отношение к моему делу?

— Самое прямое. Вы спровоцировали администрацию пивзавода. После вашего звонка она отменила заказы всем транспортникам.

— Но меня же избили!

— Это верно. И закон на вашей стороне.

— Вы берете мое дело?

— Для этого я здесь и сижу. Кому предъявляете иск?

— Профсоюзу. И администрации тоже.

Адвокат молча смотрел на него.

— Что ж... У вас есть шансы. Я выигрывал дела и посложнее.

— Я же выполнял задание администрации! Есть доказательство — они поверили мне насчет грузовиков.

— Все сходится. Это веское доказательство. Но адвокат администрации обвинит вас в том, что вы — провокатор профсоюза, сделали так по его наказу. А профсоюз будет инкриминировать вам сотрудничество с дирекцией.

— Простите... но эти подробности... Откуда они вам известны?

Толстяк усмехнулся:

— Газеты читаю. Весь Копенгаген смеется над «Карлсбергом». Такого давно не случалось. Публика у нас всегда симпатизирует рабочим. Мы — демократическая, социал-демократическая страна, вы об этом знаете?

— Раз так, почему меня избивали? Это были грузчики, я их узнал.

— Ну, это же просто, как пять эре, — и снова едва скрываемая скука. — Любовь и ненависть правят миром, как говорили древние. Да и администрацию это убедило.

Может, он ждет, чтобы Тадас ушел? О чем им еще говорить?

— А против них я могу возбудить иск? За увечья. Или в Дании за это гладят по головке?

— Против них — пожалуйста! Надо найти свидетеля — хоть одного. Мальчика, который вас встретил у бара, вы можете найти?

— Значит, вы берете дело?

— О деле мы и разговариваем вот уже полчаса.

— Сколько это будет стоить?

— Четыреста крон. Платить вперед.

— Я заплачу половину. Остальное — из возмещения убытков.

— Вы, как я вижу, плохо уяснили себе положение, милый юноша. Это не гражданское дело, а уголовное. От кого вы потребуете возмещения убытков?

— Вы не верите, что мы выиграем?

— Шанс есть, я уже говорил... Ваша хозяйка узнает голос того, кто звонил вам?

— Узнает, — Тадас думал совсем про другое.

— Я хочу вам помочь, — сказал адвокат. — Как патриот я возмущен! Деньги сможете выплатить мне в рассрочку.

— Хорошо, — прощаясь, сказал Тадас. — Я подумаю.

Толстяк проводил Тадаса до лестничной площадки, пожал руку, свою визитную карточку дал, буквы на ней были выпуклые. Без зова появилась горничная, которая,

перед тем как выдвинуть засов, и книксен сделала и сказала: «Favel, my here»[1].

Стук-стук-стук — палкой по тротуару. Прохожие вежливо расступаются, девчонки сверкают глазами или фыркают в кулачок. Оттягивая карман, успокоительно стучит по бедру кастет.

— Предупреждаю вас, — серьезно сказал Тадасу продавец, — кастетом на территории Дании пользоваться нельзя. Вы ведь иностранец, не так ли?

Потом он разложил на прилавке пистолеты и ножи.

— Не интересуетесь? Две коробки патронов в придачу.

Благодарю! Сейчас в моде внезапные нападения из-за угла. Удар по голове, и никакого шума. Потом уже меси ногами, души. А кастет надевается на руку мгновенно. Увесистый он. Два ряда стальных шипов — коротких, с отточенными остриями. Вскроет череп как ржавую консервную банку.

Работу искать пока нет смысла. Разве что устроиться в ресторан посуду мыть, как пишут в романах об эмигрантах. Да и то денька на два, пока не пронюхают.

Что же делать? Словно щуки, проносятся мимо машины. Посылают солнечные зайчики открываемые двери, позолота вывесок. Грохочут трамваи, полощутся рекламные флаги, пахнет апельсинами. А расправить плечи надо, надо победителем шагать по этому городу!

Рядом с главным входом «Дю-Норда» толчея. Раздают рекламный бульон. На возвышении вертится юлой толстощекий повар, черпает кипяток, швыряет в чашку янтарный кубик, размешивает ложкой, с улыбкой подает — пожалуйста, следующий. «Мне, мне!» — поднимают руки дети, словно они голодны. Смешно, ведь голодных в этой толпе нет. Тадас встал в очередь. Все равно делать нечего.

— Мама, я тоже хочу! — услышал он сказанные по-русски слова и вздрогнул.

Это были две женщины. Стояли в двух шагах от толчеи, разговаривали про Крым и гуся с печеночным фаршем.

— Мама, мама, я хочу! — капризно дергала за пальто маленькая девочка, пока мать не прикрикнула:

— Успокойся, не полагается! — И собеседнице: — Со-

---

[1] До свидания, сударь *(датск.)*.

ветник хочет, чтоб мы все приняли участие. Не знаю, пойду ли я, ребенка-то оставить не с кем...

Они выделялись из толпы. Пальто чуть длиннее, чем у других, одна из женщин — в сером пуховом платке.

Когда подошла очередь Тадаса, он взял чашку и, держа ее обеими руками, чтобы не разлить, подал девочке. Та посмотрела на мать, и женщина ответила:

— Можешь взять, возьми.

— Tsak, my here[1],— девочка сделала книксен.

Тадас улыбнулся и ответил по-русски:

— Пожалуйста.

Женщины замолчали и уставились на него. Они ничего не ответили Тадасу, только обе, словно по команде, взяли девочку за руки. Тадас выбрался из толпы и ушел. Обернувшись, увидел, что женщины все еще смотрят ему вслед. Тадас помахал, но они не ответили.

Немного заныло сердце. Странное, тревожное чувство. Так уже бывало с ним — когда на улице видел «Москвича» или «Волгу». Или когда снился солнечный день детства над озером, подрагивающий среди камышей поплавок, запах рыбы и сена в мокрой просмоленной лодке.

Он продолжал улыбаться, когда встретил Андри.

— Ну и красавец! — расхохоталась она на всю улицу. — Где пропадал?

Тадас схватил ее за локти.

— Я по тебе соскучился, Андри!

— Ой, не могу! Кто ж тебя так разукрасил?

Не выпуская острых локтей, Тадас решительно привлек Андри к себе и поцеловал в пухлые, раскрытые губы. Андри не вырывалась и, откинув голову, вдумчиво посмотрела на него:

— Таким ты мне больше нравишься. Обожаю задиристых мужчин. Они очень хороши.

— Я тебя люблю, Андри.

— Знаю,— сказала она и, привстав на цыпочки, сама поцеловала его в губы.

Тадасу почудилось, что она задрожала.

— Я тебя на самом деле люблю.

— Ты мне тоже нравишься.

— Пойдем отсюда, Андри.

Они шли в обнимку: Андри, обняв Тадаса за талию,

---

[1] Спасибо, сударь *(датск.)*.

смотрит под ноги — старается попасть в такт его шагам. Андри засмеялась даже:

— Журавль ведет лягушку на танцы.

Тадасу хотелось, чтобы все видели, какая красивая и молоденькая девушка идет с ним.

— Куда мы пойдем? У меня есть деньги.

— Ой, какой ты хороший! — Андри прижалась крепче. — Пойдем в Тиволи.

В парке Тиволи они катались с «русских гор», прильнув друг к другу, когда летящая по железным рельсам тележка делала мертвые петли, падала в пропасть в темном туннеле, ныряла сквозь освещенные багровым светом «острые мечи». Андри визжала, как и другие посетители, в основном — молодежь, хохотала из-за пустяков. Но Тадас уже привык, что датчане умеют радоваться любой чепухе, если только за нее заплачено. По правилу: «Надо взять все причитающееся тебе удовольствие». После «гор» они отправились в плавучий бар пропустить по бокальчику пива.

— Не спусти всех денег,— сказала Андри спокойно, когда они допили пиво. — Еще за гостиницу платить.

— Я жалованье получил и еще из больничной кассы, — ответил Тадас и только тогда понял, что имела в виду Андри.

Он боялся только одного. Нет, это даже был не страх. Последняя искра надежды. Может, все-таки Андри не поведет его на улицу Нью-Хавен...

Но возражать ей Тадас не посмел. Да и что он мог сказать? И Андри спокойно повела его на ту же улицу, в ту же гостиницу. И таким же движением поправила волосы перед зеркалом на фанерной кабине портье.

Но на следующий день она опять умчалась с кем-то на мотоцикле — была суббота. Пока Тадас открыл окно, она уже скрылась. Может быть, и хорошо, что он опоздал. Что он мог бы ей сказать? Пожелал бы весело провести уикенд в деревне?

За комнату фру Бендиксен заплачено вперед, после вечера с Андри тоже немножко осталось. Тадас посчитал, что две недели протянет, если, конечно, не пойдет к зубному врачу. Ребра и нога, можно сказать, в порядке. Голова тоже вроде в норме. Все обошлось, признался себе Тадас. Могли ведь и искалечить.

У него были две недели, чтобы все трезво взвесить и принять решение.

Он сидел, положив на стол кулаки. Подумал, что в этой комнатке он в безопасности. Не только потому, что заперся изнутри, что за окном высокий забор и рельсы электрички. Просто никто к нему не станет больше приставать. До тех пор, пока он будет сидеть в своей комнатке, конечно. После ночи с Андри, после разговоров с адвокатом, секретаршей директора, полицейскими все вдруг стало просто и ясно. Как цветок, с которого поочередно, один за другим, сорвали лепестки.

С чего же все это началось? Зачем он бежал ночью с судна? Как тогда его не унесло течением?.. Дело казалось простым. Он ведь хотел остаться моряком, ходить в рейсы. Нечего удивляться и нечего обижаться, что ему не поверили. Молодой, энергичный, образованный — и простак? Прикидывается простаком, решили.

Это-то так. Следующим выбором было — единственным выбором — обосноваться на земле, где люди живут хорошо. Прилично живут. Вкусно едят, красиво одеваются, их лица не тронуты заботами. Хотел стать на ноги, расправить плечи, ходить, как все датчане. (Андри тогда ночью сказала: «Наконец-то поняла, почему не обижаешься, когда тебя зовут Тедди-бэр. Ты все же плохо знаешь английский! Еще раньше бы со всеми передрался... Так называют швабру. Ну, которой моют пол. Но ты для меня уже не «Тедди-бэр», милый...»)

Где же он совершил ошибку? Он имел право ошибаться — молодой, в чужой стране. Это неизбежно. Если бы раскрутить вспять время!..

На «Карлсберге»? Конечно, мог не согласиться шпионить для инспектора. Вылетел бы с работы чистенький, нашел бы другую. В этом же духе работу, но нашел бы. Пять, даже семь лет бы выдержал — до подданства. Со временем перешел бы на рыбацкие катера. Все это было возможно, даже сейчас это не исключено. Не будут же его, черт возьми, всю жизнь преследовать профсоюзы! Единственное, что они могут, — это сообщать о нем. Надо только выбросить из головы месть, не расставаться с кастетом, а пивовары — что ж, в конце концов забудут, нет у них других дел, что ли? Может быть, за него выйдет Андри — когда перебесится. Он станет владельцем квартиры на Истедгеде. И все будет прекрасно. Лицо станет гордым, на щеках появится румянец сытого человека. Отдай семь лет своей жизни, и ты ничем не будешь выделяться. Почти ничем. Если не будешь думать, конечно,

что о тебе говорят соседи и твои друзья... Если они вообще появятся.

Тадас припечатал ладонью стол, словно мраморным пресс-папье. Эта страница закрыта. Он к ней не вернется. И в Данию не вернется. Он еще здесь, но это — последние дни. Надо только хорошенько все разложить по полочкам. Не теряя ни минуты.

А дальше...

Вот он выходит на улицу и звонит из автомата в посольство. «Да, мы слышали о вас... (Господином назовут или товарищем?) Что ж, заходите! Да вы не бойтесь, никто вас не съест».

В посольстве будут любезны. Не постесняются руку подать, конечно. Кофе, сигареты. Предложат билет на самолет. Помиловать, пожалуй, не пообещают. А если и пообещают, Тадас знает законы. Свое отсидеть придется. Три года. В лучшем случае, часть наказания условно. Процесс будет открытым. Может, даже несколько разбирательств, в различных бассейнах. В назидание другим морякам. Напишут в газеты. В «Тиесе» — заметка, в «Советской Клайпеде» — целая статья. А потом? Работать где-нибудь в районе машинистом маслобойни. По вечерам в скудно освещенном ресторане с шаткими алюминиевыми столиками глушить водку с пивом — так дешевле напиться — и ловить любопытные взгляды. Или сочувственные. Или насмешливые. Подсядет пьяный: «Ну, давай по сто граммов!.. Как там девки, а?» Дети на улице шушукаются у тебя за спиной, и никогда тебе не вырваться из заколдованного круга, хоть ты меняй район за районом, уезжай в другую республику, кончай заочно университет. Не по-ве-рят тебе, хоть ты тресни — одни сознательно, зная, в чем тебя подозревать, другие просто так: «А черт его знает!» Не будут верить тебе до конца дней твоих. И чем будешь тише, замкнутее, тем меньше будут тебе верить. Одни скажут: «Вот замаскировался, гад»; другие: «А на кого он в конечном счете работает?»

Недоверие. И здесь, и там. Надо было раньше разобраться! После того как спутники сорвали покров со стратегических тайн, единственно важным, непроникновенным секретом осталась душа человека, и на такого, так Тадас, глядят с подозрением. Вопрос «А вдруг?» не перечеркнешь, не вытащишь из глазниц людей, которые

пытливо смотрят на тебя. Эту страницу тоже приходится закрыть. Все.

А дальше?

Вот он идет по усыпанной гравием дорожке к особняку без вывески, к обыкновенному особняку среди деревьев, каких немало в этом городе. Господин Петерсен обнимает его, прижимает к своему тугому животику, усаживает в кожаное кресло. Вся мебель там кожаная — новая, но уже чуть-чуть потертая. Настолько, чтоб можно было развалиться в ней, без стеснения вытянуть ноги. Господин Петерсен добродушно улыбается, наклонясь к нему, близоруко моргает. Добродушный дяденька с жесткими непотеющими руками.

«Позвоните в Париж». (Как лучше произнести это? Решительно, твердо? Или как говорит сдавшийся человек?)

Господин Петерсен острит, спрашивает, как жизнь. Отвечать можно что угодно. Не слова — поступки имеют значение...

Вот и приедут эти соотечественники, возьмут под свое крылышко. Будем рассчитывать на самое лучшее — это будут разумные люди. Достаточно разумные и достаточно влиятельные. Может, не станут планировать все только на пару месяцев вперед — чтоб сливки снять. По радио, без сомнения, придется выступить — с их материалом. И по-русски тоже. В газетах напишут. Много ли, мало ли — это уже не суть важно. Выберут для него страну — Австралию, Швецию, США, Южную Африку. Подыщут жизненный путь — где учиться, чтоб побыстрее получить прибыльную, безобидную специальность. Посоветуют, где жить и где хранить сбережения. Должны же были о н и чему-то научиться после стольких провалов с другими невозвращенцами. Если не научились, Тадас им объяснит. Если только о н и заинтересованы, чтобы Тадас устроился прочно.

Вот и прозябает Тадас — как береза, пересаженная в теплую, тучную землю тропиков. Утром, по пути на работу, смотрит на часы чужой марки. Гладит волосы чужеземной женщины, — уходя из дому, полагается попрощаться с женой. Говорит со своими детьми на чужом языке, провожая их в чужую школу. Идет по улице, оглядываясь по привычке. Нет, он на машине едет. В зеркальце заднего обзора удобно следить, едет ли кто за тобой. Зарабатывает весомые банкноты чужой страны, на кото-

рые раз в год ездит на чужой курорт, с которыми в лавке, в конторе страхования, в налоговой инспекции и у зубного врача встречают тебя как школьного приятеля.

Но сможет ли он съесть и выпить больше, чем надо одному? Найдут ли те, из Франции, ему друзей, которые знают тебя с детства, с которыми пацаном ходил на рыбалку, которые смеются, когда сморозишь глупость, и говорят тебе, что ты дурак, и сердятся — на тебя и для тебя, и снова тебя ищут — ради тебя?.. Не будет ли он там — с квартирой, женой и новой мебелью (дуб и сталь) — все равно бедняком, выклянчивающим отеческий или добрый взгляд? Откуда он возьмет хоть какой-то козырь — если не считать связи с разведкой той, чужой страны, которой ему не избежать? Это не будет квартира, где тебя зачали и где ты родился, где твой отец и дед пили чай из старинных чашек со своими гостями, знакомыми с детства.

А как жить спиной к Литве? Даже не подумать о ней, даже избегать мысли о том, что можешь подумать. Возненавидеть карту! Бояться ее, как беглый убийца вздрагивает при слове «виселица». Ведь взгляд так и так соскользнет на этот крохотный клочок у Балтики, крепись ты или не крепись. Услышать слова: литовец, Гедиминас, Карельские озера, русская водка, береза, море, мир, война, Сибирь, Ленин, родина, Неман, мать,— а эти слова звучат и в Австралии, без них не обойтись,— и заставить себя отмахнуться? Дома такое иногда получалось само собой, а теперь от этих слов дрожат руки, за них хочется вцепиться зубами в глотку и бить по черепам. Стать другим, насколько это будет возможно. Жить и умереть таким, дать похоронить себя таким в чужой земле. Аминь.

И эта страница закрыта. Тадас больше к ней не вернется. Да и не осталось больше времени для раздумий. Время истекло. Останутся только стены комнатки. Ползать на коленях по страницам времени, оказывается, тоже нелегкое дело. Да и кончились они. Пора действовать. Самому!

Сейчас, промозглым утром, когда деревья в парках стали прозрачны и зябли пальцы, Тадас понял свою главную ошибку. Он ничего не делал сам! Сам он только прыгнул в воду. Дальше его несло течением, он только по-собачьи перебирал лапами. Даже сейчас, листая страницы времени, он начал с самых простых. Он все время ищет попутного течения. Как пена.

Надо выбрать для себя направление. Пора решиться на это. Легко трепаться о железном хребте, о стальной пружине... Надо обзавестись этим и доказать всем, что ты такой. Если плыть против течения, можно погибнуть, но куда-нибудь доплывешь только против него. Когда тебе двадцать один и ты проиграл свою жизнь на много, много лет вперед, у тебя уже нет права ошибиться в выборе.

Тадас встал из-за стола, потушил сигарету. Открыл шкаф. Переоделся. Сменил и белье.

Одеваясь, Тадас вдруг понял, что он уже давно принял это решение. Давным-давно знал, что только так может поступить.

Но как затаить то, на что он решился? От этого ведь все зависит. Нельзя даже и думать об этом — мыслей не скроешь. Не только казаться послушным, но и стать послушным. Измениться вдруг, словно сбросить кожу. Стать разумным и коварным, расстаться с юностью. Коварнее всех! Сразу же. Сегодня. Как бы тихонько играть на скрипке, прислушиваясь к себе. Внимать биению своего сердца, заставить его биться спокойно. Несмотря на все, что ему предстоит.

Он еще увидит Игналинские озера! И посидит в просмоленной лодке. Путь далек, и идти придется долго. Нет, нет, ни словом не обмолвиться о том, что решил. Забыть полностью! Настанет час, и он вспомнит. Научиться играть на скрипке про себя, вот и все.

Тогда все. Вперед!

Шагая по скрипящим под ногами камешкам дорожки к особняку без вывески за оголенными деревьями, он подумал, не оставил ли чего-нибудь ценного в своей комнате. И улыбнулся. Что могло быть у него там ценного?

VIII

В самолете было сумрачно и тесно. Когда стюардесса откинула спинку кресла сидящего впереди пассажира, Тадасу тоже пришлось расположиться ко сну, хотя и не хотелось. Двигатели ревели страшно, от этого рева он оглох, сводило челюсти. Как из-под воды доносились обрывки разговоров и хныканье ребенка в конце салона.

Полумрак был весьма кстати — клонило ко сну. Тадас не смотрел в иллюминатор на серебрящиеся космическим светом облака. Даже когда ритм моторов менялся и обес-

покоенные пассажиры косились на дрожащие крылья и закоптелые глотки дюз, он не поворачивал головы.

В Дакаре ему даже не хотелось выйти из самолета. Ничегонеделание — славная штука! Но стюардесса заставила покинуть мягкое кресло. Наклонилась и шепнула на ухо, как любимая, доверяя секрет:

— Надо выйти, сэр... Самолет заправляется...

Тадас знал, что он изменился. Не заметил, когда это произошло, не искал причин, но знал, что он теперь — совсем другой человек. Просто-напросто стал другим — мужчиной.

Он так и просидел в шезлонге у стеклянной стены таможни, пока старухи американки в цветастых шляпках с пластмассовыми цветочками, долговязые скандинавы — вся смесь германских и романских народов — толпились перед ларьками с негритянскими божками, японскими кинокамерами и транзисторами, которые здесь не облагались пошлиной, пока они бегали вокруг аэропорта, снимая голубые просторы Атлантики, раскинувшиеся у склона плато, на котором расположен аэродром, колышущиеся кропильницы пальм и облезлых коз в пыльном кустарнике, начинающемся чуть ли не на взлетном поле.

Так было покойно и так безразлично все, что даже курить не хотелось.

Тадас знал, что держится как надо,— он хорошо настроил себя. И не потому, что за ним, без сомнения, следят. Состояние покоя, расслабленности мышц и воли он должен развить в себе до такой степени, чтобы пользоваться им в любую минуту, доставать его, как носовой платок. Это состояние должно стать его особой приметой, вроде цвета глаз — единственной подлинной чертой, оставшейся в нем. Вот рядом машет руками, сердится на что-то рослый офицер из Латинской Америки при аксельбантах. Допустим, сейчас он лопнет и превратится в шипящую кобру, а Тадас, лениво раскрыв губы, едва удостоит его взглядом.

В аэропорту Панама Тадас сошел с самолета последним. Он не спешил. И тут же увидел двоих, поджидавших его на бетонной полосе. Остановившись на верхней ступеньке трапа, Тадас снял пиджак, набросил его на руку, распустил галстук. Воздух тропиков окутал его словно пар в прачечной. Пара не было видно, хотя мельчайшая роса сразу же покрыла его тело, одежду, даже портфель.

— Мистер Спиро Кероглу?

Тадас кивнул. Двое приподняли шляпы.

— Прошу вас, — показали они рукой на пассажиров, толпящихся у иммиграционного контроля. Один из встречавших забрал паспорт Тадаса, выданный Красным Крестом (национальность — албанец), второй усадил его в кресло и, встав напротив, заслонил своей громоздкой фигурой от толпы встречающих за стеклянной дверью.

Тадас еще раз подумал, что могли его доставить на служебном самолете, хотя бы на багажном. Что ж, им виднее.

Вскоре они вернулись на летное поле, свернули мимо шеренги вертолетов и забрались в легкий двухмоторный самолет. Сразу бросалось в глаза, что это новая и хорошая машина. Просторный стеклянный салон, стекла наверху дымчатые, как у очков от солнца. Полукругом — пять кресел. Седой пилот в шортах, ждавший в кабине, оглянулся через плечо. Человек, носивший в таможню паспорт Тадаса, кивнул головой. Тихонько загудел один мотор, потом второй, и, легко подпрыгнув, самолет взмыл в воздух. После рева реактивных двигателей было такое ощущение, будто сидишь в детской коляске. Зеленые поникшие кисти пальм с зелеными же штырями посередине плыли под крыльями, можно было разглядеть оранжевые и зеленые грозди орехов — разных, больших и маленьких. Потом заголубело море; корабли, казалось, стояли на месте — кружева белой пены вокруг корпуса и сникающая ниточка от винта. Снова зеленая земля, голубые озера, извилистые, с самолета казалось — параллельно текущие реки, невысокие, бурые с серым горы. Тадас понял, что из Панамы они летят на юг, но не знал, следует ли разговаривать со своими спутниками. Было то, чего он и ждал, — неуверенность. И недоверие. Он ведь готовился к этому. И обзавелся оружием. Ленивым, снисходительным спокойствием. Вроде парного молока напился.

Самолет сел на поле с примятой травой. За негустым лесом виднелись горные вершины. Деревья были диковинные. Далеко друг от друга, с кривыми, словно перекрученными розовыми сучьями. Листьев немного — узкие, как у акации; сквозь ветки просвечивает небо. На ветвях — длинные черные стручки, их больше, чем листьев.

Один из встречавших его в аэропорту завел джип защитного цвета, стоявший прямо в поле; Тадас заметил, что ключ зажигания был оставлен в машине. Все сели

как попало — так в кинофильмах обычно рассаживались американские солдаты, и джип по траве, промеж деревьев. приехал в поселок. Какой он величины, Тадас поначалу не разобрался, избегал лишний раз оглянуться. Заметил только, что дома деревянные, одноэтажные, под черепичными крышами; одни побольше, другие поменьше, но все казались необитаемыми. Лишь позднее он понял, что из-за широких террас вокруг домов возникало впечатление, что у зданий нет стен, а из-за закрытых жалюзи на окнах — что они мертвы. У террасы дома подлиннее стояли, свесив головы, три лошади под седлом. В загоне толкались и лезли друг на друга серые длиннорогие быки — не меньше сотни. Ни заборов, ни охраны в поселке Тадас не заметил.

Джип остановился перед домиком с одним только крыльцом. Водитель выскочил, толкнул ногой дверь и впервые за всю дорогу открыл рот:

— Her you are[1]. Примите душ, я скоро приду.

Тадас решил, что ничего отвечать не следует.

Было тепло, жужжали мухи, беспрерывно раздавался треск — «зир-р-р!» — то тоненько, то басовитей — в траве, на деревьях и в самом домике, где была постелена широченная кровать, стояли холодильник, радиоприемник, две качалки, а на столе — термос, в котором позвякивали кубики льда.

Ополоснувшись под душем, Тадас лежал на кровати поверх одеяла голый, сил не было вытереться. Сквозь жалюзи и густую проволочную москитную сетку на окнах и двери тянул теплый сквозняк. В полумраке отдыхали глаза, разболевшиеся было в стратосфере Атлантики, когда от солнца пламенели облака и, казалось, пересыхала роговица. Он даже вздремнул. Или просто забылся. Одного он не переставал чувствовать — что ведет себя правильно. Естественно. Если эти два месяца в Германии, эти допросы по трое суток подряд, эти сменявшиеся вокруг него люди — то один, то пятнадцать, то еще больше, и все задают вопросы, пристально смотрят на него, эти медицинские приборы и вопросы, кофе, водка и вопросы, эти города, загородные дачи, гостиничные номера, машины, самолеты и вопросы,— если все это уже позади, то он недурно плывет. Недурно усвоил искусство

---

[1] Вот, пожалуйста *(англ.)*.

быть спокойным и упругим, как каучуковый пол гимнастического зала.

Его разбудил гудок машины. Он надел чистую сорочку, пиджак оставил на спинке качалки. Водитель был тот же, что его встретил и привез, а джип — другой, хотя тоже защитного цвета.

Перед длинным домом лошадей уже не было, только кучки помета, и еще он увидел коренастого раскосого человека — босого, в белой рубашке навыпуск. Человек снял островерхую шляпу с широкими полями, но не поклонился. Наверно, это и есть индеец, подумал Тадас.

Открыв дверь, Тадас уперся в человека, стоявшего за ней, в американца, как сразу понял, хотя и растерялся. Американец — высоченный, плечистый, лет за пятьдесят, с проседью, очки в толстой оправе — без сомнения, был тем. От него так и веяло силой. В первую очередь физической. Тадас ударился об него, как о статую. И еще от него веяло хозяином, разбирающимся в людях и привыкшим распоряжаться их судьбами. Таких американцев Тадас уже видел.

— Извините, — Тадас немного подчеркнул свое смущение. Кажется, даже ногой шаркнул, раскланиваясь.

Американец все стоял, загородив проход. Тадас грудью касался его невероятно тугого живота, но тот даже не собирался отступать и смотрел на него сверху. Тадас отступил назад, задел за невысокий порожек, едва не споткнулся, окончательно растерялся, и тогда американец, не меняя выражения лица и не говоря ни слова, хотя Тадас и заметил, что он не одобряет, указал рукой на качалку и сам сел в такую же напротив. Тадас не посмел раскачиваться.

— Вот ты какой, — вздохнул американец после паузы, во время которой, как показалось Тадасу, они долго беседовали. Тадас, во всяком случае, чувствовал, что отвечает американцу, говорит даже о том, что трудно сохранять равновесие, не откинувшись на спинку кресла. — Таким ты и должен был оказаться. — Американец говорил по-русски свободно, с едва уловимым акцентом, польским, что ли, или чешским... — Той ночью, когда ты прыгнул с корабля, позвонили мне. Нет, сказал я, он не русский шпион.

Тадас смотрел прямо. Старался так смотреть, хотя чувствовал себя собачонкой, ждущей, чтоб ее погладили.

Американец сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и

раскачивался. Рубашка цвета хаки нараспашку, даже ширинка расстегнута. Башмаки на босу ногу не зашнурованы. Пышущее здоровьем румяное лицо спортсмена — без морщин, с крепкими желваками. Неулыбчивое лицо хозяина. Перед таким не расстегнешься и не покачаешься. Может, глаза?.. Они были серые, с серебристым отливом, как амальгама старого зеркала. Зрачки — дырочки в зеркале. Ничего не увидишь, только свое тусклое отражение. Если бы не седые волосы и не веки глаз, ни за что не дал бы ему его лет. Веки мясистые, серые, в черных угрях. Они опускались на глаза, словно крышки тяжелых сундуков.

— Называй меня Фредом. Доктором Фредом, — сказал американец после того, как они долго молчали, думая каждый о своем.— Я начальник этой школы.

Он подставил стакан под четырехгранный, словно аквариум, стеклянный куб на столе, нажал на клавишу. В стакан со звоном упал кусок льда. Нажал еще раз — побежала желтая струя. Подал стакан Тадасу. Сделал коктейль и для себя.

— Чувствуй себя свободно, ты наш гость. — Он улыбнулся широкой доброй улыбкой, и Тадас на самом деле почувствовал себя свободнее. — Представляю, как ты себя чувствуешь... Не надо так... ежиться.

Тадас посмел даже сделать глоток.

— Итак, я не верю, что ты советский разведчик, и никогда так не думал. (Тадас понимающе улыбнулся.) Но я вправе думать, что ты не видишь другого пути домой, как собрать о нас побольше сведений и этим искупить свою вину. Подожди! — Он остановил движением руки Тадаса, который разинул было рот, и тот не посмел возражать. — В этом нет ничего удивительного. Скажу больше: меня лично радует, что ты составил свой, индивидуальный план. Приятнее работать с мыслящим существом. Если человек знает, чего хочет, он уже силен. С таким можно договориться.

Тадас перетрусил. Он молчал.

Молчание было единственным видом беседы. Фред дал Тадасу помолчать. Он дал Тадасу успокоиться.

— Больше хлопот с теми, которые не знают, чего хотят, — вздохнул Фред. — О чем думаешь? — резко спросил он.

— Я-то?.. О чем?..

Фред ждал.

— У меня тайных мыслей нет, то есть я считаю себя просто... солдатом...

«Тир-р-р... тер-р-р... тюр-р-р» — стекотали цикады.

— Я уже видел таких — уверенных в себе. Однако еще ни одному, во всяком случае из моих питомцев, не удались его планы... Или они изменили их, изменили свои планы на самом деле, или погибли. Гниют во многих уголках земного шара. Земля тропиков жирная, кости растворяются в ней за два месяца... Смерти боишься?

— Нет.

— А чего хочешь?

— Чтоб не подозревали.

— Кто?

— Хоть кто-нибудь. Чтоб не стояли за углом, не косились, не ходили по пятам. Не смотрели так, как вы сейчас смотрите!

— Много хочешь. Невероятно много.

— Я сжег все мосты.

— Интеллигентик... Все это — литературщина. Читаешь много?

— Уже год, как не прочитал ни одной книги.

— Покоя ищешь... «Как будто в буре есть покой», кажется, так сказал один маститый?..

— Нет. Прочного места среди разумных людей.

— Почему ничего не сказал о политике?

— Говорю правду, начистоту.

— Спрашивали тебя об этом там, во Франкфурте?

— Я и там говорил начистоту.

— И обрел покой?

— Нет...

Тадас почувствовал, что попал в точку. Фреду нравится.

— Верно... Все верно. Я тоже чихал на все эти «детекторы лжи». Мне платят деньги, и, скажу я тебе, хорошие деньги за то, чтоб я сидел в этой дыре и сам решал, что у человека в голове. И я это делаю хорошо.

Тадас одобрительно кивнул.

У Фреда даже брови вскинулись от неожиданности — такой простак или такой нахал?

— Не кивай тут у меня! Это я здесь говорю «да». И я говорю «нет»!

Фред допил и налил себе новую порцию. Нажал на клавишу дважды, и в стакан упали два кубика льда.

— Покоя... Я тебе верю. Только вот глупо получает-

ся... Не стоило за этим перелетать океан... Я тебе и так помогу обрести покой. Признаюсь, испытываю слабость к литовцам... Между нами говоря, конечно... У моего сына жена литовка. Поезжай в Штаты! И денег одолжу — это будет мое частное капиталовложение. Потом вернешь, возьму, как банк — скажем, восемь процентов. Закончишь какие-нибудь курсы, и работай себе механиком в тихом городке, в медвежьем углу, забытом богом и людьми. Знаешь, — оживился Фред, — займись наладкой автоматических коробок передач легковых машин! Верный заработок, двадцать — тридцать долларов в день, все дурочки будут сидеть, раскорячившись, и тебя ждать. А тут... пока мы тебе поверим... Пока другие... Понимаешь? Дорога длинней и трудней, чем ты воображаешь... Пускай по ней идет тот, кому уже некуда деться.

Тадас так и видел эту картину. Вроде цветной американской открытки. Бензоколонка у прямой, как стрела, автострады в оранжевой пустыне, усеянной исполинскими кактусами. Бар, темно-красный автомат с кока-колой. И он.

— Доктор, я могу ехать куда вам угодно, если это нужно и прикажете. Только попрошу без частных капиталовложений или советов. За год с моего побега все, кому не лень, давали мне полезные советы и от души обо мне заботились! Хватит, сыт по горло!! Я в вашу школу не просился и сейчас не прошусь. Вы сами прекрасно знаете, как все получилось.

— Все вы, литовцы, тупые... Не обижайся. Хочу, чтоб ты знал свою слабинку. Упрямитесь, когда нет в том никакого смысла. Самый способный к языкам народ в мире, но вообще — тупые. Посмотри, сколько ваших погибло, хотя вроде и не участвовали ни в одной войне, как государство, как Германия или там Россия. Столько же в процентах, как русских и немцев, а то и больше, пожалуй. Не умеете маневрировать, оценивать ситуацию. Ах, кто только не сидел здесь передо мной. — Фред беседовал со стеклянным кубом. — Работал я с неграми. Эти считают себя хитрее всех. Мол, каждого вокруг пальца обведут. И с китайцами... До того гордый народ, что готовы тебе низко кланяться в пояс, поскольку знают, что они — будущее мира. И все они — запомни, все! — выйдя отсюда, делали то, чего мы от них ждали.

Тадас свесил ноги и нащупал подошвами землю, чтоб это проклятое кресло успокоилось.

— Если вас интересует мой образ мыслей — пожалуйста, скрывать не стану. Да, у меня нет иллюзий. Ни в отношении вас, ни вообще... в отношении всего мира. Но если люди — стая волков, то я не желаю быть в этой стае собакой... Пуделем. Конечно, больше всего шансов, что мои кости тоже растворятся. Но есть же шанс? Хоть один шанс стать волком есть? Таким, как вы?

— Где ты учился? — Фред умел осаживать.

— Вы не хуже меня знаете!

— Повежливей.

— Я кончил мореходное училище.

— А до того?

— Среднюю.

— Значит, колледж...

— Ближе к институту...

— Ах, это самолюбие... Отсюда все и идет. Сдержанности не хватает. А еще надеешься стать разведчиком.

— Но с кем-то, хоть с кем-то я могу быть откровенен?!

— Нет.

Посидели, слушая надоедливый треск цикад, потом доктор Фред махнул рукой, и Тадас, поклонившись, ушел.

Целую неделю он не видел живой души, кроме индейца в белой рубашке навыпуск, который приносил обед на пластиковом подносе и менял в термосе лед. Кофе Тадас варил сам. Из домика никуда не выходил. Никто не предлагал, да он и сам не хотел. Читать было нечего — даже ни клочка газеты...

Потом его снова вызвал доктор Фред. Только что кончился дождь, было душно. Глинистая дорожка дымилась, башмаки облипли глиной, словно лыжи апрельским снегом. «Да... в такой земле...» — бесстрастно вспомнил Тадас.

— Привет...— Фред не встал из своей качалки и только вяло махнул рукой.— Как ты в тот раз сказал? Испуганный пудель?

— Нет. Просто — пудель. Собака.

Фред расхохотался.

Надежное это настроение: наплевать. Тадасу было наплевать.

— Ты слишком эмоционален. Вот в чем беда. Неважное свойство. Нет в тебе этакой, знаешь ли... крестьянской уравновешенности. Вот послать бы тебя санитаром в полевой госпиталь. Поглядеть на размозженные позвоночники, вывороченные кишки. Кстати, превосходная мысль! На го-

дик, а? Хотя бы просто поработать в больнице, в отдалении для экстренных случаев?

Тадас промолчал.

— Из пуделя волк, разумеется, не получится. Но койота, может, и сделаем.

Следовало понимать, что он принят.

— Слушай распорядок дня.

Тадас протянул руку за чистым листком бумаги на столе.

— Стоп! Развивай память.

Доктор Фред казался каким-то насмешливым, и нельзя было понять, то ли это начало работы, то ли продолжение проверки.

— Подъем в шесть. Получаешь лошадь. Чистишь ее, седлаешь — и на два часа в лес. Лошадь должна вернуться взмыленной, а ты — чтобы коленки не сходились. Душ. Завтрак. Занятия по оружию и специальные занятия. Английский язык. После обеда — отдых. Потом — радиодело. После ужина — читка газет. Каждый вечер — пересказ и оценка прочитанного материала. Этим буду заниматься я сам. Пока ты говоришь по-английски с этим своим идиотским акцентом, ни с кем больше ни слова. Ты — нем.

Тадас кивнул.

— Будешь изучать еще один язык...

Тадас обмер. Фред едва заметно усмехнулся.

— Нет... Не арабский...

Нельзя показывать страх. Здесь ничего нельзя.

— Возьмешь... испанский.

И снова эта ухмылка.

IX

Все в школе оказалось столь шаблонным, столько раз Тадас видел это в кино и про это читал, что ему трудно было преодолеть странное чувство: неужели это все — настоящее? Не инсценировка, не какое-то новое, особенно коварное испытание? Ну ладно, а что они хотят выяснить? И что вообще еще можно из него вытянуть?

Лошадь была дрянная, загнанная кляча. Поводья — веревки, зато седло новое, роскошное, хотя и великовато для этой сивой лошаденки. Заставить ее вернуться взмыленной Тадасу так и не удалось ни разу, хотя сам он за эти два часа выбивался из сил. Конечно, можно было привязать ее

к дереву и поваляться на траве, глядя в небо сквозь кривые сучья акаций. Но черт знает, какая у них техника, может, тут на каждом шагу телекамеры.

Занятия по оружию тоже сплошной кретинизм. В классе-домике лежали штабелями винтовки Все — наследство второй мировой войны. Тронешь — и подымется облако бурой пыли. Стреляли мало, в основном разбирали, чистили, ремонтировали — болты ломались, только нажми отверткой. Правда, выбор был внушительный — германские, советские, испанские, американские, японские, итальянские и черт знает какие еще пистолеты, автоматы, винтовки, минометы. Лишь однажды инструктор принес новенький автомат израильского производства и американский автоматический карабин «М-16». Казалось, что инструктор тоже рад — он любил хорошее оружие. Автомат взревел, заметался диким зверем в руках Тадаса — такая была у него огненная мощь. А из карабина инструктор велел выстрелить в толстую, с бедро, ветку акации. Тадас попал первой пулей; опомниться не успел, что-то грохнуло, и сук, с треском ломая веточки, полетел вниз. Инструктор тут же забрал обе игрушки.

— Ладно, парень, тебе так и так ими не пользоваться,— сказал он, хотя Тадас и просил жестами разрешить ему еще пострелять. Он строго соблюдал приказ доктора не говорить ни слова. Это, конечно, было бессмысленно и просто унижало. Инструктор стрекотал по-английски, как телетайп, не заботясь о том, понимают его или нет. И не только про болты. Он преподавал баллистику, чертил на доске цветными, не пачкающими пальцев, мелками, задавал вопросы, ночью водил на круговое стрельбище. Отвечать надо было жестами, мимикой, тоже чертить на доске. Так — целые недели и месяцы. Тадас думал, что сойдет с ума — радиодело вели тоже в таком духе, а техника и там была на том же уровне. Старые советские «Парксы» с оттаявшей в тропиках изоляцией, ГДРовские «Рафы», даже какие-то вроде самодельные схемы.

Больше всего нравились Тадасу, хотя они и больше всего изматывали, уроки языка. Вот это была Америка! Прохладная комнатушка с кондиционированным воздухом, хотя, пока привыкал, даже подавляла абсолютная звукоизоляция. В ней ты всегда был в одиночестве. Кто-то все готовит заранее. Пульт, экран мувиолы, микрофоны, кнопки. Мягкие, широкие, как медвежьи лапы, наушники. Нажимаешь на кнопку «старт», и на цветном экране полуобнажен-

ная, умопомрачительно красивая девушка Джейн говорит тебе прямо в ухо, кажется — прямо в мозги:

— Начали! Как ты отдохнул? А я уже соскучилась по тебе... Это называется...— Она расстегивает лифчик.— Так. А когда их много... Нет, нет! Галантерейный отдел... Не распускай слюнки, а повтори все, что я сказала. Почему так сюсюкаешь? Повтори еще раз. Еще раз! А теперь нажми на кнопку «Свой голос» и сравни. Ты что, с таким произношением надеешься завоевать девушку?

Это, конечно, всего лишь фильм. Его можешь остановить в любом месте, прокрутить обратно, швырнуть наушники, прижать измученную голову к холодной решетке аппарата кондиционирования воздуха. А потом все равно придется вернуться к мувиоле, Джейн ждет, она снова захлестнет тебя потоком информации — вот она едет на автомобиле, в мастерской ремонтируют карбюратор, она покупает в магазине холодильник в кредит, вежливо препирается с работодателем, целуется с женихом, защищается от насильника, насмешливо комментирует рекламы в журнале, переходит с одного жаргона на другой — с коммерческого на студенческий, с канцелярского на фермерский. Даже диктанты диктует на жаргоне. А когда ты уже совсем дуреешь от бешеных усилий слуха, зрения и памяти, от бесконечных попыток настроить свой голос, она скажет:

— Успокойся. Отдохни... Сейчас я тебе покажу такое место... Куда мы, женщины, любим, чтоб нас целовали... Как это называется — учить не надо. Слишком умен будешь...

Но на следующий день она вспомнит все и, вскачь пустившись вперед, беспощадно ломая все пределы человеческой выдержки, успеет еще и повторить пройденное.

С урока Тадас, шатаясь, направлялся прямо в душ. Обедал и засыпал мертвым сном. Но зато какие он делал успехи! Не было ни экзаменов, ни проверок. Тадас сам чувствовал, как отлично все идет. Ему уже снились английские сны.

Уроки испанского были легче. Может, потому, что начальный курс. В фильмах больше музыки, даже танцев; Эстрелья и Хуан собирали апельсины, потом спорили на политические темы. Правописание было чуть ли не литовским.

Вечерних бесед с доктором Фредом Тадас ждал с нетерпением и опаской. Как наркоман мучительно сладкого укола морфия. Главное — можно было наконец открыть

рот, наговориться досыта. Вдобавок доктор приносил кипу газет. Не очень старые советские, попадалась даже «Тиеса», разношерстная печать континента, бюллетени загадочных партий, европейские издания, солидные нью-йоркские газеты весом в килограмм. Статьи не подчеркнуты, но доктор тут же безошибочно отбирал самые занятные.

Фред, развалившись в качалке, дремал и почти не слушал Тадаса. Может, уставал после рабочего дня. Тропики, да и возраст — каким бы ты ни был спортсменом. Это были странные беседы. Фред лишь изредка прерывал Тадаса:

— Да брось ты убиваться... Когда к вам...— Фред упорно говорил «у вас, в Союзе», словно Тадас все еще был советским,— когда приезжает к вам араб, африканец или латиноамериканец, он не спрашивает, сколько автомобилей у семьи рабочего или сколько комнат в его квартире. Он спрашивает: сыт ли он, имеет ли работу. И уезжает убежденный... И, сказал бы я, он прав!

— Ну, знаете! Если врач получает сто двадцать рублей в месяц...— Тадас вспомнил, что знакомые врачи чаще всех жаловались на зарплату.

— ...То диплом он получает с такой же легкостью, как мул клок сена. А если он пошевелит мозгами хоть наполовину против нашего врача, он станет профессором. Ты скучен, Тадас...

— Чего вы от меня хотите? Почему все время меня допрашиваете, ловите? Я моряк, судовой моторист, никакой не политик, и я — начистоту. Если не доверяете, не гожусь, так и говорите!

— Доверяем — иначе бы здесь не сидел. И ты хороший курсант... Нечего рубашку на груди рвать. Я лично тебя даже люблю. Но что ты дурак и в голове у тебя сумбур — это факт. А теперь почитай эту речь Фиделя, отсюда. Прочитал? Скажи мне, есть ли шанс у бразильских безземельных индейцев или безработных из пригородных трущоб вырваться из нищеты без вооруженной борьбы еще при жизни нашего поколения? Если у власти будут эти генералы? И что, на твой взгляд, должны сделать США в Бразилии, защищая интересы своих детей? Этих американских мальчиков и девочек, которые родились сегодня, родятся завтра, через год, через десять лет? Анализируй с этой точки зрения!

После таких ночных бесед Тадас никогда не знал, какое мнение с собой унесет и какое решение примет доктор. Иногда Тадас даже думал: «Конечно, это невозможно, сли-

шком уж фантастично... Легенды о советской разведке, ясно, слишком раздуты. Но, с другой стороны, были же случаи... Зорге, Филби... Где уж тут разобраться...»

Да, ничего здесь не поймешь. Может, они доверяют только своим, родившимся здесь? Датчане говорили, как только он ввязывался в спор: «А, все советские одним миром мазаны». Может, все они так думают, только не говорят. А вышвырнуть его уже поздно. Он кое-что знает и про Европу, и про эти вот домики.

Шагая во время занятий по лесу (почему инструктор всегда идет сзади?), Тадас ловил себя на том, что вслушивается в его шаги. Не остановился ли? Не щелкнул ли среди леса предохранитель? Глупо, конечно. Надо держать себя в руках. Но как заставить себя не посмотреть испытующе на инструктора?

X

Как-то, на уроке парашютного дела, Тадас не выдержал. Прыгать с парашютом он вообще ненавидел. Свинское это дело — кидаться вниз головой в голубую волнистую бездну, и вообще — полный идиотизм. Разве нет новых методов? Не будут же его забрасывать на территорию Союза с самолета!

С аэростата он уже прыгал, но с самолета предстояло впервые. Летели на том же самом тихонько гудящем двухмоторном. Когда инструктор открыл дверь и в салон с ревом ворвался воздушный поток, Тадасу вдруг нестерпимо захотелось справить малую нужду, и он стал жестами умолять инструктора. Тот только подтолкнул его: «Go! Go!» [1] Тадас по-английски покрыл его — что стоит самолету сделать лишний заход,— но схлопотал пинок в зад и полетел кубарем. Пока дошел до базы, комбинезон высох, и никто ничего не узнал. Правда, с тех пор от одного гула самолета Тадаса уже тянуло... Однако в тот вечер, после анализа газет, доктор Фред сказал:

— Мои приказы обязательны и на земле и в небе. Даже под водой. В порядке наказания в субботу пойдешь на «воронью охоту».

Тадас не спросил, что это такое.

В субботу, сразу же после уроков, два инструктора отвели Тадаса в домик, где шли занятия по дзюдо и каратэ.

---

[1] Пошел! *(англ.)*

Вели, крепко взяв за локти, хотя Тадасу и в голову не пришло вырываться. В пустой душевой ему выдали мягкую кожаную маску-шлем — лицо и шея закрыты, лишь щелочки для глаз, уши прижаты, а макушку защищают кожаные трубки, как у велосипедистов. И рукавицы выдали. В зале Тадас впервые увидел других курсантов. Тоже в масках, без лица. Их было девять, он — десятый. Еще инструктор, маленький японец, специалист по каратэ. Тот самый, который на уроках без промаха находил самые больные твои места и на следующий день умел повторить удар. С занятий по каратэ Тадас уходил согнувшись в три погибели и сморкаясь кровью.

— Милые мои питомцы, теплые птенцы своих мамочек-потаскух,— сладко защебетал инструктор, выстроив курсантов двумя шеренгами — пятеро против пятерых.— Я знаю, как вам нравятся мои уроки. Как вы сгораете от нетерпения, мечтая применить их на деле. С каким наслаждением вы ломали бы мои хрупкие, недостойные косточки!.. Ладно, даю вам шанс! Поглядим, есть ли среди вас хоть один мужчина!

Придурковато хихикая и прихрамывая, он раздал пять бейсбольных бит — только тому ряду, в котором стоял Тадас. Снова встал, широко расставив ноги. Напротив Тадаса был негр, высокий и плечистый. Видно было, как боязливо щурятся его глаза в прорезях маски. Бита была не тяжелая, но крепкая.

— Вонючие трусы!!! Никто не уйдет отсюда живым, пока не станет мужчиной! Раз. Два. Па-сёл!

Тадас ударил негра по голове — поперек трубок. Тот успел присесть и закрыть голову руками.

— Ах вы, червячки застарелых сифилитических язв!— взвизгнул японец.— Нет среди вас ни одного мужчины! Одни барчуки из «кадиллаков»! Второй ряд — палки взять!

Удар, будто колокол, обрушился на голову Тадаса. Он пошатнулся и лишь тогда схватился за голову. Негр, кажется, даже команды не дождался. Сука!

— Ой, ой, ой, какие мы джентльмены! — заливался японец.— Эй, ты, без рук! — прикрикнул он на Тадаса, когда тот, очухавшись, кинулся отбирать у негра биту.— Спокойней! Вот теперь возьмите палки! Раз. Два. Па-сёл!

После четвертого удара Тадаса выволокли. Раздели и усадили под ледяным душем. Когда он стал кашлять и отплевываться, кругом никого уже не было. Между струями воды — глаза негра. Подожди. Я тебе припомню... На краю

света найду. Никуда ты от меня не денешься, гад! Борге не забыл, тебя тоже не забуду.

Не вытершись, оделся и ушел.

Странно, но солнце еще было высоко...

Перед длинным зданием его поджидал инструктор по шифрам.

— Хочешь смотаться с нами в город?

Тадас машинально кивнул. Привычка не раскрывать рта уже крепко сидела в нем. Потом, когда до него дошел смысл, показал взглядом на дверь.

— Можно, можно. Тебя отпускают.

«Сбегу! В городе как пить дать сбегу!» — мелькнула мысль.

Собрался быстро. Бинтовать было нечего, лицо только распухло. И руки тряслись. К голове лучше было не прикасаться. Он положил расческу в карман. Выпьет как следует, боль пройдет, тогда и причешется.

В кресло пилота уселся радист. В полете трепался, лишь изредка беззаботно брался одной рукой за штурвал. За это Тадас, пожалуй, зауважал его. Приземлившись, все забрались в дребезжащее такси с облупленными сиденьями. Какой это город, Тадас так и не узнал. Ему показалось, что аэродром был освещен керосиновыми лампами. Таксист долго насиловал скрипучий стартер, и один из инструкторов съездил ему по шее:

— Пошевеливайся, падаль...

Когда они поздно ночью возвращались назад, Тадас, мертвецки пьяный, скрутил таксиста в дугу приемом дзюдо и рвался за баранку. Инструктора, тоже накачавшиеся как следует, едва усмирили его. Про побег он забыл. Главное — ему разрешили говорить. Правда, только по-испански, коверкая язык. Кстати, инструктора, оказывается, свои железные ребята! Вместе они навели страх на весь этот город... А как перед ними кланялись, как лебезили! Ни одного недовольного взгляда. Тадас в жизни так хорошо себя не чувствовал. Были у него даже какие-то деньги, но он ими только швырялся. За все платили инструктора.

Утром, проснувшись поперек постели, он узнал еще одну добрую весть—с этого дня воскресенья свободны. Делай что хочешь.

Но в понедельник, за вечерней беседой, доктор Фред спросил:

— Тебя не было в церкви. У нас здесь скромная, но уютная полевая часовня.

— Не был. Я неверующий.

— Возможно... Не обязательно верить в бога. В часовне можно сосредоточиться, подумать о своем месте во вселенной, среди других людей.

— Это приказ?

— Ну, не кипятись.

— Не хочу лицемерить. Ищу только одного — прямоты. И от вас уйду, если придется кривить душой.

— Ну, уйти не так-то легко...— рассмеялся доктор.

В субботу его снова вызвали в гимнастический зал и в пустой душевой надели маску. Тадас попытался протестовать — мол, за что же? — но в этом домике действовали другие законы.

Ну ладно, бесился Тадас, пока японец, выстроив их двумя шеренгами, объяснял, в чем разница между людьми и лягушками. Надо быть проворнее, думал Тадас. Все решит первый удар. Сбей противника с ног и можешь идти гулять.

Его партнер, похожий на грузина, наверное, латиноамериканец,— виднелись заросшие черными волосами запястья — глядел на него сквозь прорези по-дружески, даже заговорщически подмигнул, держа биту в руках. Опытный убийца! Услышав команду, выбросил левую руку вверх, Тадас схватился за голову, а тот ткнул битой под ложечку. Тадас упал, игра кончилась. Очнувшись, понял, что корчится в судорогах и скребет зубами бетонный пол.

В понедельник вечером он спросил доктора:

— В чем на этот раз провинился?

— Ни в чем. Говорил же — ты примерный курсант.

— Почему же посылали на «воронью охоту»?

— Это входит в программу каратэ.

— Какое, черт возьми, каратэ! Это же...

— Меня не занимают технические подробности. Пускай каждый делает свое дело. Инструктор — первоклассный специалист. Знаешь, сколько ему лет? Шестьдесят! А похоже?

— На что вам куча трупов?

— Думай о себе.

Страшнее всего было, что Тадас привык. И набил руку. Как только перестал бояться, как только понял, что его не убьют, научился хитрить: прикроет локтем живот, другим запястьем голову. Или смягчишь удар, или поймаешь, а то просто оттолкнешь биту. Ладони огрубели, стали чуть ли не вдвое шире, потеряли чувствительность. А когда прихо-

дила очередь Тадаса, он бил, не поднимая палки. С вывертом, снизу. Редко оказывался на полу. Обычно смотрел, как извивается его противник — безликий, безголосый, в кожаном мешке на голове. Тоже, наверное, человек. Наверное. Иногда противник падал удивительно легко, иногда обменивались пятью, десятью ударами, оставались в зале последней парой. Единственным развлечением для Тадаса стала теперь картина сбитого с ног противника — вот он лежит на боку, судорожно сучит ногами, упрямо встает и не может поднять брошенную ему биту. А потом — душевая, самолет, один или другой инструктор, дощатые, в подтеках, стены баров, разжиревшие, тихо покуривающие сигары индианки, костлявая норвежка в мужском платье, бог знает как попавшая сюда — одежда и повадки как у мужчины. Склоненные спины туземцев. Съездишь кого по загривку — еще ниже согнется. Свою лошадь Тадас убил. Кулаком по храпу. Надоела старая кляча. На занятиях Тадас больше не вслушивался в шаги идущего за ним инструктора. Не потому, что поверил в то, что делает. Просто стало на все наплевать.

Поскорее в дело — любое, все равно какое и где. В этих проклятых тропиках не замечаешь, как бежит время. Здесь нет времен года. Назойливо яркое солнце, голые деревья, пучки не то листьев, не то травы на сучьях, ливни, ветры... Оказывается, прошел год.

Тадас знал, что он мускулист и зол. Чисто говорит по-английски, неплохо по-испански. Может работать кем угодно, даже инструктором. Фред снял с него запрет, но Тадас привык молчать, привык к этому мрачному диалогу жестов и мимики.

Привык жить от субботы до субботы. Привык к неопределенному будущему и совсем о нем не думал.

Он был доволен своим телом — упругим, исполосованным рубцами, чистым, своей сказочно быстрой реакцией. И проблема — быстро или медленно растворяются кости в земле — казалась смешной. Он не думал об этом. Как вообще ни о чем не думал.

XI

Перемены Тадас почуял загодя, хотя никто не обмолвился ему об этом. Таким чутьем обладают заключенные и моряки. Программа была завершена, и инструктора, тоскуя, повторяли весь цикл. На «вороньей охоте» под маска-

ми появились новые лица — новички, совсем желторотые. Японцу приходилось как следует поломать голову — кого же ставить к нему в пару.

Но прошло еще три месяца, пока доктор Фред позвал его в кабинет.

Разговор все-таки удивил Тадаса, хотя на этот раз доктор по его лицу, наверно, не понял ничего.

— Теперь ты — Джон Соколовски. Неделю назад тебя приняли на второй курс университета Беркли в Калифорнии. Изучаешь философию. Ты же из-под Игналины. Помнишь еще что-нибудь по-польски?

Молчанием Тадаса доктор, кажется, остался доволен.

— Твои родители живут в штате Висконсин, город Туско. Проведай стариков, поживи с ними пару месяцев перед занятиями. Старики скучают по своему блудному сыну. Здесь,— Фред придвинул к нему конверт,— твои документы и билет. А здесь — деньги. Распишись, Соколовски!

Наличными денег было немного, но аккредитивов — порядочная пачка.

Тадас сунул оба конверта в карман.

— Завтра тебя доставят в аэропорт Панама. Все, ты свободен.

Тадас взял со стула сигарету Фреда и затянулся. Дым выпустил чуть вкось — не в глаза доктору, конечно, но хоть поверх головы. Странно было видеть доктора Фреда в лирическом, пожалуй, даже отцовском настроении.

— А ведь я тебе больше ничего не скажу.— Это прозвучало, пожалуй, печально.— Найдут тебя, когда будет нужно. Сошлются на меня, скажут: «От Фреда».

Когда осенью Тадас приехал в Беркли, учеба в университете оказалась плевым делом. Комната ему уже была заказана — отдельная, с кухней и ванной. Тадас по дешевке купил подержанный «трайэмф» с открытым верхом; у большинства студентов были маленькие европейские машины. Лекций на обоих факультетах было много, но, господи, какая это была чепуха по сравнению с клайпедской мореходкой, не говоря уже о разведшколе! Обязательных лекций нет, экзамены сдавай когда хочешь. Тадас удивлялся, что студенты вообще занимаются. Львиную долю времени отнимали собрания, дискуссии, демонстрации, издание газеток, любовь и ночное кофепитие с марихуаной или

«трипз» — «путешествия». Так они называли коллективный прием наркотиков покрепче. Соберутся, у кого квартира попросторней, поговорят о вселенной, о философии зен-буддизма, послушают пластинки Боба Дилана, зажгут разноцветные, завораживающе мигающие фонари и съедят по ложечке сахара, капнув в нее из пипетки каплю наркотика. Потом лежат или ласкают друг друга, танцуют поодиночке сутки, двое или трое, а потом всю неделю ходят добренькие, улыбаются всем придурковатой, всепрощающей улыбкой, не бреются, не меняют белья, а то и не умываются.

Пробовал марихуану и Тадас. Слабая сигарета, и все тут. После нее на несколько часов обострялись ощущения. Коричневый стол становился *коричневым*, за окном виднелась *глубокая голубизна* голубого неба. Если после сигареты ешь, скажем, салат из сельдерея, язык, нёбо, весь рот чувствуют разницу во вкусе каждого листочка и стебелька. И от марихуаны наркоманом не становишься. А ЛСД Тадас избегал.

Студенты, даже преподаватели, особенно из молодых, все считали себя коммунистами. Тадас долго не мог понять, серьезно они к этому относятся или только придуриваются. Они все саркастически отрицали. О правительстве, американском обществе, печати, кино, об армии вообще не было принято разговаривать, как в приличном обществе не упоминают постыдных вещей. Студенты издевались над взглядами и образом жизни своих «предков», преподаватели — над своей работой в университете. Когда кто-нибудь упоминал американскую компартию, все тоже фыркали. Советский Союз их почти не интересовал.

Эллин как-то объяснила ему, что он, Тадас,— пролетарий, типичный представитель пролетариата, за будущее которого они борются. Тадас рассмеялся — не знал, что сказать. Он и сам видел, что выделяется из пестрой студенческой братии. Был старше, сдержаннее. Парни и девушки Беркли в своей пестроте и крикливости казались очень уж однообразными. Тадас решил остаться таким, каким он приехал. Может быть, поэтому все быстро приняли его.

Эллин пришла к нему после одного митинга. В английском парке напротив Маккормик-холла, на стриженом газоне, среди туй и серебристых елей, собрались тысячи две студентов. Студентки-матери (их было довольно много) явились со своими малышами. Речи говорили все, десятка полтора ораторов сразу; в то же время в толпе пели «We

shall overcome»[1], «Now»[2], «Интернационал». Сожгли чучело президента, развели костер из томов конституции, взятых по библиотекам. Потом, хотя уже смеркалось, многие поехали на машинах и фургонах мусорщиков к казарме морских пехотинцев и там малость потолкались, даже Тадасу досталось по шее дубинкой с электрическим зарядом. Эллин была искусствоведом; до этого они почти не знали друг друга. И вот она постучалась. Вошла, сказала: «Я буду спать у тебя». Тадас не знал, как быть,— у него ночевала, и не первый раз, индианка Сюзан из Гвианы—смуглая, с кожей цвета корицы, все спрашивавшая: «Я не слишком провинциальная и скромная, Джон?»

Тадас стал что-то плести, но Эллин прервала его:

— У тебя женщина? Ничего, я посижу на кухне.

Тадас перенес туда стереофонический проигрыватель, но заснуть не смог; всю ночь слышал, как Эллин меняет пластинки и чиркает спичками.

Утром девушки вдвоем поджарили омлет с ветчиной и сыром; Сюзан ушла, а Эллин осталась.

Она ходила босиком и даже перед тем, как забраться в постель, не мыла ног. Лишь в сырой калифорнийский декабрь надевала какие-то дешевые тапочки. Тадасу нравилась ее наивность до глупости, а может — интеллектуальность до наивности. Хотелось заботиться о ней, опекать ее. Но она не давала взять себя под крыло и ничего не требовала от жизни. В одном и том же черном, прокуренном свитерке на голое тело, без лифчика, в черных парусиновых, китайского покроя брюках. Единственное украшение — два сердечка из серой кожи, пришитые на коленях. Длинные пепельные волосы и вздернутый носик восемнадцатилетней. Она умела не стеснять своим присутствием. У Тадаса не держала ни одной своей вещи: ни книг, ни сигарет, ни пилюль. Приходила без зова, уходила без спросу, иногда за полночь. О себе не говорила, да и вообще обычно хранила молчание. Спала, свернувшись калачиком, и тихонько похрапывала. Наверное, от бесконечного курения. По репликам приятелей Тадас понял, что ее родители сказочно богаты.

Среди друзей Эллин женщин не было, а мужчины — Тадас вскоре убедился в этом — были самыми башковитыми в университете. Ничем не выделяясь из толпы студентов,

---

[1] Мы победим *(англ.)*.

[2] Сейчас *(англ.)*.

они все-таки были душой Беркли. Не избегали их общества и преподаватели: сам мэтр Александр Мария Фитцджеральд-Камсей, вечно разъяренный и лохматый венгр Штефан Хурток, беженец 1956 года, и негритянский теолог Роберт Уильямс тянулись к ним. Главной темой их разговоров было — что придется делать с американским строем и обществом, когда власть возьмут в свои руки левые. О том, что это произойдет и нужно ли это, даже о том, как это произойдет,— не спорили, это считалось пройденным этапом. Проблема ставилась таким образом — как «после этого» воспитать американцев в новом, быть может, коммунистическом духе, не сглаживая традиционный здоровый американский индивидуализм и не отказываясь от свободы личности в условиях неизбежной экономической диктатуры. Поначалу Тадасу показалось, что он угодил к сумасшедшим, и чуть было не полез со своими замечаниями. А потом заинтересовался и сам втянулся в эту игру. Он почувствовал, что Фитцджеральд-Камсей, студенты Пит Пирсон и Стив Рэнкин не были абстрактными мечтателями. Их занимало все на свете, и все для них было главное.

Ничего себе мечтатели! По сути дела, это была настоящая организация, численностью в двести — триста человек, возможно, одна из многих в Америке и уж наверняка не единственная в Беркли. Устроена она была чисто по-американски. Ни списка членов, ни четкой, писаной программы. Не связанные с какой-либо партией, они вообще отрицали принцип руководства. На собрании избирали спикера и докладчиков, а на следующем старались не ставить этих же людей. Руководящее ядро существовало как-то само собой. Даже эта система, поначалу казавшаяся Тадасу детской, стала нравиться ему.

И лишь тогда до него дошло, какая цель была у компании доктора Фреда, сунувшей его сюда. Дошло, когда сумятица секций, прекрасные лаборатории, занимательное чтение, гениальный Фитцджеральд-Камсей, Эллин, Стив Рэнкин — высокий, атлетического сложения еврей с ниспадающими на глаза каштановыми кудрями,— с которым он подружился и который умел одной фразой, как бы нехотя, дать оценку любому явлению: разрекламированным социологическим новшеством в системе «Дженерал моторс», распространению гомосексуализма или последней речи Кастро,— когда вся эта длящаяся двадцать четыре часа в сутки напряженная и интересная жизнь превратила его в на-

стоящего студента Беркли, который действительно учится и обзавелся настоящими друзьями.

Его не беспокоили ни телефонными звонками, ни неожиданными визитами. Тадас временами забывал, что такой визит вообще может состояться, а иногда ждал его, стыдясь этого ожидания, и выдумывал сотни вариантов предстоящей встречи, так как не мог себе представить, что это будет за человек и чего он от него потребует.

Он думал даже, не послать ли ему этого эмиссара к черту, прийти к Фитцджеральду-Камсею и все-все ему рассказать. Фит его бы понял. Брезгливо поморщился бы, но взялся помочь. Есть у него связи в Канаде, Мексике, Европе. И деньги бы достал, у них это несложно. *Те,* разумеется, не оставили бы его в покое. Наверное, устроили бы автокатастрофу. Это, пожалуй, не так страшно, но ведь в бегах, сколько бы он ни продержался, все пришлось бы начинать сначала. Он потерял бы то, что только-только начинает обретать,— близких, друзей. И, быть может, новый, совершенно новый путь домой.

Эмиссар заговорил с ним по-испански. Тадас даже растерялся — этот язык начал было забываться. Тадас подумал даже, что это — ошибка, потому что человечек в синих холщовых штанах выглядел аптекарем, вышедшим покопаться в своем огороде и нечаянно забредшим в студенческий городок. Человек предложил встретиться в мотеле за городом. «Если вам удобно, если не спешите никуда»,— вежливо добавил он и приехал туда раньше Тадаса.

Разговор был простенький, пожалуй, даже приятный. Эмиссар был почтителен, едва не кланялся, услужливо угощал его. Заботливо расспрашивал, как Тадас себя чувствует, обжился ли уже, не нуждается ли в чем, как здоровье. Расспрашивал о друзьях — искренни ли с ним, не чувствует ли он себя чужим?

Тадас стал с пылом хвалить прямоту студентов, их бескорыстную озабоченность проблемами всей земли. И вдруг запнулся. Ведь он уже доносит на них!..

Он разговаривает с разведчиком, которого именно это и интересует.

Но эмиссар как будто не заметил паузы. Он тут же радостно подхватил мысль Тадаса. Как хорошо, мол, что молодежь интересуется политикой — это старая традиция лучших умов Америки, из таких людей вырастают государственные деятели. Хорошо, мол, что крепчает критическая струя. «Наше общество топчется на месте, надо кое-

что изменить, настало время для хирургического вмешательства, и лишь критическая мысль — залог прогресса». Говорил он так, что хоть сразу же принимай в кружок. Вообще он говорил больше, чем слушал. Тадас удивился, что он ни о чем не спрашивает. Расстались они приятелями — поболтали, как старые знакомые, и ладно. Тадас даже ожил. Эмиссар дал ему свой номер телефона.

Лишь потом, дома, Тадас сообразил: ведь тому не о чем было спрашивать. Из слов эмиссара можно было сделать вывод, что для него нет тайн в организации Фитцджеральда-Камсея и Стива Рэнкина. Не только потому, что у них, без сомнения, там есть свои люди. Кружок вообще не скрывал своей деятельности. О всех проблемах спорили в своей газетке «Кларин». На встречах, даже когда собирались у кого-нибудь дома, иногда появлялись совершенно новые люди, которых никто не знал и никто не звал. Их поили кофе или посылали, как своих, на кухню делать сандвичи.

На третьем курсе Стив Рэнкин вступил в компартию США. Об этом он сказал друзьям иначе, чем обычно. Лишь впятером они были тогда в комнате. Фитцджеральд-Камсей, Эллин, Тадас и Пит.

— Да... Это уж всерьез,— сказал мэтр и задумался.— Когда я состоял в партии, меня стеснял ее страшный догматизм. Сделаешь шаг: «Куда вы, товарищ? Это же мелкобуржуазный уклон!» А для меня важно только то, что вижу и в чем убежден я сам.

— Но это же неправда! — сам не почувствовал, как выпалил Тадас.— Все совсем не так!

— Вот ты, Джон, мог бы быть хорошим партийцем,— мэтр вынул из зубов трубку и ткнул Тадаса чубуком в грудь.— Настоящий пролетарий. В достаточной степени ограничен. Знаешь... ты даже с Советами нашел бы общий язык.

Тадас смутился, а все улыбнулись, по-своему растолковав причину его растерянности.

— Фит, не н-надо р-ругаться,— сказал Пит.— Стив в-выбрал самый трудный путь. Или — или.

— Да, вы совершенно правы, детки...— Мэтр казался подавленным.— Дай боже, дай боже, чтоб вы ошибались меньше, чем я. Это же страшная махина!.. Ладно, я надеюсь, Стив, что когда ты станешь комиссаром социалистической Америки, то не отрубишь мне голову.

— Может, и отрублю,— на полном серьезе ответил Рэнкин.

Когда в разговоре с эмиссаром у Тадаса вырвалась фраза об этом шаге Стива, тот вроде и не реагировал. Тадас успокоился, решив, что их интересует не организация и даже не компартия. Для этого у них достаточно других источников. По-видимому, они продолжают изучать Тадаса, проверяют его. Тадас не был уверен даже в Эллин. Способ привлечь его к кружку... не слишком ли это экстравагантно... Думал Тадас и о Фитцджеральде-Камсее, который любил подчеркнуть, что его не выгоняют из Беркли только потому, что он работает здесь свыше пяти лет и у них нет права уволить его. А Пит? Каждого из них можно подозревать. В конце концов, даже самого Рэнкина или людей из его ячейки. Правда, отправляясь на явку, Тадас уже знал, что скажет про Стива. Именно по тем соображениям. Он хотел, чтобы хоть одна стена его здания была прочной, чтоб на нее можно было опереться. И Тадас обрадовался, когда эмиссар, услышав про Стива, и ухом не повел.

Однако в конце разговора, уже после кофе, эмиссар сказал:

— Насчет этого Рэнкина напишите мне.

Блокнот был широкий, линованный, с буквами и цифрами по левому краю. Эмиссар велел писать через страницу. Переворачивая листок, Тадас заметил, что все отпечаталось на следующем, хотя копировки вроде не было.

XII

Когда Стив стал чаще ездить по соседним штатам, он заметил, что за ним следят. Он сказал об этом Тадасу — иногда они отправлялись в путь вместе.

Деятельность была не слишком таинственной. У ворот порта после смены Стив продавал «Дейли Уорлд». Перед кино, в котором шла картина об ужасах предстоящей войны и гибели всего мира, выходящим с сеанса потрясенным и задумавшимся зрителям раздавал листовки. «Вам бы не понравилось стать жертвой атомной войны? Нам — тоже. Что же мы можем сделать вместе ради наших детей, ради мирного сосуществования?» Вообще работа впустую, дурацкое занятие. Листовки брали редко. Пробежит человек глазами, тут же бросит в желоб у тротуара и повернется к тебе спиной. А то вернется и сунет обратно: «О, это пропаганда коми, мне это ни к чему. Я политикой не интересуюсь». Стив пытался с ними спорить, это было нетрудно, но

все равно люди, убедил ты их или нет, только головами качали.

Стив наведывался и к бастующим. Тадас не расспрашивал его об этом и мог только строить догадки — это инициатива самого Рэнкина или его посылает партия. На стачку продавщиц универмага-небоскреба «Сеарс» в Лос-Анджелес они отправились вдвоем. Красивые, словно куклы, девчонки лениво разгуливали у главных входов в здание. Свои плакаты поднимали, лишь когда подкатывали автобусы с репортерами телевидения или фотографами. Со Стивом и Тадасом они охотно любезничали, хихикали, через полчаса уже ходили в обнимку, а вечером Стив повез одну из девушек к себе. Но разговор был как с марсианками. Не чувствовалось в этой стачке никакого азарта. Мужчины из администрации в ней не участвовали, и девчонки пропускали их в небоскреб. Автофургон раз в два часа привозил продукты, и, как все американки, девушки спорили, не слишком ли питательна еда и от чего меньше полнеешь — от «фрески» или старой кока-колы. Бастовали-то они из-за табуреток. На пятьдесят продавщиц был один стул, а они требовали, чтобы стул был для каждой. Тадас недоумевал — продавщицы ведь для того и существуют, чтоб стоять. Не подходить же клиенту к ним! А то будет как у нас. Но девушки знать ничего не хотели.

Тадас заметил, что уже мыслит как американец, и не сопротивлялся этому. В пестрой толпе Беркли просто было не чувствовать себя чужим. Переводы из Туско поступали регулярно, и деньги Тадас особенно не экономил.

Тадас полюбил и другое. Бывшего курсанта и моряка привлекал тот дух «уверенности в себе», который излучал каждый американец. Никто здесь никому не кланялся и не лебезил. Не только преподаватели были на дружеской ноге со студентами — самого ректора ты мог похлопать по плечу... Если полицейский задержит тебя за то, что не на месте поставил машину, и ты начнешь перед ним заискивать, он заподозрит, что ты пьян или ненормален. Бармен здесь подает посетителю мороженое, как добрый дядя своему любимому племяннику.

И свою связь с эмиссаром Тадас стал больше ценить. Привык к ней, и она действительно оказалась источником спокойствия. Спорь в организации сколько душе угодно, разъезжай со Стивом, подписывай любые декларации — и не думай о последствиях. Эмиссар только поощрит тебя: «Правильно действуешь, молодец». Конечно, иногда душу

точил червяк. Ведь Тадас и спорил и действовал из самых чистых побуждений. Грядущая Америка, увиденная людьми Фитцджеральда-Камсея, ему, правда, была близка и более приемлема, чем мир доктора Фреда, Борге или инспектора по найму «Карлсберга». Тадас полюбил своих новых друзей и верил, что эти американцы, если их планам суждено сбыться, не наделают столько ошибок, сколько их было наделано в Европе. И, беседуя с эмиссаром, он каждый раз утешал себя: «А, ему так и так все известно».

Со слежкой за Стивом тоже всякое бывало. В городе вроде и не видно «хвоста». А выедешь из него, тем более пересечешь границу штата, какая-то машина прицепилась и — жми на газ сколько хочешь — не исчезнет из зеркальца. Тадас попытался поговорить о такой примитивной работе с эмиссаром, но тот пропустил это мимо ушей. Правда, Стив тоже был не дурак, знал массу уловок. Перед дорогой долго болтал по телефону, рассказывал, что поедет купаться, назначал свидания девушкам. Иногда приклеивал себе бороду, а то молниеносно менялся машинами с Тадасом. Встроил выключатель стоп-сигнала и, мчась со скоростью в сто миль, в темноте сворачивал в боковую дорогу, в переулок и в конечном итоге отрывался.

Несмотря на все эти уловки, однажды их засадили. Была весна, такая же теплая, как и вся зима, только гуще цвела магнолия и после обеда непременно шел дождик. В Бэрбанке, спокойном до той поры городе, вспыхнули негритянские беспорядки, и утром после всего Стив выступал на негритянском митинге:

— Вы боретесь против Америки белых. Ваша борьба совершенно справедлива, хоть и не сознательна. Вы наиболее угнетаемая часть беднейшего американского пролетариата. Мы, коммунисты,— микрофон не действовал, и Стив орал изо всех сил,— призываем вас понять, что это — классовая борьба... ряды сознательного пролетариата... нет ни белых, ни черных.

Негры свистели, одни с одобрением, другие просто так, чтоб посвистеть. Кто-то, не переставая, орал:

— А с цветной хотел бы переспать?

По правде, Стива никто не слушал. Рядом бренчала гитара, потом к ней присоединился барабан, банджо, ладони ритмично застучали по ящикам из-под пива. Какая-то девушка пустилась в танец, и скоро плясала уже половина сквера.

Когда на своем пикапе, выбросив поставленный кем-то — видимо, украденный ночью — телевизор, они двинулись в квартал Райта, из-за поворота улицы вынырнул бронетранспортер. Негры улетучились как камфора, а Стива и Тадаса полицейские схватили и доставили в участок. Там у них даже фамилий не спросили. Составили протокол и втолкнули в камеру, набитую, словно автобус, стоящими неграми. Были тут и мулаты, и мексиканцы. Духота и смрад в камере — неописуемы. Парашу вынести не разрешали, жижа была по щиколотку. Так и спали, согнувшись, присев на корточки. Трое суток их продержали. Вышли, провоняв почище ассенизаторов. Фитцджеральд-Камсей сумел в темпе собрать залог за обоих. В городе уже было спокойно, только тлели развалины.

В речке, у леса, далеко за городом, в горах, они выстирали одежду. Негр-фермер взял с них пять долларов «за постой».

По дороге домой Стив яростно молчал. Злился он уже давно, хотя в камере и сдерживался. Даже пропаганду там пытался вести. Правда, никто его не слушал.

— О, горе нам, горе. Проклят наш народ, забыл о нас господь,— жаловались негры постарше.— Никогда не настанут для нас светлые деньки...

Тадас думал: Стив бесится из-за того, что попал в такую переделку. Судебный процесс, предстоящий Рэнкину, для него будет вторым. Это уже не шутки. Стив действовал за пределами своего штата, ему могли подобрать хитрую статью.

Но Стив, оказывается, думал не об этом.

— Никуда этот путь не ведет! — стучал он себя кулаком по колену.— Болтуны мы и онанисты! Америку изнутри не взорвешь. Слишком уж она разжирела. Хватит денег, чтоб заткнуть глотку каждому. И неграм в том числе... Вьетнам, только Вьетнам или вот то, что арабы делают, заставят наших толстяков разжать челюсти! — Они уже подъезжали к Беркли, а Стив все бормотал: — Новые Вьетнамы, новые Кубы, все новые и новые Вьетнамы...

Примерно через неделю Рэнкин явился к Тадасу поздно ночью. Рука на перевязи, весь какой-то ощипанный. Сказал, что снова угодил под арест. Расхаживал по комнате Тадаса, не зажигая света, пил воду со льдом — литра два выпил,— кашлял и все не мог откашляться.

— Знаешь, за мной просто охотятся. На этот раз я даже не выступал. Шел в толпе вместе с другими. Врезались

в демонстрацию клином, других растолкали, а меня схватили и посадили в кутузку. В полночь говорят мне: топай себе. Я бы пошел, очень уж надоела эта вонючая дыра. Даже обрадовался, что протокол не составили, думаю, вот повезло, избежал третьего суда. Только смотрю — помощник чего-то очень рад. Увидел, что я замялся, ласковый стал, сигарету сует. Иди, говорит, ошибка вышла, твоя машина тут неподалеку стоит. Я уперся. Впятером меня молотили, скоты, силой хотели вышвырнуть. Лег у стены и заорал во всю глотку. Пришлось затащить меня обратно и дать переночевать.

— Это добром не кончится, Стив.

— Да какое тут добро! Пристрелить ведь хотели, ясно, никакого тут добра. В газетах дадут строчки две, вы выступите с протестом, и все. Пора сматываться.

— Перебирайся в Европу,— сказал Тадас.

— И пиши оттуда письма, да?

— А что ты можешь сделать?

— Поспать, если подвинешься, Джон.

— Прими душ.

— Хорошо, барич, хорошо. Только дай еще сигарету. Девка не придет сегодня?

Наутро было воскресенье. Еще лежа в постели, Стив сказал:

— Знаешь, я тебя сведу с любопытными людьми. А то черт знает что со мной может случиться. Ты же белая ворона в нашей компании, знаешь об этом?.. Ты... ты знаешь, кто ты такой? Ты в душе коммунист. Настоящий коми. Хотя не все это видят.

Бреясь, Рэнкин добавил:

— Не удивляйся. Они крайне осторожны. Я полагаю, на конспирацию они тратят больше сил, чем на саму деятельность. Ты знаешь, о ком я. Но потому и держатся. Что ни творилось в Америке — и корейская война, и времена Маккарти, и Вьетнам,— а они держатся.

Эти слова Стив произнес так, что нельзя было понять — хвалит он их или осуждает.

Машину вел Стив. Они свернули на Оклендскую автостраду, потом по грейдерной дороге подъехали к дому в акациевой роще.

На деревянной живописной ферме царил воскресный беспорядок. Три мальчика, мал мала меньше, непричесанные, с исцарапанными коленками, швырялись творогом.

Мать, маленькая, худенькая женщина в очках, сидела в кресле и спокойно читала газету.

— Доброе утро, Мэри! — крикнул Рэнкип.— Привет, бандиты!

— О, Стив! Воскресенье начинается хорошо...

— Мэри, я привез Джона. Ты о нем знаешь.

— Привет, Джон! — Взгляд был коротким и жестким, просто укол черных глаз, но говорить она не перестала. — Чай или кофе? Дети, идите с творогом во двор. Уже тепло. Иван, не ставь тарелку на голову.

— Джонни, ты тоже знаешь о Мэри.

— ...Как о самой красивой и самой неаккуратной женщине между Сакраменто и Глендейлом, верно?

Ей было под сорок.

— Мэри, я снова сидел.

— Правда? Ричи, если ты хочешь хорошенько вытрясти свои штаны, тебе придется сперва посушить их на ветке.

— Ты знаешь, Мэри, чем все это пахнет?

— У самой опыта нет, но догадываюсь.

— Я, наверное, исчезну. Куда — еще поговорим. Один выход вроде намечается. Может, даже единственный. Но перед этим я хотел представить тебе — вам — Джона. Свой парень. Старается переварить всю кашу Беркли, но скоро она ему опротивеет. Рабочий, моряк. Плавал в нашем торговом флоте.

— Что ж, очень приятно, Стив. Вы, ребята, наверно, что-нибудь на анализ привезли? Поставьте в холодильник, завтра заберу в лабораторию.

— Мэри!

— Что — Мэри? Ну, сколько раз говорили...

— Я знаю парня как облупленного!

— Все в порядке, малыш.

— К черту вашу осторожность, к черту ваши опасения! Нельзя жить на карачках. Улитки не выведут толпу на улицы!

— Я и говорю — все в порядке.

— Человека надо принять. Он созрел. И сам придет в партию, раньше или позже, но придет!

— Стив, тебе надо сходить к психиатру. В полиции тебя по голове не били? В какую еще партию? Запомни, я ничего не поняла.

— Идите-ка вы... все, вот что!.. Политическая жизнь страны проходит поверх ваших голов! Движением руко-

водят не марксисты. Вы — мы — так и останемся в стороне, непонятые, обидевшиеся на все и вся! Говорю же тебе — моряк!

— Все в порядке, чего ты раскричался? Я тоже немного знаю парня. Джон Соколовски.

Сухие, в косых морщинах, щеки аскета. Спокойная, как военный врач.

— Все-таки поставлю для вас чай, мальчики, — сказала она и подняла палец — тощий и морщинистый палец с некрашеным ногтем. — Но только, если ты, Стив, пообещаешь не говорить о том, чего я не понимаю. Просто ума не приложу, на что ты тут намекаешь. Не хочу чувствовать себя дурой в собственном доме.

— Идиотский мир! — кричал Стив по пути домой, откинув кучерявую голову к темно-голубому небу субтропиков.

— Идиотская Америка! Идиоты все, идиоты, сплошной идиотизм!

Тадас был спокоен. Спокойно вел машину. Думал: как следует понимать слова Мэри: «Знаю парня. Джон Соколовски». И еще думал: почему Стив перед своим исчезновением так настойчиво пытается ввести его, Тадаса, в партию?

Что это значит?

XIII

Первый процесс Рэнкина адвокатам удалось отсрочить в третий раз. Но во втором, бэрбанковском деле, присутствовал уголовный фактор, и они оба каждую минуту могли ждать ареста. Эмиссар сказал, что выручать Тадаса не будет, может только дать денег на хорошего адвоката. Вообще он весьма хладнокровно отнесся к этой истории и нисколько не волновался.

Стив бесился:

— Знаешь, какой будет приговор? Знаешь это проклятое, лицемерное правосудие? Нам дадут «весы». Приговор будет «от одного до восьми лет, на усмотрение тюремной администрации». Значит, если будешь ходить в часовню, говорить всем «Yes, sir», снимать шапку перед каждой дубиной, примерно вкалывать и доносить на сокамерников, тебя выпустят через год или два. А если ты «закоснелый», то отсидишь все восемь. Не пойду я в тюрьму!

Печать и радио нервно реагировали на все, что проис-

ходило в Латинской Америке. В эти дни сообщали о новых повстанческих очагах в Парагвае. Заголовки газет кричали об этом каждый день. Студенты, конечно, снова устроили митинг, стали собирать средства.

В кругу Фитцджеральда-Камсея мнения разошлись.

Вообще парагвайское дело застало их врасплох. Они считали, что после разгрома отряда Че Гевары в Боливии партизаны не скоро поднимут голову, дело пойдет по перуанскому или чилийскому образцу. В Асунсьоне события складывались несколько иначе. Летчики попытались было совершить государственный переворот, но правительство разбило их. Вместо того чтобы, как это принято, мирно сдаться или эмигрировать, летчики ушли в лес.

Сам мэтр придерживался мнения, что в Парагвае положение еще не созрело, население темное, пассивное и ничего путного из этого не выйдет. Стив и Эллин утверждали, что именно партизанская война, репрессии, которые обрушиваются на мирных крестьян, расшевелят страну.

— Лозунги, консолидация... Все это рождается во время национальных бедствий, когда массы начинают искать выход.

— У нас, в Польше, во время немецкой оккупации, — вставил Тадас, — до тех пор не было борьбы, пока борьбы не было.

— Ну, конечно, в Польше!..— Фитцджеральд-Камсей почему-то любил поддеть Тадаса. — Славяне всегда все делают на «ура».

— Кстати, н-национальный характер индейцев с-смахивает на с-славянский, — отрезал всегда справедливый Пит.

— Милые мои друзья, — Стив откинулся в кресле, и все замолчали, как и всегда, когда он раскрывал рот. — Я собирался удирать в Бирму. Меня интересует то, что происходит в Бирме. Но теперь все ясно. Другого пути, кроме как в Парагвай, у меня нет. Можете ли вы представить латиноамериканских летчиков, офицеров в роли революционеров?! Señor teniente [1] — марксист! Там не хватает нас.

— И я с тобой! — словно на уроке, подняла руку Эллин.

— Я тоже п-поеду, — заикаясь, сказал Пит.

---

[1] Господин лейтенант *(исп.)*.

— Ну конечно, конечно, все верно, — Стив говорил бесстрастно. — Особенно ты, Эллин, там нужна. И ты, Пит, со своей стенокардией. Среди нас есть только один человек, который годится для такого дела.

Тадас думал — в какой все-таки стране была школа Фреда? Наверное, не в Парагвае. Во всяком случае, не могла она быть далеко от Панамы. Воцарилась тишина, и он увидел, что все уставились на него.

— Я? Ты меня имеешь в виду?

— Вся наша болтовня, все пустозвонство, — Стив говорил не Тадасу, а сам себе, — всплывает наверх в кризисной ситуации. Все умные, так здорово все анализируют. А когда надо действовать — и немедля! — из всего Беркли вряд ли составишь полроты.

— Стив, у Че была Таня!

На Эллин никто не обращал внимания.

Тадас понял, почему они молчат. Фитцджеральд-Камсей уже разинул рот: вот-вот скажет и припечатает.

— Но университет, Стив... Как же я?..

— Университет? Что ты будешь делать со своим дипломом — ты, известный «коми», друг негров? Допустят тебя до электроники, детка? Тебе нужна другая Америка.

— Нам всем н-нужна д-другая Америка.

— Не знаю... Родители у меня совсем старые... Я, конечно, не против. Но, Стив, ведь Фит... Фитцджеральд-Камсей работает?!

— Ты моряк, проклятый моряк, и все думаешь, что тебе все можно, как будто ты все еще на своем «World Glory»[1].

— Корабль утонул, Стив.

— Знаю. Тебе никогда не быть таким, как Фит. Надеюсь, не быть. За честь иметь в рядах своих профессоров мистера Александра Марию Фитцджеральд-Камсея дерутся десять лучших университетов Америки. Ведь в пятьдесят шестом году он публично отрекся от своего «проклятого коммунистического прошлого» и осудил его!

— Догматики не умеют маневрировать, даже когда их распинают на кресте. А распинают их непременно товарищи. И притом все кричат хором: «Это нужно для классовой борьбы!» — буркнул Фит.

— Отлично, я догматик. А ты, Фит, сделаешь для нас

[1] «Слава мира» — название судна *(англ.)*.

документы. И дашь нам кучу денег. Мы ведь проклятые американцы. Верно? Бумаги могут быть из университета, только не Беркли, конечно, или репортерские, тебе виднее. Но такие, чтоб телята из посольств при виде их восторженно блеяли. Понял, старый ренегат? У тебя, Джон, остается два часа на сборы. Оставь ключи Эллин, она продаст наши машины. Боюсь, что аэропорт Асунсьона уже успели закрыть.

— Стив, погоди. Ты еще не командир роты. Надеюсь, и не станешь, я-то не намерен служить под твоим началом.

— Ладно, детка, ладно. Моряк, как будет по-испански «к черту»?

— Al carajo.

— Al carajo в один прекрасный день покатится Америка, если хорошенько поднажать снизу!

— Или когда из нее выпустят всю молодую, свежую кровь... — Мэтр сидел, утонув в дыму своей трубки.

. . . .

Эмиссар улыбнулся, даже потер руки.

— Поздравляю! Такой неожиданный поворот! Должен сказать, Джон, вы — первоклассный разведчик. Или вам просто везет.

— Ну?

— Что — ну? Пока будете там, здесь вам пойдет двойной оклад.

— Я не о деньгах... Разве центр не надо запрашивать?

— Не беспокойтесь, Джон. Это уж наше дело.

— А что мне там делать? Здесь — связи, друзья... Разве это не имеет значения? Столько времени на это ухлопано.

— Не уедете — все равно все потеряете. К Мэри, наверно, больше не тянет? А может, боитесь ехать? Говорите прямо.

— Я давно ничего не боюсь, и вам это известно. Только — зачем? Зачем? Как будто у вас там нет — простите, конечно, я не спрашиваю, — но как будто у вас там нет своих, местных?

— Своих, местных, прекрасно вылавливают свои, местные. Коммунисты это дело знают. А ты едешь с Рэнкином. Есть и другая сторона вопроса. Сам знаешь, на что уж «своими» и «местными» были многие генералы и полковники... Никому нельзя верить.

— А вам? Вам я могу верить?

Эмиссар расхохотался как над хорошей шуткой и обнял Тадаса за плечи.

— Джонни, дорогой мой мальчик, там — кубинцы! Пропасть кубинцев. Во главе их — майор, бывший вице-директор департамента госбезопасности Кубы Пепе Кардоваль. Гватемалец, говорит на пяти индейских наречиях. Невысокий, широколицый, скуластый. Цвет кожи бледно-желтый. Раскосые глаза. Сорока двух лет. При разговоре склоняет голову на левое плечо. Последняя кличка — Эль Аякучо. Ты — единственные наши глаза и уши, которым мы можем доверять...

Все. Это уже все.

Рельсы. Железнодорожные, трамвайные или кегельбана. Уложены стальные пути... Интересно, когда их уложили, эти рельсы? И катись, браток, катись, и нет такой стрелки, от которой путь ведет к спокойному домику под склоненными ивами.

Постарайся вернуться со шрамом на лице. Тогда, возможно, будет иначе. Так уж устроен мир. Им управляют не слова «так хочу», а — «иначе нельзя». Со шрамом на лице никуда не будут посылать.

И смотри в оба, Тадас. Смотри, с кем идешь, смотри. Теперь только смотри в оба.

«Единственные глаза и уши...»

Что это за человек — Стив Рэнкин?

XIV

В столицу Парагвая Асунсьон они приехали на такси по страшной глинистой дороге, не знавшей асфальта. И, казалось, не видевшей на своем веку машин. По сельве, по бродам через реки. В степи палкой сгоняли с дороги коров — одичавших, почти без вымени.

Первое такси они взяли в Паране. В Асунсьон самолеты действительно не летали, вообще все границы были на замке. Через реку ночью их переправили пастухи («Золотоискатели»,— бормотали они между собой), а таксист переехал по мосту один. Стив решил не давать взятки пограничникам — еще доложат. В багажник такси он положил ящик английского джина.

— Отдай им. Пускай тебя считают контрабандистом.

Шофер сразу зауважал Стива.

Конечно, дешевле было бы эту машину купить. Жуткий драндулет производства сорок девятого года. Обе рес-

соры сломались, отлетел пропеллер вентилятора. Уважение уважением, но пришлось заплатить и за это.

Потом целую неделю у реки, рядом с нищей деревушкой, они ковырялись в земле. Дети индейцев-пастухов, голые мальчики с раздутыми животами, ни на шаг не отставали от них; между собой они не говорили, даже не смеялись. Характер такой. Эти гринго вконец спятили. Кто находил золото в этих местах? Одна скука, разве что перепадет пачка из-под сигарет.

Однако другого выхода не было. Таксист мог потом спросить, чем занимались его пассажиры. Тадас с тоской подумал: и вовсе недурно бы найти золотишко. Еще ни разу в жизни он не находил золота.

— Кто из нас заболеет? — спросил Стив. — Ты или я?

— Это еще что?

— Послушай... каждый наш шаг здесь должен быть обоснован.

Стив все время что-то обмозговывал. Тадаса он знакомил уже с решениями.

— Ладно. Могу я...

Тадас обмотал шею полотенцем. В деревушку, в лавчонку китайца, за лекарствами ходил, постанывая, повиснув у Стива на плече.

Наконец они дождались такси и в темноте въехали в Асунсьон.

Ночью Тадаса мучили кошмары. Наверное, из-за жары, томной и влажной жары, размягчавшей мозг. Люди слонялись по улицам лениво, словно престарелые коровы, стояла тишина, ничто не говорило о революции. В гостиничном номерке на всем лежал толстый слой пыли. Москитная сетка на единственном окне оказалась дырявой, дырявые были и сеточные антимоскитники над кроватями. Вдобавок — застоявшийся запах косметики.

Утром, когда они завтракали, к ним подсел хозяин. Как он выдерживал такой зной в черном костюме и белой сорочке с галстуком!

— Если вам не помешаю, конечно... Позвольте угостить вас рюмочкой сухого рома. За счет фирмы, конечно. Кубинский рецепт. Все хвалят.

Глядя голодными глазами на омлет, который они уминали, хозяин налег грудью на стол и зашептал:

— А к нам прибыл Пепе Кардоваль, кубинский команданте. Еще его зовут Эль Аякучо. Индеец.

— В вашей гостинице живет? — с полным ртом осведомился Стив.

— Хе, хе, шутите! Он в горах, в сельве. Полиция сбилась с ног. Все взбесились, ищут этого команданте. Наши поставщики мяса говорят... Понимаете, пеонам ведь все известно... Говорят...

— Мы политикой не интересуемся! — оборвал его Стив.

— Разумеется, хе-хе, я понимаю вас, я все прекрасно понимаю. Поживешь тут с мое, и многое начинаешь понимать. Скоро,— он наклонился еще ниже,— у нас тоже будет так, как на Кубе. Иначе нельзя. Люди голодают. В деревне детям нечего есть.

— А вам, вам-то какая от этого польза? Гостиницу ведь национализируют.

— Не-ет, мою гостиницу не национализируют! — Драматически оглядевшись, он продолжал: — Я — коммунист!!! — И с размаху ударил себя кулаком в грудь. — Вы не бойтесь! Я старый борец. А если вдруг национализируют, то назначат управляющим всех гостиниц Асунсьона.

Тадасу показалось, что он это уже где-то слышал. Он налил Стиву кофе с молоком.

Увидев, что к нему не относятся всерьез, хозяин закрыл скрипучую стеклянную дверь. Впрочем, она тут же снова отворилась.

— Здесь еще есть младший брат Че Гевары... — сказал он шепотом. — На плоскогорье Свегро, вместе с Пепе Кардовалем.

— Семья Гевары — не коммунисты, — громко ответил Стив.

— Тс-с-с!! Э-э, вы еще ничего не знаете! Он поклялся отомстить американцам за смерть брата.

— Мы тоже американцы.

— Знаю, знаю, хе-хе, я все знаю. Сам был студентом.

Рука Стива, потянувшаяся за сахарницей, повисла в воздухе, но только на долю секунды. И с Тадасом он переглянулся не сразу, дождался конца завтрака. Про то, что они студенты, хозяину они не говорили, речи о том не было!

— И наших студентов — всех, всех знаю. Мы тут все знаем. А вы будьте осторожны, с кем попало не разговаривайте. Другие только прикидываются коммунистами! Понимаете, надеюсь, о чем я говорю?

Казалось, продолжался ночной бред...

Стив тоже был подавлен.

— Проклятые дейгоу, — ворчал он. — Кстати, города здесь всегда были изъедены коррупцией. Удивляться нечего. Хорошо, что здесь делают историю не в городах.

Целыми днями он где-то пропадал, оставляя Тадаса в гостинице.

Вечером, когда немного спадала жара, они, как заправские золотоискатели, выходили в город «повеселиться». То в один кабак, то в другой. Считалось, что город затемнен, но приказ не касался реклам, а может, владельцы не соблюдали его, и на центральной авениде было светло как днем, чувствовалась Америка. Только темп жизни и люди здесь были другими. Как принято в провинции, на главной улице гуляли юнцы и кандидатки в невесты — с осиными талиями, высокими прическами и в мантильях. Степенные — не подступись. Европейская кровь — испанки и белокурые немочки. Идейская молодежь держалась особняком. За девушками — толпы юношей, все как один в широких белых брюках, с фальшивыми жемчужинами в галстуках. Другие медленно катили у кромки тротуара в открытых машинах, заговаривали, девицы в ответ фыркали или бросали односложные словечки, упорно глядя вперед.

На каждом шагу — и на улице, и в ресторанах — к Стиву и Тадасу приставали чистильщики обуви с черными тоскующими глазами, сводники, продавцы порнографических открыток, наркотиков, золота и бриллиантов. Одних они отгоняли, с другими Стив заводил странные разговоры. Тадас лучше его владел испанским, но понять не мог почти ничего — они говорили на жутком жаргоне, полунамеками.

Лишь на главной площади, где перед белым дворцом президента стоял памятник какому-то генералу, было темнее и чувствовалось, что в стране что-то происходит. В полумраке маячили тяжелые танки, много танков, а на тротуарах, у составленных в пирамиды винтовок, сидели солдаты. Немецкие винтовки, нацистская суконная форма, индейские бесстрастные лица под глубокими рогатыми немецкими касками. Насколько Тадас мог заметить, солдаты то закусывали, то бегали в бордель по соседству.

Недели через две Стив сказал Тадасу, что ему удалось купить джип и все необходимое.

— Даже горный инструмент достал, — наконец-то

Стив был доволен. — Тот, что мы купили в Паране, курам на смех.

Машина еще не успела появиться у гостиницы, когда к ним, вежливо постучавшись, зашел хозяин. Тут же высунул голову в коридор, огляделся и аккуратно притворил дверь.

— Хочу дать вам совет,— сказал он, шныряя глазками и извиваясь словно угорь. Теперь он был в ладно сидящем на нем костюме цвета беж.— Купите для своего джипа запасное электрооборудование. В нашем климате, знаете ли, оно портится в первую очередь. Вообще-то я уже купил для вас, только заплатите деньги.

— К черту! — Стив пришел в ярость. — Мы скоро возвращаеся!

— Минуточку, не кипятитесь. Я вам дурного не посоветую. Я же не спрашиваю, когда вы вернетесь, верно? Я ни о чем не спрашиваю. А тут, — хозяин стал разворачивать газету, в которой что-то бренчало, — мой личный подарок для вас. Джип-то у вас краденый, номера, конечно, другие, но я вам дарю запасные номера. Этот —аргентинский, этот — из провинции Байнес, а тут две пары от машин американской военной миссии. Пригодятся.

— К черту! — вскочил Стив. — Тотчас же убери весь этот хлам! Мы — золотоискатели, и у нас... У нас лицензия есть!

— Хорошо, хорошо, разве я что говорю? Я же в ваши дела не суюсь, верно? Сами выбросите, если пожелаете. Выедете за город и швыряйте в канаву.

Ну что поделаешь с такими людьми?

Выехали они на рассвете, в ту пору, когда в горах, между домами и под деревьями еще держатся последние прохладные ночные тени, но вот-вот взойдет солнце, и сразу же начнется знойный день.

На двадцатом километре, где обрывалась начатая с размахом автострада и начинался ухабистый, петляющий по пампасам тракт, у деревянной корчмы без окон их поджидали два парня в пестрых индейских пончо. Не говоря ни слова, Стив остановил машину, посадил их и, включив скорость, бросил через плечо:

— Орландо, познакомься, это Ансельмо и Ито.

Так Тадас узнал свое новое имя. Орландо он, значит!

Багаж — лопаты, кирки да лотки — мешал расположиться удобно. Они ехали два дня, сделали большой крюк. Индейцы эти два дня молчали, словно мумии, только на

развилках рукой показывали дорогу. Ночевали на земле у изгороди из колючей проволоки для скота. Стив и Тадас доставали спальные мешки, а эти двое набрасывали концы пончо на головы и тут же засыпали, хотя у подножия гор было холодно и роса казалась инеем. Несколько раз за эти два дня они слышали гул и даже видели самолеты, но не встретили ни одного человека.

Перебравшись по широкому каменистому броду через стремительную горную речку, они остановили машину на полянке под деревьями. Ито вырезал палку и, привязав к ней черную тряпку, поднял над капотом. Стив выключил двигатель. Все остались сидеть в джипе. Ждали долго, часов пять. Курили. В открытой машине солнце жгло невыносимо. Не смолкая, трещали цикады, в траве что-то шуршало, кишела разная живность.

Потом совсем рядом, за деревьями, раздался голос. Сиплый, привыкший командовать:

— В машине! Смирно сидеть! Один идет ко мне с поднятыми руками.

— Ладно уж, ладно, — ответил Стив.

Индейцы глянули исподлобья на Стива. Ито выбрался из джипа и, подняв руки, исчез в кустах.

— Следующий!

Теперь пошел Ансельмо.

— Следующий!

Вылезая из машины, Тадас буркнул:

— Они там головы сворачивают, как цыплятам, что ли?

— Всякое может быть, — ответил Стив.

Кусты царапались. Тадас боком продирался сквозь чащу, не смея опустить рук. Обогнул толстое обомшелое дерево, увидел сидящих на земле своих индейцев, и тут же его крепко схватили за локти, пригнули голову так, что подбородок уткнулся в грудь, и трое или четверо заросших щетиной мужчин в военной форме принялись обыскивать его: прощупали все швы, обшарили спину, зад, пах, велели снять обувь и утащили башмаки за кусты, забрали записную книжку, все документы и деньги. Авторучку разобрали и посмотрели, что в ней. Велели сесть рядом с индейцами и потом проделали всю эту процедуру со Стивом. Тадас слышал, как они рылись в джипе, как ели их продукты, спорили из-за чего-то, потом из-за газет:

— Дай мне!

— Нет, командир велел доставить ему не разворачивая!

— Не удавится твой командир!

Потом джип куда-то укатил, а их повели вверх по горной тропе. Двое шли впереди, трое за ними с автоматами наготове. Шли долго, но глаза им не завязывали.

Когда им приказали сесть в тени огромной голой скалы, Тадас долго не мог разобраться, где же лагерь, хотя кругом слышались голоса, неподалеку даже бренчала гитара. Небольшая прогалина с непомятой травой, а над ними — вековые раскидистые деревья, ветви переплелись так густо, что внизу царил сумрак.

Вскоре их позвали, и Стив с Тадасом вошли в пещеру. Пещера была просторная, прохладная, где-то журчала вода. Когда глаза привыкли к полумраку, Тадас разглядел стол, сделанный из кривых жердей, нары, разбросанное на земле оружие и двух мужчин в немецкой офицерской форме. Без погон, правда.

— Здравствуйте! — вышел навстречу один из них, смуглый, улыбнулся им, пожал руки. Второй молчал, даже не встал. — Я — командир этого отряда, капитан. Так меня и называйте — Капитаном.— Он снова белозубо улыбнулся. — А это мой заместитель и комиссар.

— Комиссар и заместитель, — без улыбки поправил тот. Словно для контраста, он был рыжим, рыжая борода начиналась под глазами.

— Значит, американцы, студенты? — спросил капитан.

— Да.

— Коммунисты?

— Нет! — твердо ответил Стив.

— Сочувствующие?

— Не сказал бы... — Стив говорил за обоих. — Мы за свободу. За свободу всех народов.

— Хорошо... Американцев у нас еще не было. Хорошо, говорю, что вы не коммунисты. — Капитан говорил серьезно, но в его голосе Тадас уловил улыбку, может даже теплоту. — В армии?.. — Капитан замолк.

Тадас увидел, что он смотрит не на них, а на поляну. Ему и Стиву оборачиваться было неудобно.

— Послушай... — обратился Капитан к Комиссару. — Пропащий явился. — Теперь они оба смотрели на выход. — Может, ты?.. Это твой солдат.

Рыжий достал тяжелый черный браунинг, спустил предохранитель и, снова сунув его за пазуху, вышел из пещеры.

— Эй, всем собраться! — закричал он твердым, командирским голосом. — Все, все сюда!

Теперь повернулись к свету и Тадас со Стивом. Там уже собралось много людей — человек двадцать, другие еще возникали как из-под земли, хотя никаких выходов не было видно. Чуть поодаль, опираясь одной рукой на валун, стоял солдат в рубашке; его суконные брюки, заправленные в сапоги, держались на помочах. Раскрасневшийся, потный — по-видимому, долго бежал, — он улыбался широко, во весь рот. Другой рукой он все не мог засунуть в широкий карман какую-то синюю тряпку.

— Беги! — крикнул ему Комиссар.

— Comisario!..[1] — Дурацкая ухмылка на лице стала как бы гаснуть.— Señor teniente[2]...

— Беги!!!

Солдат подскочил на одной ноге, молниеносно повернулся, шмыгнул было за камень, но тут раздался выстрел. Голова дернулась, словно задев за протянутую в воздухе проволоку, грохнул второй выстрел, и солдат, сдирая руками с валуна лишайник, шмякнулся наземь. Тут же попытался встать на четвереньки. Тадас смотрел на все не мигая. После третьего выстрела солдат упал и больше уже не встал. Комиссар все это время неподвижно стоял один посреди поляны и стрелял с бедра. Сделав свое дело, он вернулся в пещеру.

— В армии, спрашиваю, служили? — спросил Капитан, снова обернувшись к ним.

— Да, — ответил Тадас, хотя ему прежде пришлось откашляться. — Я — год в морской пехоте, а товарищ, — он кивнул на Стива, — зенитчик. Нельзя ли спросить?..— Тадас оглянулся на поляну. Убитого обступили, и за толчеей Тадас увидел грязную ступню — труп уже разували.— Понимаю, что спрашивать нельзя...

— Почему? Можно спрашивать. — Капитан переглянулся с Комиссаром. — Он отбился от отряда. Говорит, что заблудился.

---

[1] Комиссар *(исп.)*.
[2] Господин лейтенант *(исп.)*.

XV

В этом отряде было двадцать семь бойцов геррильи — индейцев гуарани и два белых офицера, креолы. Еще было пять индейцев, кажется, студентов, и шесть или девять каких-то загадочных людей — они то исчезали, то снова появлялись. Эти не знали ни слова на языке гуарани и, видимо, вообще были не парагвайцы.

Стиву выдали суконные брюки, а Тадасу — суконный френч, самый что ни на есть немецкий «фельдграу», с серебяными прямоугольниками на воротнике. Странное чувство охватило его, когда он надел мундир, так знакомый по кино еще там...

«Гаранды» с оптическими прицелами им вернули через неделю, один даже успели малость испортить. Но Стив с Тадасом уже не радовались, что привезли с собой хорошее оружие, их все время назначали в засаду и не давали передохнуть. Больше снайперских винтовок в отряде не было. Засады были основным делом отряда. Лишь двумя дорогами, двумя каньонами можно было попасть на плоскогорье хребта Сьерра-де-Амамбай. Стив был в одной группе, Тадас — в другой. Четверо расположились на одном обрыве, четверо — на другом, а ты лежишь на острие, на камне над поворотом, и медленно зарастаешь бородой. Тадас привык и даже стал замечать змей. Както разглядел страшную крестовидную ярару, видел, как пума — на языке гуарани йагарете-пита — гналась за тапиром. По деревьям не спеша лазил медведь кинкажу. У него был длинный цепкий хвост.

Тадас построил на своем посту пяток щелей, гнездо для пулемета и базуки, соединил все ходами сообщения, но бойцов уговорить копать землю все-таки не смог. Может, потому, что их часто меняли, а Тадасу и Стиву только приносили вяленое мясо и термосы с матэ. Вообще-то гуарани были молодцы: придут на пост и тут же растворятся. Тадас как-то чуть не подстрелил одного из них — так незаметно тот подкрался.

Самолеты и вертолеты целыми днями летали над хребтом, кружили над вершиной Пунта Пора. Конечно, ни черта они не могли разглядеть в этом переплетении ветвей. Да и нельзя было понять, чьи это самолеты. То кажется, сядут где-то неподалеку, а то появятся со стороны Бразилии. Слышны были пальба, взрывы, но в чем дело, Тадасу не рассказывали.

Когда Тадас встречался со Стивом — правда, это случалось редко, — они как бы стеснялись друг друга. Убеждали друг друга, что все идет прекрасно, что так и должно быть. Пожалуй, даже слишком пылко доказывали один другому, что сперва они должны проявить себя в бою и лишь тогда смогут благотворно повлиять на отряд.

В первом сражении Тадас ужасно волновался, хотя назавтра все показалось ему смешным.

Готовиться к нему начали дня за два. Выдали американские мясные консервы, орехи кола, говорили длинные речи. Гуарани молились. Из базы спустились Капитан с Комиссаром. Засаду и часть отряда перенесли на десять километров вперед. Тадасу жалко было оставлять свои щели. Однако новое место было еще лучше. Широкая, не заросшая деревьями долина с отвесными склонами, а наверху — лес. Капитан держал его все время при себе, разговаривал по-дружески, когда они были наедине, переходил на английский. Поэтому Тадас не выдержал:

— Неужели... полезут?!

Капитан весело подмигнул.

— Полезут, американо! Вот увидишь, полезут как миленькие!

Солдатик рысцой бегал за ним, таскал рацию. Капитан не выпускал из рук трубки. Тадасу это показалось странным — второго аппарата в отряде вроде не было. С кем он держит связь?

Ночью всем дали выспаться, а на рассвете долина замолкла. Крикливые обезьяны и звонкоголосые попугаи, которых раздражал шум, поднятый внизу солдатами, убрались из долины еще вечером. Перед обедом пробежал волк с длинной, опущенной к земле мордой.

Сразу же за ним появились и правительственные солдаты. Вначале разведчики, человек пять, которые беспрепятственно прошли в тыл, а вскоре и остальные. Шли растянувшись, стараясь держаться поближе к скалам. В таких же немецких мундирах, в рогатых касках. Кованые сапоги скользили на камнях. Было видно, что солдаты с опаской поглядывают вверх, то поднимают, то опускают винтовки, потом снова бредут дальше. Тадас считал их и дошел до восьми десятков, когда появилась танкетка с круглой башней и двумя тонкими стволами орудий. Рокот мотора Тадас слышал уже давно. Потом — вторая. Первая укатила дальше, переваливаясь через камни, а вторая осталась в воротах каньона, обнюхивая ору-

диями опушку леса. Тадаса стал трясти озноб. Может, он все-таки не выдержал бы и выстрелил — первые солдаты с желтыми потными лицами были уже близко, в полусотне шагов. Но тут обе танкетки одновременно ударили из орудий, жаркая волна оглушила его, засыпала листьями. Когда он приподнимался с жесткой колючей травы, чтобы взять винтовку, бабахнуло еще раз, грохот опрокинул Тадаса, и все еще падали листья и ветки. И в это время внизу, в долине, раздалось:

Ту-ту-ту-ту-ту...

Те-те-те-те-те...

Тадас встряхнул головой, понял, что еще жив и, если только успеет подползти к винтовке, сможет застрелить хоть одного солдатика, но тут увидел, что Капитан хохочет. Скорчившись за валуном, прижав ухом трубку рации к земле и придерживая рукой козырек фуражки, командир хохотал, широко разинув рот — беззвучно, чтобы не расслышали солдаты, идущие внизу под ними — рукой подать. Увидев Тадаса, весело подмигнул ему, потом осторожно толкнул вперед толстую трубу базуки.

Только теперь Тадас услышал, что выстрелы замолкли — может, уже давно никто не стреляет, ни один повстанец во время этой канонады не выстрелил. И почувствовал себя уверенней.

Обе танкетки снова медленно поползли вперед, первая уже добралась до середины долины, под ногами лезущих вверх солдат трещали заросли. Капитан поглубже нахлобучил фуражку, и базука глухо ухнула. Серый дым на мгновение заслонил обе танкетки. Когда он рассеялся, Тадас увидел, что башенка танкетки накренилась, словно шляпка гриба, и в ней чернеет дыра. Глаза запечатлевали все остро, на всю жизнь. Тадас даже понял, почему Капитан выстрелил во вторую, дальнюю танкетку. Джентльмен, кабальеро, ближнюю он оставил своим подчиненным.

Тадас сперва услышал вопль Капитана и только потом увидел, что он встал во весь рост:

— Abajo la constitución de 1940-ta! [1]

— Muera el tirano [2], aniara-ij! [3]

Капитан бросился на землю, и зря, потому что теперь

---

[1] Долой конституцию 1940 года! *(исп.)*

[2] Смерть тирану *(исп.)*.

[3] ...Чертову сыну *(гуарани)*.

и на первой танкетке скрестились трассы базук, дружно застрекотали автоматы, затявкали мины, падающие в долину, почти не поднимая пыли. Солдаты даже не отстреливались, во всяком случае, Тадас не видел, чтобы они отбивались. Одни пятились, другие с визгом носились среди голых камней. Только теперь Тадас вспомнил про свой «гаранд», но прицел был установлен на дальность. Пока он его переставил, Капитан швырнул вниз одну гранату, потом вторую. Спокойно, изящно швырнул и приник к трубке рации.

Через оптический прицел Тадасу все казалось удивительно близким, трава и камни плясали, как на экране телевизора. Тадас выстрелил несколько раз, не целясь, и только потом увидел в крестике прицела спины, зады, каски, выпученные от ужаса глаза.

— Хватит! Так ты нам всех парагвайцев перестреляешь! — хлопнул его по спине Капитан.— Вставай! Смотри глазами, а не в трубку. Теперь попытаются ударить те, что прикинулись убитыми. Оставайся здесь наверху и смотри в оба!

Повстанцы уже смешались с солдатами; другие еще скатывались со склонов, шарили в карманах пленных, рылись в ранцах, одних лупили, других, прикрывавших ладонями лица, выстраивали в колонну, а с некоторыми обнимались.

— Понимаешь? Ты понял их тактику?! — Стив был небрит, без фуражки, с царапиной на щеке. Своей лапой он сжимал плечо Тадаса словно клещами.— Вот чему надо учиться! Думаешь, хорошо организованная эмбоскада, засада? Ни черта ты не понимаешь тогда! Организована-то она гениально, но не это главное. Психология! Понял? Солдат было слишком много. Вот в чем дело! И танкетки ни к чему. Вот где ошибка правительственных войск! Теперь тебе уже ясно? Их было много, но они шли и боялись, уповали только на эти свои сундуки. И едва потеряли первую танкетку, каждому солдатику стало ясно — капут.

— Ну, шли-то они не слишком хорошо.

— Конечно! Только не говори, пожалуйста, что они плохие солдаты. Такие же, как наши. Только их слишком много. Каждый думал, что за него будет воевать другой, что все решат танкетки. Вот в чем преимущество повстанцев!

— У тебя получается: шла бы дивизия, было бы еще лучше.

— А как же!!! — Глаза Стива округлились, он тряс Тадаса словно яблоню.— А как же! Было бы еще лучше. Теория и опыт генерала Нгуэн-Зяпа говорят: благоприятное для партизан соотношение — один против трех сотен. Критическое соотношение — один против пяти сотен. Конечно, когда действуют в удобной, знакомой местности и когда их поддерживает население. Это не пропаганда, ты же сам убедился...

— Зачем ты мне это говоришь? Бойцам, Комиссару объясни.

— Вот и скажу. Сегодня буду говорить я!

— Скажешь про Вьетнам — с ходу объявят коммунистом.

— Настал час. Теперь уже следует сказать.

Капитан прислал за ними солдатика.

Пленных загнали в лес, повстанцы, надев трофейные каски и сняв с рук повязки, ломами поднимали башенку у второй танкетки. Едва успели снять, как появились вертолеты.

Они вынырнули из-за деревьев — огромные, пузатые. С ревом стали кружить над каньоном. Двенадцать металлических стрекоз поднимали такой рев, что люди едва слышали друг друга.

Капитан сидел на заросшей травой прогалине, в открытом месте, разложив карту. Он был в каске. Рядом пленный майор, пленный лейтенант и два пленных капрала, один с забинтованной головой. У них за спиной, в нескольких шагах, ухмылялся в рыжую бороду Комиссар с автоматом наготове.

Микрофон держал майор:

— Да, полностью... С нашей стороны немного, человек пятнадцать, включая раненых. Бандиты...— майор покосился на Капитана, но тот кивнул головой,— бандиты бегут к своей базе, over[1]. Да, пленные подтвердили. Квадраты...— майор следил взглядом за закоптелым пальцем командира, который двигался по карте, и перечислял: — Квадраты 82—83, еще 120—118... и еще 327—337, over.

Ответа с веретолетов Тадас не слышал, одни паушники держал пленный майор, а другие — Капитан.

---

[1] Прием *(англ. радиожаргон)*.

— Нет, этого не знаю. Что я могу сделать!.. Да, совершенно верно, трое, over.— Пленный майор вытирал пот, с силой проводя по лицу ладонью,— казалось, он сдерет с себя кожу.

— Мины! Там заминировано, не забудь сказать, amigo! — зашипел и схватился за пистолет Капитан.

Не глядя ни на кого, пленный слушал, прижав к уху наушник.

— Понял. Базы заминированы... Пленные говорят...

— На земле и на деревьях...— подсказывал Капитан.

— ...Говорят, мины зарыты в землю и подвешены на деревьях.

— Мины подвешены на лианах, пускай осторожно...

— Соблюдайте осторожность! Заряды привязаны к лианам...

— Over!

— ...over.

— Нет, этого я тоже не знаю...

— Может, двести! — подсказывал Капитан.

— ...может, двести их будет. Over. Buena suerte![1] — Только кивок, кажется, был настоящим, искренним.

— Ну, знаете, таких номеров даже во Вьетнаме не бывало! — хлопнул себя по коленям Стив.

— Здесь, американо, еще не то увидишь,— ответил Комиссар. Казалось, ему нравится держать человека под дулом. Только автоматом, он поднял пленных.

Майор, которого подтолкнули сзади, обернулся и оглядел его с головы до ног.

— Этого я что-то не знаю,— буркнул он.

— Вот и хорошо. В аду познакомимся,— отрезал Комиссар.

— Надеюсь, Армандо, что наше соглашение ты будешь выполнять...— недоверчиво сказал майор.

— Не волнуйся, все будет в порядке,— заверил Капитан.

В лесу все — и те, кто наступал, и пленные сидели вперемежку и беседовали. По рукам мирно ходили калебасы с чаем матэ. Раненые не стонали. Это свойство гуарани — никогда не жаловаться и не хныкать — Тадас заметил еще раньше. Увидев командиров обеих групп, все встали.

---

[1] Удачи! *(исп.)*

— Я приветствую вас, парагвайцы! — Комиссар, кажется, замахнулся на большую речь.— Приветствую всех, оставшихся в живых после этой замечательной битвы за свободу нашей родины. Приветствую и тех, кто отделался ранениями. Склоняю голову перед памятью четырнадцати погибших парагвайцев, хотя они пали за тирана. Все мы сожалеем о том, что льется братская кровь.

Пленные офицеры отошли в сторону и уселись в тени.

— Вы знаете, почему мы восстали. Голод и несправедливость изнуряют страну. Умирают дети, наши мужчины находятся в рабстве, женщины торгуют собой, правительство жиреет. Наши лозунги: «Долой диктатуру!», «Долой конституцию 1940 года!», «Землю — крестьянам!», «Свобода или смерть!» Власть мы возьмем скоро, потому что за эти лозунги и люди и господь! Примером этому — недавнее сражение. Вас было много, и два танка, и вертолеты, а нас — сами видите!.. Есть еще, конечно, резерв, есть другие отряды. Но ни одного убитого! Мощь диктатуры рассыпается в прах, столкнувшись с решимостью и гневом народа. Путь на Асунсьон открыт, хотя впереди еще много сражений, много побед. Правительство, избранное на свободных и всеобщих выборах, даст каждому пеону по пяти гектаров земли, широкие кредиты, а бойцам — по десять гектаров!.. Мы принимаем всех, желающих вступить в отряд!.. Тех, у кого нет мужества идти по героическому пути геррильи, мы отпускаем. Вы ни в чем не повинны, вы — обманутые наемники, служащие за кусок хлеба. Ставим вам одно условие: уходите из армии, возвращайтесь в свои деревни, рассказывайте людям о славной геррилье. Списки с вашими именами мы будем хранить в памяти и, если встретимся с вами во второй раз, сочтем вас уже сознательными врагами свободы, и пощады не будет. Да здравствует Парагвай! Свобода или смерть!

Тадас вместе со всеми кричал «Viva!» [1], пил слабую, как пиво, водку кауи — ее давали своим и пленным сколько кто хотел — и во всей этой толчее, когда пересчитывали оружие, сортировали пленных, почувствовал себя счастливым.

Первая победа, которой не надо бояться.

Которой, наверно, не надо бояться.

---

[1] Ура! *(исп.)*

XVI

Дальше все шло с быстротой молнии. Не поймешь, то ли это был заранее приготовленный план, то ли импровизация.

Отряд без труда захватил оставленные неподалеку грузовики и бронетранспортеры, на которых прибыли солдаты, выехал в пампасы и помчался по извилистой степной дороге. Желто-красный флаг на головном джипе, повстанцы вперемежку с пленными, все орут песни, отбивая ладонями такт по жестяным ящикам с патронами, по крышам кабин и бортам: рокочут барабаны, не отстают и гитары. Калебасы идут по кругу, винтовки направлены вверх, столб красной пыли за колонной, застывшие лица, вытаращенные глаза крестьян в пролетающих мимо лачугах.

Через час они были уже в центре волости Эрнандарио. Джип сделал полукруг перед почтой. Завизжали тормоза, посыпались из-под колес сухие коровьи лепешки, и Капитан со своими побежал по лестнице вверх. Бронетранспортер рассыпал свою команду у жандармерии. Один грузовик остановился перед собором, другой укатил куда-то дальше. И вот уже звонят во все колокола, словно начался пожар или вспыхнула чума, повстанцы идут от дома к дому, стучат в окна, выносят из белого каменного банка книги, кипы бумаг, сваливают на площади, у подножия бронзового памятника, вдесятером вытаскивают из мэрии шкафы и сваливают в ту же кучу. Вывели белых как мел жандармов — у всех руки на затылке, брюки без ремня спадают — выстроили перед памятником, к ним присоединили каких-то штатских, из жандармерии тоже выносят бумаги. Комиссар начинает листать их, но машет рукой — некогда, мол, и швыряет в кучу, которую уже лижет пламя, даже арестованных пришлось подать чуть назад и позволить им застегнуться. На площади полно детей, закутанные в платки женщины с бесстрастными лицами теснятся у каменной ограды костела, мужчин маловато, но Комиссар уже начинает речь. О гигантской победе восставшего парагвайского народа на перевале горного хребта Амамбай, об уничтоженных танках, о взятых пленных, о захваченном оружии. Комиссар поворачивается то в одну, то в другую сторону и сбивается на крик, чтоб все его слышали — к памятнику и костру все стараются ближе не подходить. Даже когда Комиссар го-

ворит о горящих в огне долговых книгах и расписках. Мол, с этой минуты никто в городке и в округе никому не должен — ни банку, ни владельцам латифундий, ни лавочникам-японцам,— и земля с этой минуты принадлежит крестьянам, только надо это право защитить.

«Не слишком ли быстро говорит Комиссар? — подумал Тадас.— Торопится, наверно». И вдруг до Тадаса дошло, что весь этот фейерверк — в кредит. Ненадолго. Пока не вернутся двенадцать вертолетов. Пока каратели не выяснят, что их заманили в дальнее змеиное болото, где нет ни повстанцев, ни их мин, тем более привязанных к деревьям.

Джип Капитана стоял перед жандармерией, и только там виднелись мужчины городка. Правда, никто не пришел сам, всех пригнали вооруженные повстанцы. Но Тадас догадывался, что основное действие происходит именно там.

Комиссар уже организовал суд.

— Кто главный кровопийца в волости?! Кто вас избивал, издевался над вами, обкрадывал? Кто самый рьяный прислужник диктатуры? — то и дело поворачиваясь, кричал Комиссар. Тадасу было жалко его усилий, он пожалел и затравленных, угрюмо молчавших женщин.— Не бойтесь, старые времена не вернутся! — Комиссар потряс в воздухе автоматом, словно это — доказательство.

Уже стемнело, и костер, который повстанцы ворошили, не переставая, чтобы все бумаги сгорели дотла, освещал лишь памятник, взобравшегося на его пъедестал Комиссара и арестованных. Тадас устал от напряжения и безделья. Потом увидел, что Стив помогает геррильеро, которые опустошали лавки, и присоединился к ним, начал носить в машины продукты, фонари, отрезы, веревки, сбрую. Посуду они совали женщинам, и те сразу же исчезали во тьме, пряча под платками добычу. Базарная площадь галдела. Комиссар давно уже перешел на язык гуарани. Внезапно все затихло, воцарилась мертвая тишина. Нестройно застрекотало несколько автоматов, и Тадас успел заметить, как жандармский офицер в расстегнутом мундире неловко присел у подножия памятника, опустил голову, схватившись за живот, и рухнул вперед, головой к костру. Толпа охнула, словно лес в бурю. Тотчас же к памятнику поставили какого-то человека в штатском, закрывшего лицо ладонями. Тадас не понял, плачет он или просто дрожит от страха, увидел Капитана в осве-

щенном костром пространстве — по-видимому, тот уже кончил свои дела. Комиссар снова закричал, и пятеро солдат, присоединившихся сегодня к отряду, застрелили этого штатского.

Тут же пронзительно засвистел командирский свисток Капитана, к нему присоединился Комиссар. Повстанцы бросились к грузовикам. Зарычали моторы, и машины с ходу тронулись в путь — никто не пересчитал, все ли на месте. Минут через пять, уже в открытых пампасах, вытолкнули из машин не присоединившихся к отряду пленных — солдат и офицеров. Позади в небо вздымались два столба пламени.

Отряд теперь ехал в другом направлении, гораздо дольше, чем днем. В предгорьях выгрузили машины и тронулись цепочкой в горы, по густому лесу, спотыкаясь в темноте, падая с ног от усталости и завидуя шоферам, которые уехали куда-то на машинах. Тадас тащил на спине мешок, словно картошкой, набитый жестянками консервов. Зацепил ногой за ящик, который кто-то уже бросил, закричал, но услышал только злое «Вперед!» и пронзительный свисток. Если б теперь их настигли, подумал Тадас, передушили бы как цыплят. Перед глазами то и дело вспыхивало пламя костра и жандарм в расстегнутом мундире. На рассвете отряд повалился на землю — спать, но тут же все вскочили, завизжали даже гуарани: они оказались в зоне токандиров — бешеных муравьев, у которых на голове рога как клещи. Снова шли, часа два, а то и больше. Рассветало, но они не могли остановиться — всюду кишели токандиры. Наконец заснули прямо в болоте. Змеи и пиявки — чепуха по сравнению с муравьями, живьем пожирающими человека, и усталостью.

Отряд разбили на две группы, на другой день — еще на две. Тадас и Стив, всего десять человек, остались с Капитаном и шли, наверное, целую неделю, днем скрываясь под деревьями и нависающими скалами, а ночью продвигаясь вперед. Гуарани бесшумно крались впереди, они искали дорогу, негромким свистом и шипением распугивая зверей, обходили обитаемые места, старались даже не пересекать тропы. Гуарани и замыкали шествие, заботливо пряча следы. Тадас, которого, как и всякого моряка, всегда манили горы, теперь проклял их: идешь двое, трое суток, обернешься — а склон, где ты ночевал, рядом, гранату можно добросить. Как в страшном сне.

Где-то у границы Бразилии Капитан объявил отдых.

Стирать одежду и умываться люди не спешили, спали и спали, закутавшись в пластиковые полотнища, ни солнце, ни комары не могли помешать. Даже о еде забывали.

Там разделились еще раз. Солдат — ни старых, ни недавно приставших — в отряде уже не было. Поговорят люди о чем-то с Капитаном, уложат рюкзак и — «чао!».

Настал час и для них. Капитан подозвал Тадаса, Стива и обоих студентов-индейцев. Разложил карту, прижав края камешками, рассмеялся, посмотрев на опухшие от сна лица парней.

— Приступаем к новому этапу деятельности, компаньерос.— Капитан зарос бородой, пообносился, как и все, только офицерская фуражка чудом уцелела, молодцевато блестел герб.— Вы — образованные люди, политическая опора отряда, с вами я могу говорить начистоту. Геррилья пока терпит неудачу. Разгром карательного отряда и захват Эрнандарио — это, разумеется, победа. Но мы не добились главного — гарнизон в Асунсьоне не восстал, нас не поддержали, а люди в Эрнандарио к нам не присоединились. Каратели там устроили резню, сожгли дома. Мужчины разбежались — мы на это и рассчитывали,— но скрываются. Пока боятся присоединяться к нам. Не знают, сильны ли мы на самом деле. Хуже того — они знают, что мы слабы. Что каждый лесоруб или пастух выдаст нас — задарма или за десять монет и старые сапоги... Мы ведь чужие, такие же, как и каратели. И ты, и ты, и я. Люди не понимают, за что мы боремся. Речи произносить, компаньерос, мы можем... Но речей пеоны за свою жизнь наслушались много. Они, пеоны, должны раскусить, кто эти речи произносит...

Тадас, который за это время напрочь забыл, что он «заслан» в отряд, не вспомнил об этом и сейчас. Природа человека обычно заглушает мысль о тяжелой или позорной болезни. Он знал сейчас только одно — никогда он не выдаст Капитана. Хотел бы его не выдавать. Человека, который шел с ними и нес самую тяжкую ношу, который, когда отряд засыпал, вставал в первый дозор, который стрелял с улыбкой, а о смерти говорил так, как никто еще с Тадасом не говаривал...

— Или нас поддержат крестьяне, или нам крышка. Поэтому вы пойдете в Майари. Вот сюда,— Капитан ткнул пальцем в карту.— Далековато. Одна пара — в Майари Арриба, другая — в Кебраача, по соседству. Мы должны действовать в населенных местах — иначе будет

как с Че. Вам предстоит подготовить среди крестьян социальную базу. Завоевать их симпатии. Опасаться вам нечего, гостей горцы не выдают. Будете работать вместе. Может быть, долго, пока не появится взаимопонимание. Пока не разберетесь, на кого можно положиться, кто возьмется прятать оружие и людей, кто примкнет к нам, кто станет связным. Достаньте транзистор — туда приходят контрабандисты. Каждый день слушайте бразильскую станцию «Амазонка», в пять часов вечера она вещает по-испански. Если услышите: «Говорит матушка Пилар» — это для вас. Все. Винтовки оставьте, а пистолеты закопаете, когда придете на место. Если завоюете симпатии — останетесь в живых.

— Все ясно,— Тадас сглотнул горький комок; его снова охватило то проклятое чувство, с которым, он думал, уже распрощался навеки,— подозрительность. Похоже было, что их приносят в жертву.— Но ведь мы, мы же с ним... Ведь издали видно...

— Верно,— Капитан кивнул головой и переглянулся со своими. Всем здесь все ясно. Только не Стиву и не Тадасу.— Видишь ли... В окрестностях Майари любят и уважают американцев... Нет, только не вздумайте это скрывать. Всем вы должны говорить, что вы — американос, гринго! Парни вам по дороге все объяснят. Ну, buena suerte,— и хлопнул в ладоши, как директор цирка, выпуская очередную группу на арену.

XVII

Пришли в Майари и даже не заметили, что это поселок. Только больше троп по пути, запах дыма, прогалина в лесу, под кукурузой или табаком, обсаженная изгородью из кактусов; реже попадались ягуарете-пита, чаще гремучие змеи. В змей давно не стреляли, научились управляться одним взмахом мачете. Быстро и, главное, без шума. От бесконечной рубки кустов и веток за эти две недели похода страшно разболелась кисть, а потом и вся рука, но взять мачете в левую не удавалось — не тот удар. Только когда приходилось рубить змей, откуда-то появлялись и силы и проворство.

Первое жилье встретило их собачьим лаем. Только так они на него и наткнулись. Распрощались со Стивом. Пистолеты закопали, положив в нейлоновый мешочек. Все

равно, считай, добро пропало, пластик не спасет в этой земле.

Подошли к лачуге и поняли, что их уже ждут. Наверно, из-за этих собак. Детей тьма, как в детском саду, глазеют из каждого незастекленного окошка. В дверях мелькнула и снова исчезла тощая морщинистая женщина. И хозяин был неподалеку. Трудился у деревцев юки. Обернулся, лишь когда они поздоровались. Так и не выпустил мачете из руки. Босой, короткие, до колен, штаны — жалкие лохмотья. Ветхая рубашка цвета хаки с погончиками, соломенная шляпа, лицо индейца, щеки впалые — наверно, зубов нет.

Тадас всегда, еще с детства, стеснялся приходить к незнакомым людям. Теперь он даже не представлял себе, как им начинать. Но Ито, кажется, ни капельки не смущался. Он попросил воды. Они сбросили рюкзаки, сели на камни под молодым банановым деревом — все-таки тень. Поговорили о погоде, урожае, о пожаре в зарослях, бушующем в долине. Тадас уже немного понимал язык гуарани и разобрался, что говорят о нем гринго. Хозяйка ушла в лачугу и принесла лепешек касабе. Никаких проявлений чувств, бесстрастные лица, молчание. Крестьяне просто слушали. Говорите, мол. Лепешки были вроде сушеных картофельных оладий, жесткие — не откусить и не проглотить. Ито ломал их и, макая в воду, ел. Тадас тоже попробовал. Хозяйка стояла в дверях, прикрыв рот передником, другой рукой она гладила головку голого мальчика, уцепившегося за юбку. Господи, какие страшные дети, подумал Тадас. Распухший живот, а грудь узенькая, ребра торчат, худое, синюшное лицо, водянистые глаза навыкате. И сипит с открытым ртом, иногда заходится от кашля.

— Чем болен ребенок? — спросил Ито.

— Заколдован. Любовница моего мужа заколдовала,— бесстрастно ответила хозяйка, а муж кивнул.

— Подойди ко мне,— в руке Ито заалел пластмассовый карандаш, но ребенок не шелохнулся.— Подойди, конфету дам.— В другой руке Ито держал продолговатую зеленую таблетку.— Приведите мне его, сеньора. И других детей приведите.

Ито порылся в рюкзаке, достал слипшиеся леденцы. Упирались, испуганно ворочали глазами. Ито схватил пузатого, зажал между коленей. Ребенок тут же затих, словно воробышек в руке, только сипел, все не мог отды-

шаться. Ито запихал ему в рот таблетку и влил целую кружку воды. Ребенок ушел, сгорбившись, как старик,— кажется, он и плакать не умел. Однако минут через пять вдруг выбежал из лачуги верхом на какой-то рваной шкуре и, звонко смеясь, хлопая хворостиной по шкуре, помчался к другим, которые между тем забрались на делянку юки. Крестьяне, кажется, и ухом не повели.

— Ребенок болен. Его надо лечить,— сказал Ито.— У него астма.

— Может, и ваша правда, сеньор.

— Я не сеньор, я — аба,— ответил Ито. Тадас знал, что это значит — человек из народа.

— Может, и правда.

— Вот, возьмите. Давайте ребенку по одной, как только начнется приступ. И при первом же случае отвезите в больницу.

— Вы — доктор? — после долгого молчания спросил старик.

— Я медик. Студент медицины.

Хорошая новость, подумал Тадас. Но зачем он это скрывал от него? И это — конспирация?

— Возьмите таблетки.— Ито был терпелив.

Крестьяне не дрогнули.

— У нас нет денег, сеньор.

— Мне не нужны ваши деньги.

— Еды у нас тоже нет.

— Еды мы не просим. Переночевать пустите?

Крестьяне молчали. Как отгадать, о чем они думают? Ито даже не пытался отгадывать. Он знал.

— Гамаки у нас с собой.

Боже ты мой, гамаки! Два распоротых мешка из-под сахара да две веревочки.

— Подвесьте с южной стороны.— На сей раз старик откликнулся быстрее. Из уважения к Тадасу или для того, чтобы выглядеть ученей, он говорил на ломаном испанском языке.— Там ветер. Москитов меньше.

Часа в четыре ночи, когда сквозь густую листву деревьев светила полная луна, они отправились на далекий конуко, участок сельвы, который предстояло вырубить. Как начали еще до рассвета, так и не распрямляли спин до вечера. Тадас ругался по-литовски — ему помогала странность давно не слышанной литовской речи. Еду с собой брать здесь, оказывается, не принято. А перед уходом хозяйка налила им только горячего крепкого кофе без

сахара. Когда вернулись — касабе с водой. Неудивительно, что все семейство заснуло еще до захода солнца. На следующий день снова ушли рубить заросли. И так каждый день — попросту батрачили. Хозяин и Ито рубят, Тадас стаскивает в кучу. Потом жгли высохшие ветви и бревна, но легче не стало — жара, дым и пепел изводили еще больше. Да еще оберегай лес от пожара. И не успел порадоваться виду отвоеванной от сельвы земли, как берись за мотыгу и разрыхляй делянку под табак. Насчет мотыг в век космоса Тадас развел было агитацию, но ничего не вышло. Старик не только не знал, что такое космос, но и о тракторе не слыхал. Да и как трактору прийти в горный лес? Смешно. Ито велел Тадасу заткнуться. Отношения с хозяевами тоже были непонятные. Правда, хозяйка несколько раз сварила им черных бобов. С голодухи было даже вкусно. Но по тому, как торжественно ставили на стол эти миски, с каким любопытством смотрели на них дети, и по червячкам в бобах можно было судить, что это — стратегический запас семьи, а может быть, даже семена.

Недели через две хозяин согласился проводить их в деревушку Майари, к своему тестю. Старик решил, что своей работой парни уже вознаградили его за трату времени. Заодно нагрузил мула связками табака и подвесил две корзины с касабе,— он собирался двинуться еще дальше, в Майари Абахо, на базар.

У Эустакио и в других конуко они работали за еду еще неделю. Потом положение изменилось. Ито всерьез принялся за лечение конукеро, давал лекарства, которые припес с собой, собирал в сельве корешки, цветы, рвал зубы, даже рецепты выписывал, а Тадас стал учить детей грамоте. Конечно, испанской. От радости, что стало легче, он даже не удивился новому своему перевоплощению. Стесняться было некого, дети говорили по-испански еще хуже, чем он. Конспирация от этого только выигрывала — крестьяне понимали, что «доктора без прав» и его товарища надо укрывать.

Скучно было. Безучастные крестьяне, словно живьем перенесенные из каменного века, дети, которым не по зубам было понятие «двадцать» однообразное питание (изловить попугая или обезьяну можно было только в сельве, и там же, вдали от людей, приходилось жарить и есть дичь, чтоб не заслужить презрение пеонов) и радио, каждый день низвергавшее на них поток известий о со-

бытиях в Советском Союзе, во всем мире, в самой Латинской Америке, о стычках с повстанцами в Парагвае,— только усиливали ощущение, что они где-то на отшибе и прочно увязли в стороне от хода истории. Но когда Тадас однажды подумал о двух месяцах, проведенных здесь, он с удивлением увидел, что сделано много и что все идет довольно-таки гладко. У них уже была, и все пополнялась новыми данными, подробная схема ближних и дальних окрестностей — на ней они отмечали тропы, горные перевалы, броды, участки конуко, пригодные для жилья пещеры и места для тайников. Крестьяне привыкли к ним. Они оказались нужными деревне. И Тадас был нужен ничуть не меньше, чем Ито. Все называли его Эль Американо, а то и ласково — Американито и считали, что он выполняет ту же работу, что и недавно уехавшие отсюда янки.

У этих двух казенных агрономов задание было гениально простым — научить пеонов в обеих Майари сажать картошку. Поначалу они долго обходили лачуги, объясняли, давали привезенный на семена картофель, но ничего, конечно, не добились. Тогда они, как простые конукеро, выкорчевали для себя участок на склоне холма, обработали землю и посадили свою картошку. Все они делали точно так, как и местные, только борозды пахали поперек горы. Крестьяне, конечно, не ходили на чужой участок, но все равно знали, что там происходит, и между собой, покуривая трубочки, жалели симпатичных, трудолюбивых парней. Не взойдет крупный мучнистый картофель на этой земле. Всем известно, что Парагвай — родина картофеля и местные сорта — самые лучшие. А борозды? Летние ливни, потоки воды с холмов смоют почву вместе с картофелем. Вертикально борозды нужно пахать, это же ребенку ясно! Но уродился картофель на славу, за сорок дней поспел, и американцы тут же посадили по второму заходу. Дожди смывали вертикальные борозды соседей, а американцам приносили из сельвы перегной и влагу. Чтоб не сбивать цены на рынке, оба янки откармливали свиней, отдавали свой картофель даром настоятелю, возили еще дальше — в колонию прокаженных. И все-таки они просидели здесь целых два года, пока пеоны не стали менять направление борозд и брать у них картофель на семена. И вот тогда парни сложили пожитки и уехали, раздав крестьянам весь свой инвентарь. Правда, переворота в местной жизни не произо-

шло. Многочисленные семьи так и так съедали все, каким бы ни был урожай, разве что дети бегали не такие голодные, как раньше. Зато об американцах здесь с тех пор никто не говорил дурного слова, все запомнили их как странных, но толковых парней.

А главное — Тадасу стало ясно, что даже разговаривать здесь есть с кем. Крестьяне помоложе — далеко не все, правда,— знали грамоту, кто-то служил раньше в армии, пас на равнине скот, нашлись даже ветераны войны с Боливией. С этими, правда, приходилось нелегко. Вспомнят осаду Бокерона, и весь разговор только о траншеях, пулеметах, тухлой конине да о том, когда привезли воду, а когда нет, про отряды, вымершие от жажды, хороши или плохи у них были генералы, большинство из которых — немцы или русские белоэмигранты. До этого Тадас почти ничего не знал про эту войну тридцатых годов. Слушая старых крестьян, для которых все было свежо и живо, он стал подозревать: не исключено, что полуобезумевшие от безделья эмиграции кайзеровские и царские вояки, извечные соперники, перенесли в пампасы Боливии и Парагвая свой давний спор. Еще раз перед смертью поигрались в солдатики. Все эти воспоминания отвлекали, но так или иначе образовался как бы кружок. Даже построили «школу» — навес на четырех столбах и врытые в землю лавки. Иногда собирались здесь покурить, хотя иным приходилось часа два-три идти через сельву. Но сколько с ними нужно было терпения! Разговоры об одном и том же — цены, клещи, нашествия хищных попугаев, ссоры с бабами; Онельо, наместник хозяина латифундии, плохой человек, зато Эриберто Падилья, владелец всех земель этой округи — и равнин и гор,— хороший, надо бы пожаловаться ему на Онельо. Правда, этого Падильи никто и в глаза не видел. Одни говорили, что он живет в Асунсьоне, другие — что в Штатах.

Как-то Эустакио (в его лачуге парни бывали чаще) сказал, что падре Рикардо, настоятель Майари Абахо, приглашает их как-нибудь заглянуть к нему. Тадас и Ито встревожились. Того и гляди, их еще в жандармерию пригласят! Они выработали единую версию — оба проводят социологические исследования примитивной общины, а Ито еще интересуется паразитологией. Тадас подумал: хорошо бы послать через настоятеля письмецо «Соколовски...».

— Ну, быстрей, быстрей! Сюда идите! — закричали им

из небольшого домика, прилепившегося к церкви, как только они вошли в городок.— Сюда! — Не выдержав, падре выбежал на улицу. В коричневой грязной сутане до колен, перевязанной веревкой с кисточками, в залатанных штанах, босой.

— Как вас змеи не жалят?! — воскликнул Тадас вместо «здравствуйте!».

— Хе! — настоятель остановился на пороге.— Слыхал, чтоб змея ужалила пеона? А видел хоть раз пеона в башмаках? Дайте змеям жить спокойно, друзья мои, не разгребайте палых листьев, и ноги будут целы. Очень змей боишься, а?

Глиняный пол, беленые стены, кровать и скамьи, грубо сбитые из досок. Занавесочки на окнах, черное большое распятие на стене — вот и все.

— Я и говорю: слава всевышнему, что и к нам коммунистов прислали! Говорю, чем провинились наши места, наши горемыки-муравьи, что нас минует благосклонность провидения! Чем провинились мы все, и сколько еще хватит терпения у бога и людей!..

— Падре!..— воскликнул Тадас.

— Называйте меня просто Рикардо. Вы для меня не овечки, я для вас — не пастырь. Или Ришаром, как меня мама звала. Я — бретонец, хотя весь мир почему-то считает нас французами... Что будете пить? Есть капля французского коньяка, ну и церковное вино.— Он посмотрел на ошарашенных парней и, по-своему истолковав их смущение, сказал: — Уже знаю. Коньяк.

Священник забегал по комнате, вытер пальцем три разнокалиберных рюмки. Солнечный глоток обжег горло Тадаса. Повеяло старой доброй Европой и чистым воздухом.

— Послушайте, падре Ришар,— Тадасу пришлось даже откашляться,— мы... на самом деле, мы... студенты и стараемся...

— Подожди. Пока еще не солгал, подумай, стоит ли лгать вообще. Я ведь ни о чем тебя не спрашиваю — почему сам лезешь с ложью? После того как Стресснер стал сбрасывать с самолетов камарадос со связанными руками, никто коммунистом в этой стране себя не назовет, если он в здравом уме. Такова логика борьбы, друзья мои.

Священник перестал метаться по комнате, он сидел перед ними, подпирая ладонями бритый выступающий подбородок. Орлиный нос украшали очки с выпуклыми

стеклами. Молодой, сморщенный, провонявший табаком священник.

— Я вас понимаю, друзья мои. Вам трудно говорить со мной. Не привыкли откровенничать, дело ваше такое. Но подумайте хоть одну минуту обо мне, только представьте себе — мне-то ведь совершенно не с кем разговаривать!

Не оставалось ничего другого, как снова отхлебнуть теплого коньяка.

— Вы, конечно, голодны. Знаю. Но сегодня пятница, друзья мои, и в доме нет ни кусочка мяса: Есть еще, да простит меня Бретань и даже Франция, немного кока-колы.— Он пошарил под кроватью и достал пузатую отпитую бутылку.— Будем надеяться, что в нее не забрались муравьи.

Окна были без стекол, как и во всех домиках. Занавески даже не шелохнутся. Полуденный покой. Прошла индианка с ребенком на руках — в мужской шляпе, поверх шляпы — накидка.

— Итак, логика борьбы. Еще проще: самоубийц осуждает даже священная церковь. А кто вы такие, видно по тому, что вы делаете. Так коммунисты действовали в России, в Китае, в Алжире, с этого все началось во Вьетнаме. И тайну соблюдать вам долго не удастся. Любовь, самопожертвование и дисциплина выдают вас с головой. Кто еще, кроме христиан и коммунистов, может заботиться об этом несчастном народе? Об отрезанных от мира, забытых всеми конукеро?..— Падре воздел руки над головой, длинные порыжевшие пальцы затрепетали.— Вы можете быть, конечно, из какой-нибудь особой сектантской организации или группы, можете даже исповедовать иную идеологию. Это ничего не значит, друзья мои. Здесь, в Майари, вы неизбежно станете коммунистами, как стал коммунистом я. Иисус Христос, господь наш — да не помянем имя его всуе,— здесь тоже взялся бы за пулемет. В Иерусалиме за грехи полегче он схватился за плеть.

— Но ведь папа римский...— вставил Тадас.

— Наместник апостола Петра стоит у кормила корабля всей нашей церкви и призывать к насилию не вправе. Сказано: «Старайся, человече, и я помогу тебе». Господь не говорил: «Умирай, человече, забытый всеми, да умрут дети твои и жена твоя, да сосут твою кровь пиявки, а я зато вознагражу тебя небесным блаженством!» Надо стремиться к раю на земле — к благосостоянию, равенст-

ву, справедливости и свободе. И силы зла душить следует на земле, пока все мы живы. На то нам и дана жизнь. Только так можно заслужить вечное блаженство. Так вели себя первые христиане, так говорит нам его святейшество, этого желаем и мы с вами. И одинаково с вами понимаем, что надо в первую голову делать здесь, в этой забытой богом стране, в Парагвае, в этих деревнях.

— Что же именно, падре Ришар?

— Не прерывай меня. Я не умею разговаривать с людьми. Я умею только проповедовать. Вот уже восемь лет я говорю, говорю, говорю, а они кивают головами и думают: как красиво, как свято говорит наш падре. Землю, говорю я им, сотворил господь. Она принадлежит всем — и плодородные равнины, и высокие горы. Они плачут и крестятся. Все люди равны, говорю я им, господь дорожит душой каждого пеона, помещика, рахитичного ребенка, полицейского и президента. Если твой ребенок умирает от голода, говорю я им, господь дозволяет и даже велит тебе посмотреть, где еды слишком много. Ты виноват перед господом, если ничего не предпринимаешь. Они вздыхают и думают, что я рассказываю им библейские легенды. Я не могу больше так! Я не в силах разбудить эту нацию, даже эту волость.

Тадас посмотрел на Ито. Может, тот придумает, что ответить? Но лицо индейца было непроницаемо.

— Да-да-да, я знаю! — Падре покраснел и снова принялся длинными шагами мерять комнату; его куцая ряса развевалась.— Я понимаю, друзья мои. Надо связаться. С Асунсьоном, а может, с Гаваной. «Контакт со священником, опиум для народа»... Вот и запрашивайте их. Но мы ведь люди, так что давайте судить друг о друге по нашим поступкам! Я говорю вам, как говорил и вашим приятелям до этого — кстати, из Кебраачи они перебрались в Кроталу. Захвораете — прошу ко мне. Будут у вас раненые — приносите. Оружие, продукты спрятать — я уже приготовил подвалы церкви. Поставлю на башне миномет, живым не дамся. Я не боюсь. Поймите меня, я и так умираю трижды в день! Умер восемь лет назад, когда прибыл сюда, и умер безо всякого смысла!

Тадас и Ито молчали.

— Вы лучше меня знаете, что здесь творится. Эриберто Падилье, его пятерым женам, рассеянным по всему свету, и бесчисленным детям принадлежит вся равнина — пятьдесят тысяч гектаров. Стада скота, хлопковые по-

ля — все здесь его. Реактивный самолет для дальних полетов, авиетки — для ближних — к его услугам. И сто тридцать пять тысяч гектаров горного леса. А ты, бедняк, если хочешь не умереть с голоду, иди вырубай конуко. За два года обработаешь землю — и переходи на другое место. Это оставь своему сеньору. И не забудь ему еще подарок прислать! Падилья разбирается в психологии. Подарок — обязательно! Поэтому он и добр, этот наш хозяин и покровитель. Подумать только, лес разрешает рубить! Даром!

В небесной синеве, высокой и недостижимой, кружили две черные точки. Стервятники высматривали падаль. Индианка с ребенком, долго стоявшая на коленях перед дверями храма, теперь, кажется, улеглась там.

Падре Ришар в угрюмом молчании мерял шагами комнату. У Тадаса разболелся живот. Сколько недель он был почти пуст, а теперь этот коньяк с кока-колой...

— Хорошо, я первым открою карты. Это, пожалуй, справеделиво.— Падре остановился перед ними, глядя в упор то на одного, то на другого.— Здесь есть крестьяне, с которыми можно говорить, которые понимают. Боятся, никому не верят и не хотят ничего знать, но хоть понимают свое положение. Не удивляйтесь, что они боятся. Народ здесь проучен. Я дам вам список — самых лучших. Выучите его наизусть, а список мы сожжем. Но когда приедете к такому крестьянину, не хитрите, а говорите прямо: «Мы коммунисты. Нас прислал падре Рикардо. Мы хотим, чтобы ты помог партизанам, когда будет нужно». Иначе они тут же выдадут вас полиции, за провокаторов примут. Те, кто решил бороться, особенно осторожны.

— Парагвайцы не трусят.— Ито впервые открыл рот. Тадас только теперь вспомнил, что ведь и он и падре — иностранцы здесь.— Парагвайцы не боятся смерти! Это доказано в войне против тройственного союза. Против Бразилии, Уругвая и Боливии вместе.

— Все верно. Я говорю — осторожны,— падре говорил теперь тихо и ласково.— Осторожны, потому что они должны победить. У крестьянина нет другого выхода. Он не может играть в войну, он должен победить. Он должен знать, с кем и за что идет, друзья мои.

Ито все-таки надулся. По улице прошла вереница мулов, груженных вьюками. Копыта глухо шлепали по тяжелой пыли. Караван с матэ.

— Эти два ваших приятеля прислали ко мне человека.— Голос падре звучал приглушенно. По-видимому, он тоже вспомнил, что имеет дело не с европейцами.— Они передали — список о'кэй. Я бы вам посоветовал до поры до времени других людей не искать. С другими крестьянами пускай говорят те, мною рекомендованные крестьяне. А потом... Потом я расскажу о некоторых священниках нашего департамента. Когда сюда придет больше ваших. Так и дальше будем говорить — я вам все, а вы будете молчать. Договорились?

По дороге домой, в Майари Арриба, Тадас вспомнил что собирался послать через падре письмо. Даже улыбнулся. Пошлешь через такого! Ничего себе священник... Хотя, знакомый уже с хитроумной машиной провокаций и сам оказавшись под тройной скорлупой, Тадас не удивился бы ничему. И все-таки этому священнику повстанцы могли бы довериться. Во всяком случае, не меньше, чем студенту-медику Ито.

Узкая дорога, заросшая по краям колючкой, петляла по хлопковым полям — бескрайним просторам. Кривые, чахлые кустики хлопчатника — урожай будет скудным — уже заслонили и церковь и ее накренившуюся деревянную башенку, а до гор все еще было далеко. И ни единой лачуги по пути. Собирать хлопок конукеро спустятся с гор. Будут спать на земле, в канавах, оставив на время свои вырубки. Надо ведь отработать доброму сеньору за землю.

Тадас думал: восстание, революция здесь неизбежны. Звучит это громко, звучит это исторически, а на деле все просто — неизбежны, и точка. Куда денутся дети пеонов, когда подрастут? У каждого ведь не меньше десятка. Предстоят поражения, ошибки, море крови, но победа неизбежна. Их победа.

Вот бы так стянуть одним движением с лица маску, как чулок, отбросить все фамилии и клички! Стать другим. Или просто сказать обо всем Капитану. Вот моя история, ничего от вас не скрыл. Моя родина далеко, хочу завоевать для себя новую. В самом начале, когда этой новой родине трудно. Кровью и потом искупить свою вину. Начать движение по реке от истоков, от первых родников. Я устал предавать. Только поверьте. Поверьте! Все заслонил ядовито-желтый цвет подозрительности. Этой краской заляпан весь мир, она убивает радость жизни. Быть может, это главный цвет наших дней. Никто ведь

не верит ничему. Никто, нигде и никому. Почему ты не отвечал священнику, Ито?! Ведь из-за меня, да? Даже если ты просто глуп и не говорил по глупости, я буду думать, что ты молчал из-за меня. Всегда буду так думать.

«Возьмите меня к себе, Ито! Я прошу о такой малости — чтобы удары приходились в грудь, не в спину. Чтобы справа и слева стояли свои. Чтоб не пришлось горбиться, ожидая пули в затылок. Верь священнику, когда он говорит правду, Ито. Не верь моему прошлому, но верь моим поступкам. Меня прижали к стене, парень. Не могу я больше искать, Ито. Не нахожу. Думаешь, я хуже, чем ты? Мне победа — наша победа — нужна даже больше, чем тебе. У тебя ведь есть родина, Ито!» — кричал Тадас, не размыкая губ, опустив голову и не различая красного, как толченый кирпич, песка, по которому ступали его босые ноги...

Рта не откроешь. И ничего не скажешь. А если посмеешь сказать, Ито ответит: «Мы тебе доверяем». И снова будет думать свою индейскую думу... Почерневшее от солнца плоское лицо, карие глаза метиса, непроницаемые глаза исчезнувших племен...

Может быть, поискать, где этот Эль Аякучо воюет? Может быть, он на самом деле есть? И он — кубинский майор?.. Он-то, наверное, все понял бы... Только где он?..

На закате песок полиловел. Сказочная страна... Земля, созданная для счастья людей. Огромная, до самой стратосферы, призма из чистого воздуха. Белые бутоны хлопка расцвели будто розы. Пустыня, цветущая розами!

Одинокий, забытый в чистом поле тополь купался в золоте. Встав на задние лапки, у самой тропы шевелил усами любопытный суслик.

Они будут жить долго. И дерево, и взошедшая бутонами хлопка степь, и даже суслик. Ито — тоже. Каждый из них — на своем месте. Только он, Тадас, мечется. И еще этот обезумевший священник мечется. Отколовшийся и ни к кому не приставший. С расстроенным рассудком, потому что не в меру чувствителен и слишком умен. Чересчур хорошо все видит. Ход истории видит.

Только в одном ошибся священник.

Им не с кем «связаться». Ни по поводу союзников, ни по поводу собственных акций. Даже если чудом им уда-

лось бы связаться с Капитаном. А кого будет запрашивать Капитан? И что он может ответить, что он знает сам?

XVIII

Когда в окрестностях появились солдаты, волей-неволей пришлось вспомнить про список священника. Но пользовались им недолго.

Солдат было немного, да и те ленивые, одичавшие. Селились у крестьян по двое, по трое. Рано утром, когда еще не было так жарко, ходили друг к другу в гости и к девушкам. Может, это у них называлось патрульной службой, но для солдат это был самый что ни на есть отпуск.

Поначалу Тадас с Ито отнеслись к этому беззаботно, но вскоре заметили, что солдаты действуют по плану. Одна группа остановилась у Эустакио. Солдаты передушили и съели его кур, по вечерам ломали кукурузные початки и варили для себя чокло. Старика не били, не допрашивали, даже не приставали слишком настойчиво с расспросами, только подтрунивали над ним: «А, коммуна! Почему у тебя борода не растет?» Пытались затащить старших дочерей в лес. Старик плакал по ночам, совсем спал с лица. А «школу» солдаты пока не разрушали. Не заметили ее или такое распоряжение имели — не замечать.

Не торопясь солдаты шли по пятам парней и останавливались непременно у тех, где уже побывали Ито и Тадас.

Список оказался ни к чему. Первые двое обрадовались парням, разволновались, даже обнимались с ними — непривычное для гуарани поведение! — но у следующих начиналось что-то непонятное. Крестьянин говорил фамилию, звучащую словно кличка, Ито не мог ответить. Говорил название местности, «где произошло...» — а Ито опять не мог добавить ни слова. Когда говорил Ито, пеон пожимал плечами. Точь-в-точь два китайца из разных провинций. А ходить парни могли только ночью и только с проводником. Не ломиться же им в спящие дома, чтоб спросить дорогу!

Люди из этой таинственной организации все-таки принимали их, кормили, но тут же предупреждали: «Не надо нам о политике. Ничего мы не понимаем. Мы темные крестьяне». Ито с Тадасом снова перебрались в лес, чтобы никому не доставлять хлопот. Без всякого боя они

оказались в окружении. Начались ливни. Тадаса трясла лихорадка, даже Ито иногда не выдерживал. Радио упорно молчало. Они спали вдвоем в одном гамаке, вторым накрывшись от дождя. Новые знакомые все-таки приносили им в лес еду, оставляя ее в условленном месте. Раз в три дня. Было ясно — пора уносить ноги. Но как? До автобуса ведь не добраться ни вместе, ни поодиночке. Патрули на всех перекрестках, без сомнения, уже получили их словесный портрет. А через сельву в Бразилию не уйдешь — не хватит ни сил, ни продуктов. Даже дорогу никто не покажет.

В дождливые ночи, трясясь в лихорадке, прижимаясь к мокрому Ито,— латиноамериканца, видно, коробило от прикосновения мужского тела,— Тадас не раз открывал рот, чтобы сказать правду. Всю правду, до конца. Когда же еще сказать, если не сейчас? Сказать и добавить одну вещь, самую элементарную. Если он, Тадас, не стал для них своим, то проще всего для него сейчас — пойти к солдатам. Пускай доставят его в американскую миссию.

Но ничего не сказал. Побоялся по очень простой причине.

Если Ито действительно коммунист из столицы, то почему он не знает слова, одного-единственного слова, пароля, ключа к местным коммунистам?

Ночью, перед рассветом, под проливным дождем, они услышали крики. Без слова бросились в разные стороны и спрятались за камнями.

— Эгей, только не вздумайте стрелять! Где вы, черти мокрые?!

Это были Стив и Ансельмо. Какое счастье! Стив и Ансельмо. Бодрые, здоровые. В рюкзаках еда. Таблетки хины. Тадас тут же проглотил целую пригоршню. Мешок вяленого мяса — чарки.

Ито появился лишь через полчаса. Вернулся по тропе. Проверял, не привели ли эти двое «хвоста» за собой.

— А вы тут, оказывается, неважно живете! — Стив захохотал, этот хохот жутковато прозвучал в темноте, и, обхватив за плечи, прижал к себе Тадаса.— Дохлые, перепуганные... Может, вы и о сражении под Топекой не слыхали?

— По радио не сообщали.

— Э-э, радио боится рот раскрыть! Страна взорвалась бы, как пороховая бочка. Ну и было же там! Послушайте, да у вас же идеальные условия для партизанской войны!

— По-моему, ты преувеличиваешь.

— Нисколечко! Даже солдаты на месте. И рассеяны. А вы ешьте, не жалко. Такую группку разоружить плевое дело. Двух-трех в первую ночь. И пустить бы их в одном исподнем.

— А дальше? Будут следовать по пятам, сменяясь. Пока оторвешься, сам ноги протянешь. Если бы здесь был весь отряд!..

— Ну, если бы здесь был весь наш отряд, и Капитан, и эти уругвайцы! (Наконец-то Тадас узнал, кто были эти штатские с длинными прическами, на время появившиеся в отряде. Его только удивило, откуда все это известно Стиву.) Может, тебе еще парочку кадровых офицеров с Кубы?.. Конечно, отряд иметь было бы лучше... После всей той работы, что вы здесь проделали. Да и нам везло, с хорошим отрядом мы бы заняли полпровинции!..

— Стив...

— Э!..— тот многозначительно поднял палец.

— Робин, хотел сказать. Я тебя спутал с другим.— Оба улыбнулись, и Тадас растерянно попытался вспомнить, какое же у него самого настоящее имя.— Ты, Робин, любишь обобщения. Социальная база среди крестьян еще не подготовлена. Пеоны с нами не разговаривают. Особенно сейчас. Думаешь, они возьмутся за оружие?

— С Ансельмо они, положим, разговаривают. Знаешь, как нас скрывали? На верхотуре, под самой стрехой дома. Целые сутки солдаты лазили по усадьбе, а мы зевали со скуки под стрехой. Дети и то вели себя великолепно. Ни разу не посмотрели на потолок.

— Если к нам пристанут хоть пятеро крестьян, если они возьмутся за оружие,— впервые заговорил Ансельмо,— солдаты будут сжигать дома, разорять конуко. Тогда отряд вырастет, как горный обвал.

— Вижу, скоро вы завоюете весь мир! — Ито говорил, как и всегда, чуть презрительно. Уже светало. Даже сквозь шум дождя было слышно, как шуршит и шелестит все в сельве.— Первый пеон присоединится лишь тогда, когда увидит непобедимую силу. Когда мы разгромим солдат в открытом сражении. Как вьетнамцы. Не в Топеке и не в Амамбай. Это пеону неинтересно. Здесь! И когда мы победим не раз и даже не три! Когда пеон увидит, что он может защитить свой дом и свою семью! Что может захватить плодородную землю, что может успеть

снять хоть один урожай. И болтовню тут разводить нечего.

— Все верно! — неожиданно согласился Стив.— Дайте где-нибудь вздремнуть. Вы тут отдыхали, а мы, как собаки, пешком шли две ночи. Давайте выспимся и тогда начнем войну.

Шаря по земле в поисках сухого хвороста — в полумраке всюду мерещились змеи,— Тадас не мог отвязаться от мысли, что все эти разговоры только школьная самодеятельность, любительщина, студенческие эксперименты. Эксперименты ценой жизни. Хотя доводы вроде и казались неоспоримыми. Разве здесь иначе что-нибудь сделаешь? Окончательно запутавшись, Тадас решил больше не задумываться. Как ни верти, только здесь он может пойти своей последней картой. И нечего больше растравлять себе душу. Сойдешь с ума и даже драться не сможешь.

Утром диктор Асунсьона, захлебываясь от энтузиазма, читал сводку о полной победе парагвайской армии над сворой бандитов — дезертиров и наймитов чужой державы — под деревней Идальго.

— Пропаганда! — бросил Ансельмо, но парни, приникнув к крохотному транзистору, боялись захрустеть веткой, когда после оглушительных маршей диктор, торжественно завывая в лучших традициях Латинской Америки, стал перечислять убитых, взятых в плен, рассеянных врагов.

«В столкновении погиб — был ранен и подорвался на гранате бывший капитан военной авиации, с позором изгнанный из ее рядов, дезертир и главарь дезертиров Гаспаро де ла Сеспед Вега!» И тут снова грянул немецкий марш.

Парни посмотрели на Ансельмо.

— Где сигареты? — спросил тот и долго чиркал промокшими спичками.— Да, это он. Капитан. Его фамилия.

Из потрескивающего ящичка как из рога изобилия сыпались репортажи «прямо с поля боя», хвастались победой майоры и полковники, перечисляли тьму фамилий высших офицеров, потом снова передавали музыку, а через минуту и первые признания пленных.

— Странно...— сказал Стив.— А ведь у него была такая сеть в столице. Даже радиосвязь.

— Как и другие военные...— Ансельмо жадно затянулся дымом.— Как и другие военные в нашей истории,

он уповал на военную организацию и пренебрегал политической. Что ж, нам пора. Пойдем?

— Куда?!

— К Комиссару. Я знаю, где он и что делает. Только у Комиссара...— Ансельмо исподлобья, не поворачивая головы, оглядел всех троих. Трудно было сказать, на ком из них остановился его взгляд.— У Комиссара все по-другому. Чем мы здесь занимались, с кем говорили, о чем говорили — ему знать не надо. Скрывались, и ладно. Ну, там видно будет.

Ансельмо тронулся в путь первым, через полчаса — Стив. Все четверо шли такой растянутой цепью. Даже лагерь успели привести в порядок. Ливень спрячет последние следы.

XIX

У Комиссара был рай. Отряд обосновался в поместье, в центре огромной латифундии, распростершейся среди гор, лесов и долин. Под портиком в тени белых колонн сидели часовые. Пять пеонов. Босые, зато с портупеями и винтовками. На манеже, возле конюшни, большой отряд пеонов, человек двести, шагали, делали повороты, ложились, вставали. Многие с палками вместо винтовок, и все босиком. Ими командовал капрал — он сидел на стуле, не вынимал изо рта сигары.

Парней привели люди с заставы, точнее — привезли на ходком колесном тракторе. На первый пост они наткнулись далеко от поместья, примерно в сотне километров.

— Правильно, что прибыли ко мне,— сказал Комиссар, пожимая руки и с улыбкой хлопая каждого по плечу.— Слышали передачу «Амазонки»?

— Нет. Батареи сели.

— Сами видите, как получилось с Гаспаро...— На лице Комиссара не было печали. Новая, с иголочки, форма, на погонах — капитанские звездочки.— Кстати, этого и следовало ожидать. Горячая голова, терпения ему не хватало. С нами такого не будет. Подыщите место, где спать, отдохните денька два, а потом я найду для вас дело. С нами это не пройдет! Мощная сила собирается. Войдем в Асунсьон со всех четырех сторон, на танках и бронетранспортерах.

В бывшей батрацкой столовой парни лишь под столом нашли место, чтобы подвесить свои гамаки. На полу спали крестьяне, видимо, после ночного дозора. Кто-то што-

пал одежду, двое, отвернувшись к стене, ели с бананового листа. Стоял полуразобранный пулемет. Воняло казармой.

У Стива заблестели глаза. Достав пачку сигарет, он направился к пеонам.

— Алло! — подозвал его Ансельмо и вполголоса объяснил по-английски: — Не лезь ты к ним. Здесь лучше знакомство не заводить.

— Пошел ты к черту!

— Говорю — не лезь. Иди лучше спать.

Над поместьем кружили разведывательные самолеты. Небольшие винтовые авиетки. Когда они появлялись, кадровые солдаты собирали пеонов-«зенитчиков». Уложат, укажут дистанцию и «Fuego!»[1] — шпарят без патронов. Бывшие солдаты красовались в обносках мундиров и, кажется, рады были вольготной жизни и положению инструкторов. Пеоны были здешние, из поместья. Скорбные, по привычке глядели больше в землю. Тадас подумал: в этой стране, наверно, все крестьяне такие.

Помещик находился под домашним арестом, но парни не раз видели, как он верхом отбывает на охоту. То один, то в сопровождении слуг. Коренастый, с усиками, в легкой накрахмаленной шляпе, в коричневых, зашнурованных до колен сапогах. Идет мимо людей и их не видит. Комиссару он приходился дядей.

— Неплохо устроился! — возмущался Стив. Если восстание победит, помещик станет министром. Если потерпит провал, жертва террористов получит компенсацию. У него наверняка все застраховано... Если вообще следует называть повстанцами этих мобилизованных крестьян.

— Значит, уже полез к людям? — Ансельмо грозно посмотрел на него.— Перестань, тебе говорят!! Все испортишь! Не время сейчас разводить политику. Воевать надо. Если не нравится — никто тебя сюда не звал! Сами разберемся!

— Не кричи. И ты, и я — все мы здесь на одинаковых правах. Всех нас не звали.

— Не время сейчас поднимать красный флаг. Капитан поднимал. Че Гевара поднимал. Сперва надо доказать, что мы умеем воевать.

— И этим помочь новому диктатору? Ох, как славно потом он всех нас пересажает!

---

[1] Огонь! *(исп.)*

— Что ж, иди поднимай восстание крестьян за землю. Может, вернешься в Майари?! Там тебя уже знают. Кличут веселым гринго. А я посмотрю!

— Ну конечно, посмотришь. Ито будет смотреть, Комиссар. Ревизионисты вы и примиренцы — вот кто! А как потом вы свергнете нового, сильного диктатора? И сколько веков может крутиться одно и то же, одно и то же колесо?

— Любой из них будет лучше, чем Стресснер. Нам нужно победить, а не купаться в крови. Достаточно уже купались. Сколько ее и осталось-то...

Ансельмо повернулся и зашагал к женщинам, которые в тени вяза на трех кострах жарили говядину.

По вечерам пеоны тянули у костров заунывные песни гуарани. Во дворе поместья собираться им не разрешали, они уходили за сараи, в которых выдерживали табак, на край заросшего кустами обрыва. Приходили женщины из дальних деревень, кругом кишели дети. Музыкальные инструменты были незамысловатые: трехструнная гитара, которую держали отвесно, как виолончель, и обыкновенная гитара. Один начинает песню, потом все подхватывают, бормоча, будто молитву. Тадасу сказали, что по приглашению Комиссара колдун — ава-паие — тоже перебрался в лагерь. Дважды приходил сын вождя— касика — далекого лесного племени. Стоял в стороне, опираясь на копье, в другой руке держал длинную деревянную трубку из двух частей. Приземистый, плечистый, почти голый. Длинные, распущенные волосы, а на шее пестрые бусы и маленький транзистор. Транзистор молчал — не включен или испорчен. Три спутника стояли у него за спиной. Пришли, постояли и исчезли, не сказав ни слова. Пеоны даже не пытались вступить с ними в беседу. И не смогли бы: лишь местный колдун знал язык этого лесного далекого племени. В поместье, кажется, ждали самого касика. Тадас удивился, что, блуждая по лесам, они ни разу не натыкались на следы коренных индейцев.

Парни отъелись, отоспались. Стив подыскал парочку бойких старых дев. До начала военных действий Комиссар так и не нашел для них занятия.

— Вы — мой стратегический резерв,— отечески хлопал он их по плечу при встрече.

Если бы не нападение, их временная феодальная республика просуществовала бы до скончания веков. Контрабандисты привозили им патроны, не слишком ржавые немецкие автоматы. За оружие они забирали уйму тюков ма-

тэ, папуш табака, связок шкур. У пеонов и их семей еды сейчас оказалось больше, а работы куда меньше.

Об осаде первыми тоже сообщили контрабандисты. Жаловались, что Парагвай стал лучше охранять границу, да и бразильцы укрепили посты на своей стороне. А вскоре они вовсе перестали приходить Гроза сгущалась исподволь. То тут, то там на огромном холмистом плато, в голубых лесах предгорий взрывались снаряды. Вечерами, когда затихал ветер, можно было различить и пулеметы. Вначале короткие арии, вроде пения беспокойного, проснувшегося среди ночи петуха, а потом и дуэты. Время шло, все привыкли к этому грохоту и треску то в одной, то в другой стороне. Особенно на юге, где гряда холмов расступалась, образуя долину шириной в десяток километров.

Появились первые раненые. Их доставляли на повозках для сахарного тростника, запряженных волами. Колеса высотой в полтора человеческих роста сколочены из массивных досок; толстые деревянные оси, клинья поперек осей, чтобы не соскочили колеса,— все это скрипело, тряслось и шаталось. Тихими были только волы, по десятку запряженные в одну повозку, погонщики и сами раненые. С землистыми лицами, с закрытыми глазами. Казалось, что никто их не жалеет. Даже женщны, лениво и бесшумно хлопотавшие в помещичьем доме (над крышей теперь был поднят флаг с красным крестом). С пленными, а их уже было десятка полтора, церемонились еще меньше. Переоденут в белую одежонку пеонов и посылают «на фронт». Появлялись и новые бойцы. Они приходили то по одному, то группками.

Комиссара парни встречали редко. Он носился по латифундии на джипе с солдатами личной охраны.

— Знаю, понимаю! — отмахивался он от них, словно от назойливых мух.— Но что вам сейчас делать? Правительственные войска не атакуют, боятся нас. Пока мы держимся неплохо. Вот когда явятся американские парашютисты, «зеленые береты», тогда работа найдется и для вас!

— Вчетвером их раздолбаем, да? — Стив держался за руль джипа, чтоб Комиссар снова не сбежал. Стив уже не раз подбивал парней, не ожидая позволения Комиссара, отправиться в южный сектор.

— Ох уж эти мне коммунисты! — Комиссар хохотал, откинув голову,— так и сверкали белые крепкие зубы на кирпичного цвета лице. Он был доволен жизнью, доволен ходом событий.— Когда придут американцы, для всех най-

дется работа. Пускай только скорей приходят.— Он погладил рукав Стива.— Потерпи. Как только сапог чужеземца ступит на священную землю Парагвая, восстанет весь народ! Такая свистопляска поднимется, какой свет не видал! Дети и женщины возьмутся за оружие, камни взорвутся у них под ногами, реки выйдут из берегов! Нам надо только продержаться, сохранить очаг сопротивления.

Утро двенадцатого июня было безоблачно. Ито сказал, что дожди кончились, теперь их не будет до середины ноября. Примерно около десяти часов Тадас увидел в синеве над равниной ряд черных точек и лишь потом услышал тяжелый басовитый гул. Пеоны смотрели, задрав головы. Стив вылетел из столовой как ошпаренный и заорал, размахивая руками:

— В овраг, в кусты все! Раненых несите! Оружие, оружие спасайте! Где пулемет? — он путал испанские и английские слова, ругался на языке гуарани. Но пеоны, увлекшись видом небесных гостей, не слушали его. Стив толкнул кулаком Тадаса, и тот полетел с откоса по щебенке и камням. Вслед за ними скатились какие-то женщины. Ансельмо швырнул сверху винтовки. Подняв голову, Тадас заметил в поле пеонов в белых штанах, которые, стоя, стреляли вверх, потом увидел, как первый вертолет (грузный, темно-зеленый, четырехугольное днище уже у них над головами, иллюминаторов не видать) наклонился и полыхнул огнем. И тут же бабахнуло во дворе, в бараке столовой, между пеонами в белых штанах; дохнул жаркий воздух. Тадас уткнулся носом в щебенку, закрыл затылок руками. Подумал о винтовках. Одна оказалась незаряженной, схватил другую, вспомнил, что на нем патронташ, пятясь, перешел вброд ручей, на той стороне, на откосе, увидел Стива, опустившегося на одно колено; легкий пулемет метался у него в руках. Первый вертолет, накренившись, уже не спеша поднимался, на его место снижался, словно собираясь приземлиться, второй. Наискосок вниз от него протянулись пряди серого дыма. Тадас успел даже разглядеть, как две ракеты влетели в окна больницы, как подскочила объятая пламенем крыша. Тадас понял, что вертолетчик стреляет и видит все, знает, что попал — должен был попасть. Вертолет летал над самой головой, бездушный, как робот, и, как робота, его не брала пуля. Выпустив все свои ракеты, вертолет подпрыгнул и пошел косо вверх, уступая место третьему. Было похоже на брачную пляску саранчи, на парад, на учения, но раздавались выст-

релы, бухали взрывы, слышались звериные крики раненых и сгорающих живьем людей. Двенадцать вертолетов опускались над поместьем, хотя хватило бы и трех. Все полыхало огнем. Последний, двенадцатый, выпустив свои ракеты, еще прошелся для порядка пулеметами по оврагам и кустам и погнался за удаляющейся в синеве вереницей.

Тадас выбрался из речки мокрый, со слезами на глазах, он оглох от взрывов. Первой мыслью было — выбраться из оврага и бежать куда глаза глядят, подальше от горящего поместья, от капрала, напоровшегося горлом на сук вяза (может, жив еще, сук трясется, только лицо странно перекошено, смотрит назад), подальше от того места, куда вот-вот вернутся темно-зеленые, безглазые железные чудища.

Через полчаса, уже далеко на равнине, среди высокой травы, сочной, еще не тронутой засухой масенги, которая безмятежно колыхалась на ветру, словно в мире так ничего и не произошло, Тадас понял, что он один в чистом поле и никуда не убежит. Бросился ничком и лежал, задыхаясь, укрытый стеблями травы от всего мира. Совершенно одинок и свободен, пока одинок. Без взглядов в спину и без долга. Даже без долга остаться в живых. Это ведь тоже вид свободы. Но в далеком лесу — заставы. Одна, а потом другие. И дальше, на всех континентах, по всему миру — заставы, заставы, одни заставы.

Тадас вцепился пальцами в бурую, сохнущую после ливней землю, выдирая комья с прожилками белых корней. Это — его земля. Земля, что под ним,— это только его. Он проползет вперед — и это тоже будет его земля. Что под ним. А больше у него нет ничего. Он даже не знает, кто уцелел в поместье. Какая боль и какой новый долг ждут его там.

До вечера Тадас пролежал в степи. Трудно было отказаться от тишины и одного квадратного метра свободы.

XX

— Ну что, наложил в штаны? Думаешь, конец войне? — встретил его Стив. Он был замурзанный и злой. Рукав оторван, на локте — пропитанная кровью повязка.— Если они могут лишь столько — они могут мало.

— Что с рукой?

— Ерунда! — Стив непристойно выругался.— Разве это стрельба? Мясники!

— Американцы. Морская пехота.

— Ни черта! Знаки Стресснера, слепой ты, что ли?

— Бронированные вертолеты.

— Этого добра везде хватает. Посадили плохо обученных полицейских. Хорошие солдаты всех бы нас уложили наповал. Так нам и надо, конечно. Тоже мне вояки...

Поместья как не бывало. Лишь удушливый, зловонный дым поднимался в сумерках над фундаментом больницы, над двумя опрокинутыми грузовиками, над закоптелыми стенами помещичьего дома и зияющими проемами окон. На крыльце лежал вол с распухшим брюхом.

— Я тебя ждал,— сказал Стив.— Видел, как ты чесал. Думаю, не иначе как спятил парень.

— Где... другие?

— Давай посидим малость. Не люблю похорон. Не знаю, что на них делать. Покурим, что ли.

— Остались в живых... наши?..

— Живут. Куда им деться. Женщин перебили. И раненых. Всех, кто был в бараке.

— А там? — Тадас взмахнул в темноте рукой.

— Тихо. Пока не лезут.

— Значит, сверху будут щелкать. Помаленьку.

— Да...

Утром, едва взошло солнце, снова прилетели вертолеты. Те же самые, двенадцать штук. Теперь они двигались широким фронтом. Научились. Постреляв по развалинам, целых полчаса носились над пампасами, охотясь за отдельными людьми.

За ночь приготовили два крупнокалиберных пулемета. Но они постреляли недолго. Сразу же, несколькими ракетами еще первый вертолет подавил их, а потом забросал напалмом. Взрывы были не ахти какие, зато пламя — белое, ярче солнца, и в небо долго валили клубы дыма. Что же там горит все-таки? Неужели тела могут так долго гореть?

— Теперь будет спокойный день,— сказал Ансельмо.— Кончился у них бензин и боеприпасы. Aniara-ij! А пока доставят по этим нашим дорогам... Восемьсот километров до Асунсьона.

По приказу Комиссара парни за ночь выкопали нору далеко от основных сил, на полпути к лесу. И не стреляли. Какой толк от этой стрельбы?..

Однако через час вертолеты появились снова. И снова. Потом две пары самолетов швыряли напалм. И снова вертолеты.

Стив мочился прямо в норе. И ругался весь день не переставая.

— Восемьсот километров, значит! — И тут же очередь по-шведски или по-турецки.— У них было время, чтобы построить цистерны у нас под носом. А то и открыть целый завод «Эксон». Разве им мешали? Тактика территориальной обороны, эх! — и снова очередь...

Радио Асунсьона передавало аргентинское танго, потом музыку на гитаре, бразильцы — детективную пьесу. Уругвай говорил о ценах на мировом рынке, «Голос Америки» давал репортаж о поездке президента на Аляску. Пекин нес какую-то чушь о разведении рыбы в прудах. Московская станция, вещавшая по-испански, слышна была плохо, но можно было разобрать, что речь идет об облегчении женского труда.

Ночью приехал Комиссар.

— Сбор в лесу, у Черной горы! — крикнул, не вылезая из джипа с потушенными фарами.—Убитые, раненые есть?

— Нет,— ответил Ансельмо.— Есть только утонувшие.

— Если есть убитые, оставьте у выхода из пещеры, суньте в руку палку. У северного склона горы! — И джип укатил, подпрыгивая на камнях.

Ночью бомбили лес. Не особенно метко, но все-таки чаще там, где находились люди. Не пошевельнешься. Какие-то женщины заметались по лесу — искали потерявшихся детей — и сразу же погибли.

Вертолеты висели над головой, над густой крышей листвы. Слух чутко улавливал негромкий взрыв и «швыиу-у-ух-ф-ф» — вой, который заставлял сжиматься в комок, от которого прошибал вонючий пот, зубы отбивали дробь, а в отчаянно зажмуренных глазах вспыхивал зеленый свет. Осколочная упадет рядом! Метит тебе в спину!

— Даже фонарей... Даже парашютных фонарей не вешают!..— будто маньяк, повторял Ито. Он сидел на корточках между стволами каобы и в короткие минуты затишья рыл окоп. Только он догадался прихватить лопату.

— Замолчи! На что тебе эти фонари? — крикнул Стив. Он валялся на траве, за камнем, словно его не брали бомбы, и — в полумраке было видно — сжимал ладонями виски.— Они прекрасно видят и в темноте. У них инфракрасная оптика! Даже видят дымок, когда ты воздух портишь.

— Чего ждет Комиссар?! Надо что-то делать, чего он ждет?

— Ну и осел же ты!.. Пока в Америке не кончатся ракеты. И бензин...

Солнце взошло на ясном небе, не было ни малейшей

надежды на тучи. В минуту передышки, точнее, когда вертолеты долбали другой край леса, парни бросились на поиски более безопасного места. Людей не встретили, видно, все успели рассеяться. Видели только вонючие воронки, нашли два трупа и группу раненых, сидящих в густых зарослях. Ни одно место не казалось безопасным. Наконец наткнулись на пеона с карабином в руке.

— Сюда, сюда! — махнул тот карабином, словно надзиратель заключенным.— Вас все утро ищут.

Пещера была большая и светлая, вроде каменной шляпы, прислоненной к горе. Войти можно было с двух сторон. Над пещерой росли похожие на сосенки деревца — казуарины.

Не дожидаясь команды, парни направились в глубь пещеры. В «прихожую» не то что осколки — целая ракета могла залететь. В полумраке у влажных глиняных стен сидели на корточках безмолвные люди. Другие лежали. Комиссара не было видно.

— Ну что ж, вздремнем,— сказал Стив.

Но в эту минуту снова послышался гул вертолетов. Они ревели не переставая. Лучше бы уж стреляли. Летят, наверно, над горой. Ухнули взрывы, но где-то поодаль. Когда вертолеты наконец-то замолкли, улетели куда-то, на душе легче не стало. Наверняка они разведали местность и улетели за боеприпасами!.. А может, и ничего они здесь не разглядели...

Комиссар появился неожиданно, как привидение — просто вышел из стены. Заляпанный глиной, блестят только погоны да пуговицы да еще белые зубы сверкают.

— Где шлялись? Говорил же я — у Черной горы!..

— Морских пехотинцев поджидали...— Стив достал из кармана сплющенную пачку сигарет.— Американцев. Без них, знаете ли, как-то не разгорается народное восстание. И камни не взрываются, и реки что-то не выходят из берегов...

— Молчать!! — рявкнул Комиссар.— Как разговариваешь с офицером?! Смирно! Руки по швам! Как винтовки держите?

Парни вытянулись в струнку, но Стив не положил сигарет в карман.

— В армии нас не учили есть глазами офицеров...

— Это революционная армия, и я вас научу дисциплине! Банда анархистов! Парочка взрывов — и разбежались, как паршивые овцы.

— Можно? — Стив приложил ладонь к соломенной шляпе, неуклюже отдавая честь.

— Будешь говорить, когда я скажу.

— Слушаюсь! Я насчет паники... Как раз хотел предложить... Надо бы к бензину подобраться... К заправочной станции этих вертолетов...

— Знаю! Я сам знаю, что нужно и что ни к чему! Так! За непочтительное поведение — неделя ареста! По окончании военных действий. Второго предупреждения не будет.

— Есть неделя ареста! — ответил Стив и так молодцевато прищелкнул своими шлепанцами, что всех забрызгал грязью. То ли нарочно, то ли, черт, про устав вспомнил.

Комиссар, не забыв скомандовать «вольно», повел их в свою нишу, вырубленную в глине, и сел на единственный стул. На ящике из-под патронов горела карбидная лампа, были свалены бумаги.

— Слушайте оперативный приказ. Секретный и жизненно важный для всех нас, для парагвайской революции.

Комиссар обвел взглядом парней, застывших в давящей тишине подземелья.

— Через пять минут вы выступаете в городок Альмендарес. Продвигаетесь один за другим на расстоянии километра, оружие легкое, замаскированное. Не забудьте о гранатах. В светло-зеленом коттедже, в километре от сахарного завода, берете инженера. Американца. С женой и четырьмя детьми. В темно-зеленом коттедже, по соседству, берете директора. Тоже с женой, если не успел ее выслать. Не спутайте! Там живет и вице-директор, парагваец, он нам пока ни к чему. Из церкви берете немца-священника. Дальше. Допрашиваете заложников — каждого в отдельности — и, если выяснится, что в городке имеются журналисты-иностранцы, берете их тоже. Скорее всего, они поселились в мотеле «Сигло». Любых других иностранцев — также. Сами в мотель не ходите. Пошлите кого-нибудь из заложников. Но так пошлите, чтобы он вернулся не один, чтобы железно. Сумеете?

— Все ясно,— ответил Стив.

— Ни черта вам еще не ясно! Пленных должны доставить живыми. Я знаю, о чем ты думаешь! В каждом коттедже оставите вот эти запечатанные конверты. Заложников с семьями усадите в джипы. Там их сколько угодно. Пускай сами и ведут машины. Проверьте бензин, масло, аккумуляторы. Чтоб был полный порядок. Над машинами поднимете или прикрепите к капотам по большому амери-

канскому флагу. Не найдете флагов, поднимете по белой простыне, чтоб с воздуха было видно. Перед тем как забрать их, заставьте заложников — вы поняли? — позвонить в Асунсьон. Пускай они скажут следующее: «Группа повстанцев похитила нас и везет к Черной горе в машинах, которые можно опознать. Ведут себя корректно». Больше ни слова, отнимете трубку. Теперь ясно?

Парни молчали.

— Задание первостепенной важности, и вы обязаны выполнить его. Если по дороге в городок кто-нибудь из вас погибнет или будет ранен, оставьте его на дороге. Задание выполнят оставшиеся в живых. За вами пойдут мои люди, они прикроют вас в случае необходимости. И встретят вас, когда будете возвращаться. Вопросы есть?

Тадас подумал: может, в городке удастся достать башмаки. И зубную пасту.

Стив снова приложил руку к шляпе и учтиво наклонился к Комиссару.

— Позвольте обратиться, господин капитан!

— Ну? — Комиссар недовольно поморщился.— Только без глупостей.

— Есть без глупостей! Я хотел спросить, известно ли господину комиссару, что нас, то есть меня и Орландо, в Штатах за эту затею ждет один такой стул? За киднепинг. За похищение людей. Если мы останемся в живых, разумеется. Я имею в виду электрический стул, господин комиссар.

— Ну?

— Вот и все. Я хотел спросить, известно ли вам это.

— А за невыполнение приказа? — Комиссар не повышал голоса.

— О да, да, это-то мне известно.

Карбидная лампа булькала, словно глотая что-то. В свете белого пламени лица всех были мертвенно бледны.

— Вы, полагаю, знали, куда и зачем идете! — задумчиво сказал Комиссар.— Без крови и жертв не обходится ни одна революция. Вам, как марксистам, об этом особенно хорошо известно... Нельзя воевать, не сжигая за собой мостов, с оглядкой. Или — или. Кроме того, никого больше я послать не могу. Только вы можете справиться с этим заданием. Что же вам еще неясно?

Четверо парней переглянулись и не сказали ни слова.

— Что ж, тогда с божьей помощью — в путь!

Лишь в полдень, шагая в одиночестве по извилистой

охотничьей тропе и погрузившись в свои мысли, Тадас почему-то подумал, что изменился лексикон Комиссара. И бога поминает, и не возражает, когда Стив величает его господином. И еще подумал, что Комиссар, как ни крути, производит впечатление честного человека. Не утешает и не обещает ничего. Да и, собственно, что он может обещать?

Операция удалась легче, чем Тадас мог надеяться.

До городка они добрались без труда. Вертолеты им не мешали. Целый день они кружили над базой, потом — севернее. Бабахали так, что земля дрожала. Слышны были пулеметы, винтовочные залпы. Может, так совпало, а может, Комиссар проводил отвлекающий маневр. Вначале Тадас высматривал на ходу места, куда бежать, если налетят вертолеты, но потом просто прибавил шагу.

Встретились они на опушке. Одеты были, как американцы в тропиках. Даже побрились. Перед тем как выйти на открытую местность, Тадасу нестерпимо захотелось присесть на корточки за кустом. Другие тоже, как по команде, последовали его примеру. А потом все вместе двинулись прямо к первым домам городка, перед которыми чернел бронетранспортер. На дорогу выскочил капрал с солдатом, попытались остановить их, но Стив только плечами пожал и с улыбкой отстранил их — таких маленьких по сравнению с ним — с дороги. Из стоящей рядом палатки выглянули любопытные солдаты. Капрал семенил рядом, пока Ансельмо презрительно не буркнул ему, что это — советники из Северной Америки. Капрал так и остался на дороге. По-видимому, решил, что это гринго идут в городок. Повернувшись, бросился к своей палатке, наверное, к телефону, но парни знали, что у них еще есть время, пока солдаты выяснят, кто они такие. Провода-то успели перерезать.

Никто из заложников не оказал сопротивления. Напротив, они сами успокаивали парней. «Только не нервничайте, спокойнее, ребята. Чтобы только нечаянно беды не случилось...» Какое уж там сопротивление! В комнате инженера Стив достал противотанковую гранату и, зажав в правой руке, левой сорвал предохранитель. Объяснил, в чем дело, и инженер немедленно поднял руки. Его жена поначалу заплакала, но когда и дети принялись реветь, перестала, успокоила их, одела, взяла пледы, приготовила запас продуктов. Это была рассудительная и энергичная женщина, костлявая блондинка с большими голубыми глазами, на полголовы выше своего плешивого очкастого мужа. Когда взяли в плен директора и усадили его во второй

джип, Стив решил именно ее послать за священником. Вскоре они явились оба, священник — с дароносицей. Инженершу и в гостиницу отправили. Она сразу усвоила, что чем больше будет иностранцев, особенно газетчиков, тем меньше им грозит опасность. Привела троих. Один, правда, на поверку оказался парагвайцем. Журналисты явились с пишущими машинками и даже со своей рацией. Вначале они затряслись, поняв, куда их заманили, но инженерша успокоила их:

— Я же вам сказала: сможете передать первоклассный репортаж! А что, мы одни с детьми должны рисковать?

Было похоже, что все выбираются на пикник на лоне природы. Вскоре пленники уже дружески трепались с парнями,— наверное, надеялись хоть задобрить их. Были, правда, и кое-какие неудобства: приходилось держать под рубашкой пистолет наготове, и Тадас то и дело поглядывал на Стива — не онемела ли у того рука с гранатой. Поскольку директор фабрики действительно успел услать свою семью в Штаты, во второй машине оказалось лишнее место. Инженерша попросила вернуться и прихватить няню детей — индианку. Вернулись за няней. Инженер, начинавший приходить в себя, надумал позвонить в местную жандармерию — попросить шефа не строить им препятствий.

— Не хочу, чтобы из-за нас проливали кровь! — высокомерно объяснил он.

Парни, посоветовавшись, позволили и это. Так, пожалуй, будет безопасней. Только Стив послал Ансельмо к другому аппарату подслушивать. И директору они разрешили дать последние указания своему заместителю.

Городок, кажется, уже обо всем знал. На них глазели из темных проемов дверей, сквозь щели ставней. Улицы были пустынны, даже дети куда-то подевались. Ни солдат, ни полицейских. Тадасу показалось, что из одного окна кто-то их снимал, но решил не стрелять. Зачем лишний риск? И бронетранспортер они объехали, подняв целых четыре флага. Солдаты стояли на гусеницах и смотрели во все глаза. Действительно, что им оставалось делать?.. На дороге Стив приказал гнать со скоростью сто километров в час. Они надеялись до сумерек добраться до базы.

XXI

— А это кто такие? — сурово спросил Комиссар. Выйдя из пещеры, он щурился в лучах закатного солнца.

— Заложники, Комиссар! — не спуская с него взгляда,

ответил Стив и козырнул.— Заложники. Согласно приказу.

— Я тебя спрашиваю, кто они такие? Что ты выдумал? — Лицо Комиссара перекосилось и налилось кровью.

— Ну, американцы... Приказ... Пятеро американцев, священник, один журналист из Асунсьона. Дети инженера, их няня...

— Женщины, дети, священники, штатские!..— Комиссар закрыл ладонями лицо и злобно процедил: — Какой позор!.. Что здесь творится? Это у вас, у коммунистов, подобные методы борьбы?

— Нет, господин капитан,— голос Стива вдруг изменился. Теперь он улыбался и говорил ласково, как с дамой в гостиничном холле. Притом не сводил глаз с Комиссара и медленно пятился к джипу.— Это ваши методы! Мы выполнили приказ! Точно выполнили, господин комиссар!

— Какой еще приказ?.. А ну, бросай оружие! — вдруг взвизгнул он, видя, что рука Стива юркнула под рубашку.

Сержант, все время стоявший за их спиной, ударом приклада свалил Стива на землю. Стив ударился головой о камень, и под колеса покатилась его противотанковая граната с выдернутым предохранителем.

Мертвая тишина— под колесами нельзя было рассмотреть гранату,— казалось, длилась вечность. Потом Стив захрипел. Словно по команде завопили дети. Американцы кричали: «Что здесь творится? Убийцы!.. Осторожней!.. Они все с гранатами...»

Все перекрыл голос Комиссара:

— Бандиты!.. Взять их!

Тадасу тоже заломили за спину руки. Он еще видел, как поднял руки и что-то крикнул Ито, как бросился бежать Ансельмо и как упал под стрекот автоматов со всех сторон. Упал и больше не шелохнулся: руки выброшены вперед, словно он хотел обнять землю или в последний миг протянуть их в сторону дома, к Асунсьону.

— Бандиты!.. Проклятые анархо-коммунисты! — слышал Тадас, как разоряется Комиссар возле джипов.

Со связанными руками и ногами Тадаса швырнули на липкую глину в нишу командира. По-прежнему булькала карбидная лампа, но тут уже не было ни стула, ни ящика. Пустая ниша. Два солдата остались с ним, прислонились к мокрой стене и закурили.

Первая мысль была о Стиве. Наверняка раздробили, сволочи, плечо или руку. Куда его дели?..

Жидкая глина набилась в нос. Он заерзал. Солдаты не

мешали ему перевернуться на бок. Теперь было малость удобнее.

— За что вы так?..— спросил он у солдат.

— Молчи, коми! — один угрожающе поднял приклад, другой добавил:

— Приказано молчать.

— Когда приказано? Ведь мы только вернулись. Когда же он успел?..

Один из солдат пнул Тадаса башмаком в бок. От боли перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. Другой сказал:

— Лучше кончай свою пропаганду. Убьют тебя, и вся недолга.

Первый, обрадовавшись возможности избивать связанного человека, да еще белого, ждал, нагнувшись, как для прыжка. Тадас замолк. Только в голове каруселью вертелись невысказанные слова и вопросы. Важные слова, роковые вопросы. Но ведь эти с ним говорить не станут. Надо во всем разобраться самому. Как можно быстрей понять, что к чему.

Он угодил в скверную переделку. Попался на примитивную удочку примитивной твари. Типичная игра грязного политикана.

Но какая свинья все-таки! Какая невообразимая скотина. «Стратегический резерв», ха!.. Он же заранее все спланировал. Несколько вариантов спланировал, на все случаи жизни. Комиссар не намерен проигрывать.

Гора над головой Тадаса подавляла мысли. Они не могли вырваться из заточения, охватить все и вся, хотя это сейчас — самое важное... Срочно все проанализировать и выбрать единственно верный путь для спасения! О родине он уже не вспоминал. Мысль отказывалась работать в этом направлении, самом невероятном. Главное — остановить дурацкую, никак не оправданную смерть. Его собственную смерть. Спасти себя, свою плоть, свой язык от гниения. Язык, гниющий во рту... Осклизлый язык за сжатыми мертвыми зубами.

Должен же быть выход! В сущности, он есть. Один-единственный выход! Жаль, конечно, не дали пожить честно. А он ведь хотел, он боролся за правду... Какую?

В мыслях Тадас перебрал людей, находящихся здесь, у Черной горы. Солдаты, крестьяне, Комиссар, женщины. Все отпадают.

«Заложники»? Это уже кое-что. Директор сахарного

завода? Энергичный, должен уметь управлять людьми. Но он-то больше других перепуган. У него завод на плечах, карьера. От страха даже потерял дар речи. Будет думать о себе.

Журналисты? Парагваец не в счет, только эти двое, американцы. Новички в этой стране, все им здесь в один цвет. Однако должны бы чувствовать себя в безопасности. Журналистов не убивают. Но знают ли они об этом? Какая это тема для них, просто находка!

Значит, журналисты. Инженер с женой не посмеют противоречить, они думают только о детях, пледах да термосах.

Ах да, еще священник. Немец. Что ж, кое-какой выбор есть, но ошибиться нельзя.

Священник или журналист? Если журналист, то который из них и как приступить к делу?

Пинком в бок его подняли на ноги. Будто куль с мукой, вытащили на свет дня. Мокрой тряпкой вытерли лицо, освободили ноги, а руки оставили связанными за спиной.

Светло, зелено, щебет птиц! Даже закружилась голова.

— Пить,— попросил Тадас.

Солдат посмотрел на Комиссара, сидящего посреди поляны на ящике. Тот кивнул головой, и солдат поднес к губам Тадаса фляжку. Облил грудь, дал напиться.

Наконец-то он смог оглядеться. Лишь Комиссар сидел, держа перед собой лист бумаги. Справа от него стоял солдат, слева — пеон, переминаясь босыми ногами. Крестьяне, солдаты, крестьянки, обнявшие своих детей, стояли поодаль, заложники — в стороне, возле джипов, словно соблюдая нейтралитет. Тадас видел все ясно и отчетливо. Когда два солдата привели Стива с подвязанной на груди рукой, Тадас увидел, как побледнел и сник его друг. Подмигнул было ему, ободряя, но тут же застеснялся. Ведь Стиву больно. И ему не поможешь. Ему-то уж не поможет ничто.

Комиссар встал, оправил френч.

— Заседание повстанческого трибунала считаю открытым. Председательствую я, члены трибунала — восставший солдат и восставший крестьянин.— Комиссар торжественно поклонился в одну, затем в другую сторону, но фамилий не назвал.— Мы судим двух изменников. Двух агентов чужой страны и чужой идеологии, враждебной парагвайскому народу. Двух коммунистов. Проникнув в ряды борцов против кровавого тирана, которые сражаются за свободу, демократию и законность в Парагвае, они пытались

повернуть наше движение в коммунистическом направлении. Они вели среди повстанцев подрывную деятельность, создавали сеть наемников из числа немногочисленных отсталых крестьян, натравливали одних парагвайцев на других. Предвидя полный провал своих жалких попыток, вчера они совершили тщательно подготовленный провокационный акт, которым попытались дискредитировать наше движение в глазах всего демократического мира, рассорить Парагвай с нашим великим соседом, защитником свободы на западном полушарии и во всем мире — Соединенными Штатами Америки,— и уничтожить таким образом наше славное движение во имя своих далеко идущих целей.

Где же Ито? Неужели его уже убили?

— Эта провокация провалилась и была задушена в зародыше. Печать и народ Парагвая, военные силы, пока еще подвластные диктатору, общественное мнение всего мира и североамериканское правительство уже подробно информированы, кто именно был организатором этого преступного, позорного киднепинга и как отнеслись к нему мы, истинные повстанцы. Позвольте мне от своего лица, как командира, от лица трибунала и всех борцов еще раз принести извинения нашим гостям за инцидент, жертвами которого они невольно стали, и попросить их забыть от этом неприятном происшествии, чтобы даже тень воспоминания не затемняла вечную дружбу наших стран! Я прошу вас, милые друзья, погостить у нас еще какое-то время, пока не представится возможность безопасного возвращения домой. За это время вы познакомитесь с нами и с целями нашей борьбы. Все наши скромные запасы, все наши люди и я лично — к вашим услугам. Чувствуйте себя как дома.— Снова поклон.— Обвиняемые! — Голос Комиссара снова зарокотал.— Обвиняемый Орландо, ваше истинное имя?

Тадас колебался недолго:

— Джон Соколовски.

— А ваше, обвиняемый Робин?

— На черта это тебе нужно? — Стив с трудом поднял голову.— Ну, Стив... Стив Джозеф Рэнкин.

— Змеи сбросили свою кожу. Вы признаете себя виновным, Рэнкин?

— Пошел ты к черту, выродок! — плюнул Стив.

— Трибунал, посовещавшись на месте, постановил не принимать во внимание оскорбительных слов обвиняемого, а его ответ счесть за признание.

— Ты же сам приказал, на кой черт эта комедия!.. Кто поверит такому... офице...

— Стража!

Тадас не видел, что сделали со Стивом, только услышал, как он, застонав, замолк.

— Поведение обвиняемых лишний раз доказывает, что они не отказались от своей излюбленной тактики провокаций и клеветы. Обвиняемый Соколовски! Прошу отвечать только на вопросы. Признаете себя виновным?

— Нет,— ответил Тадас.

— Позовите свидетеля Ито.

Ах, вот оно как!

— Трибунал, посовещавшись на месте, постановил не разглашать настоящую фамилию повстанца Ито.

Ито, размахивая руками, как мельница крыльями, даже скакал с ноги на ногу и, невнятно бормоча, слово в слово повторил версию Комиссара. Как его обманули, не позволили перед походом в Альмендарес спестись с Комиссаром, сказав, что якобы таков приказ, как подкупали крестьян Майари, готовя базы для десанта, как он боялся смерти, но, выполняя свой патриотический долг, неусыпно следил за этими коммунистами. Вообще-то не все можно было разобрать — Ито часто переходил на шепот и в который раз бубнил под нос, что давно уже подозревал и что Комиссар приказал не спускать с них глаз.

Тадас вспомнил ночь в лесу, под Майари. Как они, мокрые, трясясь от лихорадки, прижимались в гамаке друг к другу.

— Вы свободны, свидетель Ито,— сказал Комиссар.— Есть и другие свидетели преступной деятельности изменников. В первую голову, это наши гости, жертвы киднепинга,— Комиссар не забыл поклониться в их сторону.

И тут зарычал вертолет. Поначалу он летел выше, чем обычно, чуть в стороне, но вскоре повис над площадкой. Два ротора дрожали в голубизне, и вертолет смахивал на две огромные слипшиеся стрекозы.

— ...Но, понимая смятение их чувств, мы не настаиваем на даче ими свидетельских показаний. Само их пребывание здесь — веское доказательство тому, какими звериными методами проводилось похищение, не щадя даже женщин и детей. О пропагандистской и провокационной деятельности этого сброда достаточно рассказал свидетель Ито.

Какой я дурак, подумал Тадас. Он это понял только сейчас, когда при появлении вертолета Комиссар не растерялся. Даже самый глупый пеон не бросился в укрытие. Более того. Слушая разносящийся по поляне голос Комиссара, Тадас уловил в нем ликующие нотки. Он уже выигрывает, хотя еще скрывает это! Как все просто. Пока здесь американские заложники, базу не станут бомбить. Даже не попытаются взять приступом. Как долго? Сколько будет нужно Комиссару. Неделю, две. Пока он перегруппирует силы, что-нибудь выторгует или придумает выход. Шум-то он уже поднял. Прорвал заговор молчания. Мошенник! Скотина! Попробуй-ка отними сейчас у него победу! Никакие силы ада не вырвут! Никакая хитрость не поможет!

Тадаса бросило в озноб.

—...Своих гостей мы просим всего лишь побыть свидетелями на нашем революционном, открытом и демократическом суде. Больше мы ничего от них не желаем. Расскажите миру, как сражаются парагвайцы против диктатуры и против коммунистов!..

— Можно? — как ученик поднял руку инженер.

— Ну? — Комиссар немного растерялся.— Может быть, потом, заседание трибунала скоро кончится.

— Нет, я только хотел...— Глаза за стеклами очков округлились, пожалуй, на них даже были слезы. Его испанский язык трудно было понять.— Я хотел попросить, господин командир, чтобы нам... Женщины... и мое сердце... Чтобы нам не присутствовать при казни...

Еще одна свинья.

Комиссар перевел дух.

— Я понимаю, господин инженер... Обещаю вам... мы сейчас же поговорим об этом с вами.

Исчезнуть! Превратиться в муравья, в лист, во вздох. Побыстрей исчезнуть с этой земли. Слишком тяжело жить. Слишком тяжело жить...

— ...Свидетелями провокации, клеветы, подрывной деятельности обвиняемых являются все наши бойцы,— Комиссар снова откинул голову.— Я призываю наших бойцов, их жен и их детей наблюдать за свершением нашего правосудия! Пусть знают все парагвайцы и пусть запомнят, что ждет предателей! Трибунал, понимая важность своего долга и значимость своей ответственности, считает преступления обвиняемых доказанными и приговаривает Рэнкина и Соколовски, назвавшихся Робином и

Орландо, к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Он будет приведен в исполнение через час, на этом же месте. Хорошо зная, какие это мастера шантажа и клеветы, трибунал решил последнего слова обвиняемым не предоставлять. Увести!!! — взвизгнул Комиссар, увидев, что задергался Стив, которого держали за локти два солдата, и что от джипов бегут священник в развевающейся сутане и все три журналиста со своими магнитофонами.

— Комиссар! Одно только слово, одно словечко вам на ухо! — Это не Тадас кричал. Он просто слышал свой вопль. — Я могу спасти!.. Могу послужить революции!.. — Во вдруг окутавшей его темноте голос зазвучал лучше, и какой-то частицей своего естества Тадас понял, что он кричит уже в нише, кричит в мокрую глиняную стену, только сразу не разобрал, на каком языке он кричит. — Скажите командиру, командира позовите... Я здесь ищу кубинцев! Пускай спросят в посольстве... Американцы...

Лицо шмякнулось в вязкую глину, но удара Тадас не почувствовал... Придя в себя, даже не пошевельнулся. Одной ноздрей кое-как мог дышать. Сквозь закрытые веки сочился свет. А потом раздался и голос. Бормочущий что-то на латыни. Сознание сразу же прояснилось. Хрустальная ясность! Тело напряглось. Только не торопиться! Теперь дорого каждое мгновение. Только не сделать ошибочного шага! Он снова был насторожен и решителен, как на «вороньей охоте».

— Встаньте, сын мой! — услышал Тадас.

Так! Уже плохо! Уже себя выдал.

— Встаньте! Мы здесь одни.

Осторожно открыл глаз. В полумраке виднелась только черная глина.

— Садитесь.

Священник поднял его за шиворот и развязал руки. Тадас прислонился к стене. Он мог стоять прямо, но прислонился и снова прищурил глаза.

— Мне позволили выслушать вашу исповедь. — Священник говорил по-английски. — Понимаю, что вы, скорей всего, неверующий. Но лишь с тем условием, что я сохраню тайну исповеди, мне позволили поговорить с вами. Мне все известно.

— Что... Что вам известно?

— Все. Мне отец Рикардо рассказывал. О вас, о ваших поступках, которые можно сравнить только с само-

пожертвованием первых христиан. Мы вместе с Ришаром приехали в эту измученную страну. Вместе учились в семинарии для миссионеров и вместе работаем на революцию. Христос с вами и с нами, сын мой.

Так. Прекрасно. Еще один лунатик.

— Мой отец был видным нацистом. Его повесили в Югославии. Я молюсь за него. Я жертвую своей жизнью, чтоб искупить его грехи. Чтоб искупить его грехи и мои против бога и людей. Я с тобой, сын мой.

В бешенстве Тадас чуть было не вцепился в глотку священнику. Жизнь полна неожиданностей. Но проговорил он почти спокойно:

— Вся эта история — дело ваше. Сегодня не вас, святой отец, а меня... они собираются... расстрелять...

— Так будь же мужчиной! Подготовься к последнему шагу. Я бы поменялся с тобой местами, сын мой, если бы мне позволили. Я готов встретить свой час, когда бы он ни пришел. Жду не дождусь, брат мой, своего святого креста! Твоя кровь не прольется напрасно...

Мир кретинов! Слова, слова...

— Но я хочу жить! Сколько у нас времени?

— Не знаю, как идут его часы. Минут пятнадцать.

— Позовите сюда командира и уходите. От вас мне нужна только эта услуга! Быстро! Командира!!!

— Командир с тобой говорить не станет. Я уже просил его об этом.

— Но он не знает, что я ему хочу сказать! Это совсем другое дело. И вы тоже не знаете.

— Сын мой, смирись с судьбой... Будь мужчиной. Постарайся понять одно: что бы ты ни сказал этому офицеру, ему нужна только твоя смерть. Только тогда ему поверят. А он хочет, чтоб ему вернули звание и назначили командиром провинциального гарнизона. Чтобы с ним не сражались, а вели переговоры. И все, сын мой...

— Журналистов! Люди вы или...

— Не пускает. Он боится вас. Он хочет быть единственным толкователем событий.

— Тогда вы, святой отец, слушайте. Я...

— Знаю, сын мой, знаю... Смири свою бунтарскую и грешную душу. Догадываюсь, что ты собираешься сейчас мне сказать... Возможно, ты — человек американцев. Думаешь, Комиссар об этом не знает? А какая разница? Ему еще удобнее. Сильнее прозвучит. Теперь уж точно американцы им заинтересуются. Кроме того, тобой он се-

бя застраховал и на будущее... От коммунистов. Если его прижмут коммунисты, он скажет: лазутчиков расстрелял. Ты будешь его картой и десять лет спустя... Лучше не пытайся говорить то, что хотел сказать, сын мой. Просто люди будут плохо вспоминать тебя после твоей смерти.

Пришли солдаты и снова связали Тадасу руки. Он молчал. Священник молился на латыни и осенял его крестным знамением.

— Отпускаю... Отпускаю... Все твои грехи. Все твои грешные помыслы... И этот твой смертный грех, грех предательства! Ты уходишь чистым, сын мой.

Тадас был нем, когда его поставили к стволу каобы. Из всех его правд не была нужна и не годилась ни одна. Молчал, когда Стив, всхлипывая, что-то говорил ему, когда выругался вслух и что-то очень громко крикнул.

XXII

На другом конце поляны, за колючим кустом гуардаваки, два пеона чистили от ржавчины старый немецкий карабин. Два молодых гуарани, обоим по пятнадцати лет, не больше. Широкие плоские лица, морщинистая, словно просоленная кожа. Черные сливовидные глаза, веки чуть прищурены.

Гуарани глядели сквозь колючки и листочки и даже не моргнули, когда раздался нестройный залп.

Потом снова дружно принялись тереть ветошью ржавчину на стволе.

— Как их зовут-то? — спросил один.

— Что-то не разобрал,— ответил другой.— Один вроде гринго — Стив, что ли?

— Узнать бы и записать...

— А другой вроде бы Сок-Олон?

— Да, похоже...

— Надо записать. Ты писать умеешь?

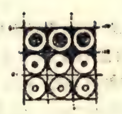
— Нет, а ты?

— Я тоже нет. Надо ему сказать... Эль Аякучо грамоту знает. Ему бы только сказать, он уже запишет... Здесь им когда-нибудь памятник поставим.

— Или школу...

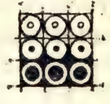
— Нет. Школу мы в городе построим. Фамилию узнать надо. Какая-то чудная фамилия...

Они остались сидеть за кустом, сдирая ветошью и песком ржавчину со ствола старого немецкого маузера.



Хочу вернуться на Кубу

Документальная повесть



Вернешься из тропиков, пройдет какое-то время, и начинается тоска. Кто попробовал воды прямо из арктических снежниц — розовых или бледно-лиловых луж на поверхности тающих льдин, кто забирался на вечные снега кавказских гребней, кто спускался с аквалангом в озеро или море, тот, говорят, заболел навеки. Посмотрите такому человеку в глаза, посмотрите внимательнее, и увидите — он зачарован... Послушайте, что он говорит своей любимой в час откровений, когда нет больше города, когда двое словно один, когда исчезают опасения: «не поймет», «обижу»...

С тропиками та же история. Может быть, это атавизм. По-видимому, человеческий род и в самом деле возник в тропиках, и поэтому в каждом из нас глубоко сидит инстинкт изгнанника. Сменялись поколения, глубоко скрылся этот инстинкт. Затерялся в буднях и водоворотах дел и забот. Но достаточно сделать только первый шаг по красной вулканической земле Кубы, достаточно подумать о ней...

Есть еще один инстинкт. Он присущ всему нашему поколению, если считать нашим поколением и людей, сражавшихся в интернациональных бригадах Испании, и пятнадцатилетнего подростка, тайком набивающего рюкзак сухарями и едущего «зайцем» в товарном вагоне на БАМ,— инстинкт, который не оставляет спокойным, когда поется «Дан приказ ему на запад», когда произносится слово «революция». Жажда быть в первых рядах

борцов. Там, где делается история. Бег истории, разумеется, не прекращается никогда и нигде, но бывает, что он то становится безудержным, то переходит в топтание на месте... И какое это счастье собственным плечом налечь на рычаг истории и вместе с тысячами, миллионами других почувствовать, как поддается, как срывается с мертвой точки этот самый рычаг...

Врагов не выбираем. Враг один — общий для всех. И победа одна. Иногда враг сидит в тебе самом. Вроде городской изнеженности. Вечно улыбающиеся симпатичные приятели, склонные простить тебе и лень, и твое собственное всепрощение. Людное вильнюсское кафе вечерком. Теплый душ по утрам. Если не достал хорошего коньяку — трагедия. Начинаешь гордиться своими старыми, времен Арктики, шрамами, забыв, что друзья их уже не раз видели; хвастаешься радикулитом, заработанным во время экспедиции в Сибири. Все кругом опрятно, уютно, муки не докучают, и время течет без треволнений. Борьба продолжается на всех высотах и широтах, бойцов хватает, о тебе никто не вспомнит. Только ты сам лишаешься счастья получать удары и давать сдачи.

Поэтому хочу вернуться на Кубу.

Дня два назад получил письмо из Гаваны. Двое из нашей экспедиции тяжело заболели. Третий получил травму. Штурман Александр М., тоже из нашей экспедиции, срочно, на первом же самолете вернулся домой. Его жена из Калининграда сбежала с каким-то шалопаем, оставив двоих детей. Может, нужен я в Мексиканском заливе, может, пригодятся там мои нервы, морской опыт, знание испанского?

Поэтому я хочу вернуться на Кубу.

Ночи там были беспокойные; в темном тропическом небе все время маячили, перекрещиваясь, ослепительно голубые мечи зенитных прожекторов. От сумерек до зари на всем острове они, словно факелы, призывали к бдительности. Они мелькали над полями сахарного тростника, над горами Сьерра Маэстра, над болотами и табачными плантациями, они шныряли меж звезд и ощупывали каждое облачко, сверкнувшее в свете прожекторов будто снег.

Мой «Омуль» сейчас, наверно, снова в море.

— Внимание! Рядом с вами всплыла подлодка! — кричу я.

— Видим, видим, не беспокойся! — отвечают мне ребята из-за шестнадцати тысяч километров.

Враг добродушно подмигивает огоньком: «ти-та-а, ти-та-а-а» — «морзит». Вызываю, мол, на переговоры. Палуба освещена сотнями ламп. Отличная мишень. Но как иначе работать ночью? И вы, кроме того, получили категорический приказ не вступать ни с кем в переговоры в открытом море. Вы проворно перебираете рыбу, чините дыры в траловой дели, и у вас только одно оружие против той подлодки — повернуться к ней спиной. Лодка не освещена, только сигнальная лампа, как заговорщик, все не перестает подмигивать, и неизвестно, то ли на вас наводят пушку, то ли тайком сталкивают в воду мину. Или просто-напросто скучают. Или вообще это не враг...

— Знаешь, Петя, как мы в амурских притоках ловили форель? — завел бы я с вами, ребята, морскую травлю.— Накрутишь на крючок цветные нитки, вырванные из ковбойки, немного конского волоса...

За разговором легче стоять спиной к неизвестности. Поэтому я всегда хотел попасть на Кубу.

АВТОСТОПОМ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

До Гаваны мы должны добраться собственными силами. Ни тебе билета, ни командировки.

Паспорт моряка в зубы — и с богом. Не маленькие, дойдете. Когда будете на месте — радируйте.

Мы и дошли. Договорились с капитаном плавбазы «Калининград». Правда, он идет совсем не туда, куда нам надо, а к берегам Гренландии и Канады. Будет собирать рыбу с промышляющих там траулеров. Но все-таки нужное нам направление, а там будет видно, что дальше...

Нас сорок рыбаков из Риги, Таллина и Пионерского. Я — с Пионерского. На Кубе работают по пять траулеров от каждого порта — всего пятнадцать судов. Вот уже два года, как они ушли. Только экипажи меняются. Для балтийских управлений эти суда отрезанный ломоть. Лучше бы в Атлантике работали, план выполняли. Но что поделаешь — приказ! Кадровики рассказывают: у них там свой штаб, планы, сами ищут рыбу, сами ее добывают. Теперь снова настало время сменить часть команд.

— Читали, наверное, в печати протест нашего пра-

вительства? Недавно американцы снова обстреляли «9007-й»,— напоминают нам кадровики, говоря о бдительности, стойкости, взаимной выручке и прочем.

Мы, конечно, читали. Беда только, что провожающие нас женщины тоже читают газеты. И все эти шесть месяцев они будут бегать по утрам за газетой, будут торчать у радиоприемника. За это время мир по-прежнему будет в муках рожать одну революцию за другой. Штормы будут бушевать. Они всегда бушуют. Будет убит Кеннеди. Реакция со свистом и улюлюканьем потребует мести Кубе. Ее будут бомбить, мины будут подрывать советские суда. ТАСС сообщит, что «...на Кубе и в Карибском море уже пятый день свирепствует ураган «Флора»... такой силы ураган случается раз в пятьдесят лет... много жертв... пропало несколько рыболовных судов...». Наши женщины станут и доморощенными министрами иностранных дел, и стратегами...

Хочется, чтобы быстрее на причале отдали концы.

Не так просто уловить момент, когда, собственно, начинается дальнее плавание. Вот отданы швартовы, дундят дизеля, набережная отдаляется, клокочет грязная портовая вода. Но это еще не море, до Балтики целых сорок километров по реке Преголи. Потом мы еще полдня будем болтаться у берега, регулируя и корректируя компасы, радио- и электронавигационное оборудование, высадим лоцмана, инженерную комиссию.

Может, тогда, когда на палубу поднимаются для проверки паспортов пограничники и таможенники? Когда из громкоговорителей раздается команда: «Всем посторонним и провожающим покинуть борт!»? Последние поцелуи, отчаянные объятия, растерянные, обрывистые слова, плач женщин... Видимо, всегда, даже идеальным космонавтам далекого будущего, обратившим взгляд к звездам, будет трудно оборвать последние живые нити. А мы ведь люди Земли.

Может быть, дальнее плавание началось тогда, когда моя жена споткнулась на причале — на ровном месте,— когда увидела судно? Шли мы по пристани, кругом пирамиды ящиков, бочки, вагоны, контейнеры, и вот за поворотом во всей своей красе открылся «Калининград». Светло-серый, большой; на гроте синий флаг с белым квадратом посередине — сигнал немедленного отхода. Упала Бируте на ровном месте, вроде без причины, и тихонько вскрикнула...

Наверное, оно началось гораздо раньше, в тот момент, когда вдруг почувствовал, что сердце обрастает жирком успокоения.

...Вот сколько развелось философии в дневнике, а действия нет. Да и какое тут может быть действие, когда ты только пассажир на судне? Спрячешься в каюте, чтоб не путаться под ногами работающих людей, потушишь свет и ждешь, пока усталость победит горечь расставания. Нелегок хлеб пассажира. Не знаю, что делают туристы, плавающие вокруг Европы. А ведь иные умудряются даже писать про это плавание...

Особенно нам, морякам, не по душе такое житье-бытье. Шляемся, когда уже спать невмоготу, будто в чем-то виноваты. Коки только едят — не стряпают, штурманы и капитаны не смеют подняться в «чужую» рубку, хотя многолетняя привычка выгоняет их на палубу и держит там в холод и слякоть ночи напролет, пока «Калининград» маневрирует в темноте и тумане по сложному фарватеру датских проливов, когда в Северном море судно самым малым ходом ползет по лабиринту рыболовецких судов, их сетей и мелей. Когда машины меняют обороты, вздрагивают во сне механики — пассажиры.

— Отойди! — кричит матрос мне, матросу.

И эти несколько морей, которые мы проходим, и старуха Атлантика летом выглядят несколько странно. Стена тумана то дальше от нас, то ближе — никак не разглядишь, движемся мы или нет. Волны небольшие, тоже цвета тумана, ветра нет, и слышно только гудение дизелей. «Калининград», то взлетая на волну, то проваливаясь вниз, вздыхает. Словно воду в ступе толчем.

И так семнадцать дней.

Потом начинается прорва рыболовецких судов. По характерным силуэтам узнаем наши советские — их много, почти все только наши. Значит, это уже Нью-Фаундлендская банка.

Мы отдаем якорь, и тут же из тумана выползает калининградский траулер. Уже выкачены на палубу бочки с селедкой, на носу и корме стоят матросы, приготовившись швартоваться. Проржавевшие ватники, нечесаные проржавевшие мокрые бороды. Кричат, истосковались по новым лицам, гогочут, словно гуси на воде.

«Калининград» начинает погрузку. Мы спрашиваем озабоченно:

— Эй, не подкинете до Гаваны?

— Если будете хорошо работать, подкинем... к Северному полюсу,— острят на одном.

— Вы что, еще с берега не протрезвели? — спрашивают на другом.

Проходит еще неделя. Трюмы «Калининграда» заполнились до половины. Что мы будем делать, когда он повернет домой?

И вот однажды утром, еще до зари, нас будят:

— Ваш подошел!

Мы выскочили в подштанниках. И в самом деле, рядом качается «Омуль», СРТ-Р-9009. Покрашен тщательнее, чем атлантические,— ну прямо-таки иностранец. Четыре негра на палубе убирают концы.

— Эй, по-быстрому! Кидайте сюда ваши шмотки! — кричат нетерпеливо с траулера. Их вещи уже выгружают. Энергичные ребята, сами нас нашли.

Лебедки «Калининграда» приподымают металлическую сетку, мы цепляемся руками и ногами за нее, и такую гроздь — несколько секунд страха — опускают на траулер. Нам повезло, и на мачту не насадили, и в открытый трюм не сунули. Кто нашел знакомых, здоровается. Но прежние хозяева траулера не склонны к любезностям:

— Вот вам судно, вот тралы и карты, вот солярка. Хозяйничайте!

— Подождите же, хоть два слова. Как там?

— Сами увидите. Акт о передаче уже готов. Распишитесь.

И снова плывет по воздуху людская гроздь, теперь уже наверх, и уходят ребята по палубе базы в каюты, в наши еще теплые постели, даже не оборачиваясь на «Омуль».

НАШ «ОМУЛЬ»

Мир сразу уменьшился. Теперь он длиной в восемьдесят три, шириной в полтора десятка метров. Только бескрайнее море вокруг да план. Начиная с этого дня мы должны за шесть месяцев добыть, охладить и доставить в Гавану четыре тысячи пятьсот центнеров рыбы.

Мы ходим по судну, пробуем его на все лады, чуть ли не говорим с ним. Ведем себя как с девушкой, с которой только что познакомились. Смотрим, какое наследство получили, что будем любить. Моряки всегда любят свой корабль, хотя бы до тех пор, пока на нем находятся. Это не просто традиция; иначе ведь нельзя работать. Только они не говорят об этой любви. Это же наш дом, наша радость и забота на ближайшие полгода. Не хочу сказать «гроб», но все мы знаем, что мы далеко от своих баз, еще дальше от своих берегов, и знаем также, что в течение года на всех морях света в среднем тонет около тысячи пятисот судов. Более чем четыре судна в день идут на дно. Это, конечно, во всем мире.

«Омуль» не новый. Ох, не новый. Построен он в ГДР, снаружи недавно покрашен, но внутри сильно поизносился и проржавел. Днище обросло ракушками, и столько водорослей на нем, что вслед за нами по воде тащится зеленый шлейф. Судно уже год без ремонта, до этого тоже проработало немало. Переборки коридоров, кают, особенно нижние части дверей и пороги — комингсы — словно изъедены оспой, во многих местах проржавели насквозь, зияют дыры. Неудивительно — эти места всегда атакует влага. Двигатель частенько захлебывается, и позднее мы еще не раз будем просыпаться по ночам, когда он примется чихать, стучать и замолкнет. Моряки не могут не проснуться, когда замолкает судовой двигатель... и не вслушиваться затаив дыхание, удастся ли механикам снова запустить его.

Это средний рыболовный траулер-рефрижератор (СРТ-Р). Двухмачтовый, типа брига. Корпус светло-серый, надстройки и первая мачта белые. Формы мореходные, только корма несуразно высокая, грузная. Главный двигатель и два вспомогательных двигателя, есть еще рефрижераторная установка.

По штатному расписанию на «Омуле» должны быть двадцать три моряка. Но нас всего тринадцать. Не знаю, о чем думало береговое начальство, посылая неполную команду. Говорит, не хватает людей, других пришлют потом. Есть еще шесть кубинцев, да еще мы должны доставить в Гавану несколько рижских и таллинских рыбаков. Но этим придется подождать, покататься с нами, нехорошо ведь траулеру приходить в порт с пустыми трюмами. Сперва будем ловить здесь, в течении Лабрадора, и придем на место как люди.

За работой почти не разговариваем. Короткие, злые, как ругань, команды. Человек с берега возмутился бы нашей грубостью. Для нежностей вроде «прошу», «будь любезен» нет ни места, ни необходимости. Нам вообще не приходится много говорить. Каждый знает свое место, железную рутину рыболовецкого судна, неизменный распорядок работы.

Механики, штурманы работают нормально, несут свои вахты, всего по восемь часов в сутки. Кок Иван готовит трижды в день, радист Саша дежурит тоже в установленные часы. Только мы, палубная команда, работаем столько, сколько выдержим, потом больше, чем выдержим, а потом, когда мы уже валимся от усталости, нам велят взять еще один трал. Потому что рыбу, по сути дела, добываем мы, пятеро палубных.

Утром, в четыре часа, раздается пронзительный звонок громкого боя и крик: «Палубной команде — на палубу!»

Почему надо поднимать всю команду, когда речь идет о нас пятерых, не знаю. Традиция...

Север, Лабрадор. Темно, холодно и сыро. Зарей и не пахнет. Поспешно одевшись, бежим к тралу. Он лежит распростертый на палубе. Наверное, все вы знаете, что трал — это прочный мешок из капроновой дели, то есть сеточного полотна,— огромная «авоська». Его-то и тащат по морскому дну. Распорные доски плывут глубоко под водой и держат пасть трала раскрытой. В закрытый его конец (куток) набивается все, что попадается по пути. Вы, однако, можете не знать, что этот мешок, длиной в тридцать метров и почти такой же ширины, весит много центнеров, он мокрый со вчерашнего дня, а в его ячеях полно застрявшей и разлагающейся рыбы и ракушек. Трал вооружен массивными цепями, тросами, металлическими шарами-поплавками, распорные доски тоже дубовые, массивные, окованы железом. Все это мы должны много раз в день спустить в море и вытащить обратно. Вытащить желательно с рыбой. Механизмы, конечно, есть, они помогают, поэтому они так скромно и называются — вспомогательные. На небольших судах все еще в основном работают руками.

Итак, трал лежит у фальшборта. Мы беремся и все сообща переваливаем его за борт по частям. Сразу куда уж там, не суметь... Каждый стонет на свой лад и посвоему приговаривает в сердцах... Когда мы работаем с

тралом, хозяин палубы и начальник над всеми нами Паша Старосветский. Он тралмастер. По штатному расписанию он должен работать с механизмами лебедки и оттуда командовать. Высокий, широкоплечий русый крепыш с интеллигентным лицом. Выпускник астраханского рыбопромыслового техникума. Может быть, потому, что Паша самый молодой из нас, ему нет еще и двадцати, он стесняется, избегает командовать. Когда мы вчетвером не можем справиться с тралом, он бросает лебедку включенной на самый малый ход (это риск!), подлетает к нам, молча хватает трал в свою богатырскую охапку то в одном, то в другом месте, и через несколько мгновений трал в воде. Так он любит руководить и такой тактики придерживался до конца рейса.

— Ну что вы, ребята... Смотрите... во так...— только и услышишь от тралмастера.

Судно отдаляется от трала, который пока что держится на поверхности, его связывают с нами толстые стальные тросы — ваера; вот он тонет, в воду летят обе доски, раскручивается еще несколько сот метров троса. Прикрепляем его ваера тормозом и бегом по каютам. Пока трал в течение двух часов будет процеживать море у дна, мы попробуем досмотреть свои прерванные сны. Это последний сегодня шанс поспать, и мы в самом деле сразу засыпаем.

Ровно через два часа снова верещит звонок, карусель опять начинает вертеться, и нет ей конца — выбрать трал, высыпать рыбу, снова отдавать трал в море, и до следующей выборки будьте добры рассортировать добычу, спустить ее в трюм, сложить в ящики вперемешку со льдом, ящики аккуратно в девять этажей поставить друг на друга...

— Эй, в трюме, чего копаетесь? Заснули, что ли, выбираем уже! — орет Виктор Артемов, помощник тралмастера, хотя мы и так уже вертимся в трюме, как пропеллеры, высморкаться некогда.

Виктор учился вместе с Пашей, но это человек совсем иного покроя. Из тех, про которых говорят — порох! Небольшой, худощавый, жилистый, и самолюбивому человеку работать с ним в паре трудно. А мне это как раз и досталось... Но если мы действительно не успели управиться в трюме, а трал подходит, Виктор непременно спустится к нам, в темноту и стужу, и даже, не натянув ватник и сапоги, начнет сам хватать эти длиннющие

сорокакилограммовые ящики и пойдет швырять их, аж лед брызжет...

— Вот как! — он уже не ругается, а только рычит.— Вот как надо ящики грузить... Учитесь!

И он таким остался до конца рейса. Только устал, может быть, больше других. Позднее, когда одно и то же продолжалось неделями и месяцами, без выходных и нормированного дня, Виктор иногда после окончания смены бывал совершенно разбит. Взгляд мутный, руки бессильно повисли. Только повернулся идти в каюту, еще не разделся, не умылся, а уже спит. На ходу. И упаси боже ему это сказать. В свободную минуту, когда сядем, бывало, покурить, мы спрашивали его осторожно и как можно тактичнее:

— Ну и чего ты, Витя, надрываешься... Один раз живем... Что тебе, больше других надо?

Он тут же в амбицию:

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать! — И потом уже по-начальственному: — Все сюда пришли работать, план выполнять! Рыбка идет, значит, вкалывай! Говорить будем на берегу в ресторане.

Самое смешное, что наш заработок в этой экспедиции не очень-то зависит от плана. Разумеется, хорошо, когда много добываем, улов штука переменчивая, закончится в один прекрасный день, и бегай тогда по морю, ищи. Но Виктора не это заботит. Просто он типичный рыбак экспедиционных промыслов. Хоть сам все время твердит:

— Этот рейс последний. Все. Прихожу и начинаю учить электронику.

Паша смеется, он знает, что Виктор повторяет это уже пятый год, что никуда он не уйдет. Без таких характеров невозможны долгие экспедиции, а с другой стороны: где на берегу Виктор сможет столько покомандовать, покричать?

Промышляем только неделю, а уже охватывает ужас при одной мысли о будущем, о тех шести месяцах, которые нас ждут впереди. Начало, правда, всегда тяжелое, это известно. Мышцы, пальцы еще не привыкли, но неужто я выдержу?

Работа начинается в четыре утра. Правда, после отдачи трала можно вздремнуть. Но потом уже и не присесть до поздней ночи. Только завтрак ешь нормально, а обед, ужин — как придется. Двое побегут, стоя поедят,

возвращаются на палубу, вторая пара идет есть. Хуже всего то, что не знаешь, когда кончишь работу. Вот уже одиннадцать ночи, а команда:

— Отдать трал!

Если до этого работы не было, вахтенный штурман или капитан, вроде оправдываясь, поясняют:

— Сегодня мало взяли...

Если рыба была, объяснение другое:

— Мы на косяке, ребята. Отдавайте трал!

Через два часа его выбирать. Потом перебирать рыбу. И никто не уверен, что после этого снова не прозвучит приказ:

— Еще один трал, хлопцы!

Так работается в экспедиции.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДУХЕ ХЕМИНГУЭЯ

Вы помните Сантьяго из повести «Старик и море»? Девяносто три дня ему не везло, все возвращался без улова, а когда, в конце концов, ему попалась сказочно большая рыба, пришли акулы...

Ну, правда, не так долго, но целую неделю мы были в пролове.

Очень сложное настроение, когда траулер в пролове. С одной стороны, вроде бы легче работать. Выберешь трал, снова его в море, бросишь в трюм несколько ящиков и можешь растянуться, не раздеваясь, разыскав место посуше. Но с другой стороны, знаешь, что сам себя обманываешь. Четыре тысячи пятьсот центнеров все равно придется взять, хоть разорвись. Если это делать по капле, по нескольку ящиков, под конец экспедиции от усталости измочалишься. Ведь с тралом все равно работаешь, пуст он или полон. И потому главная мечта всех рыбаков во все времена — хотя бы десять дней черпать полной горстью, поработать до упаду, а потом отдохнуть. Хотя бы один трал богато захватить, чтоб дель трещала, чтоб «колбаса» была полна до горла, чтоб лебедки ее с трудом вытаскивали.

Словно легенды, передаются из уст в уста рассказы о траулерах, которые за пять дней выполняли полугодовой план. Люди, особенно когда плохие уловы, охотно слушают про удачливых капитанов, которые знают, где найти рыбу. Про это говорится пока вполголоса, чтоб Реваз Андреевич Манджгаладзе, наш капитан, не рас-

слышал. Пока бережем его авторитет, хоть Виктор уже повышает голос:

— Э, чего тут в молчанку играете! Говорил с ребятами, которые в прошлом году работали с ним на банке Джорджес. Худо, худо берет!

Речь идет об умении капитана найти скопления рыбы, о его нюхе и опыте. Ведь для этого он и находится на судне. (Кстати, наш Реваз Андреевич и умелый, и удачливый капитан.)

Рыбмастер Толя каждую свободную минуту озабоченно разглядывает свои руки. Вымазал их зеленкой, они пестрые, как у маляра.

— Еще две недели — и не выдержу. Видишь, сколько этих сук повылазило...— говорит он, показывая мне красные пузыри фурункулов.

Это фурункулез. Толя уже десять лет работает в рыболовном флоте и все время был рыбмастером. Сколько тысяч бочек за эти годы он засолил, заморозил, законсервировал! Все эти миллионы рыб прошли через его руки, и каждая рыбина немного мстила за себя, оставляя микроскопический след — уколола, царапнула, приклеилась чешуей или внутренностями, на всю жизнь отравила организм. Поработает Толя три недели, и огромные гнойные фурункулы на руках, на бедрах, под мышками, на лице временно превращают его в инвалида. Правда, достаточно не прикоснуться к рыбе пять дней, и они заживают. Но его лицо и тело уже давно в лиловых рубцах, словно в сабельных шрамах. Казалось бы, для новых и места нет.

Но Толя не унывает.

— Красота мне не нужна,— говорит он и все бинтует, все заклеивает пластырями.— Надо трюмы побыстрей набить. Потом, пока дойдем до порта, пока разгрузят, все пройдет.

Толя очень симпатичный. Правда, красота для мужчины, может, и в самом деле необязательна. Я хотел бы, однако, прожить такую жизнь, как он. Прошел фронт, потом в 1945 году вместе с первыми советскими людьми прибыл на Курильские острова. И без того убогие деревеньки разорены войной и отступающей японской армией. Все заминировано, даже трупы самураев, покончивших с собой. Всюду снайперы-смертники «камикадзе». Океан, ветры — все здесь ново и неведомо. Поначалу работал вместе с японцами, научился языку, а ко-

гда сформировался флот и эти далекие острова стали нормальной, привычной землей, Толя перебрался на другой край света, на Балтику, где создавалась Северо-Атлантическая экспедиция и первые «викинги» уходили к белым пятнам у Полярного круга. А когда и эта непривычная работа стала привычной, попросился на Кубу.

— Не люблю долго засиживаться на одном месте.

Толю только его фурункулы беспокоят, а Виктора гложет рыбацкое самолюбие:

— Хлопцы, трал идет слишком глубоко! Трал, трал виноват! Надо переделать.

Привязываем новые шары. Отрезаем грузила. Снова тащим пустышку.

— Не берет со дна! Я же говорю, что слишком легкий, со дна не берет!

Привязываем к нижней подборе трала новые цепи, срезаем шары. Снова пустышка.

— Он перекошен! Вообще этот трал не годится!

Выбрасываем, ставим новый. Виктор даже ногти грызет, когда на радиолетучках другие суда рапортуют о своих подъемах.

— Реваз Андреевич, здесь пусто, как на пляже,— пристает он каждый день к капитану.— Надо лучше разведать! Надо поискать рыбу!

В тот вечер мы уже и пробовать больше не хотели. Работали с четырех утра вхолостую, трал порвался, мы в спешке чинили его. Сердились, но капитан заставил:

— Ну еще последний отдадим. Тут должна быть рыба.

Выбирая трал, мы подумали, что теперь все уже окончательно запуталось. Трал шел туго, а потом всплыл сам, будто резиновый пузырь, да еще не у борта; а вдалеке, метрах в двухстах. В темноте мы его не видели, только далеко в волнах раздавался гул.

Господи, да ведь это рыба! Ее столько набилось в трал, что весь этот длинный треугольник не смог удержаться на дне. Рыбьи пузыри — ведь у каждой есть плавательный пузырь — раздулись и подняли трал со всеми его железяками. Выскочил на поверхность, как футбольный мяч.

Подтащив трал к борту, мы глазам своим не поверили. Такого еще никто в жизни не видел. Двести-триста центнеров, не меньше! Двадцатая часть полугодового плана. Трал так прочно держался на плаву, что по нему

не только пешком ходи — на тракторе можно ехать. Забит рыбой до горловины, как мешок картошкой, и не завяжешь.

И не поднимешь... Словно длинный марлевый мешок с камнями. Порвется, где ни схватишь. Дель трещит, трал колышется. Рыба-то живая, хоть и сдавленная. Отдельные рыбешки уходят и мечутся в воде. И кровь вокруг от раздавленной рыбы.

Эта кровь да шум от рыбьего мельтешения, видимо, привлекали акул.

Поначалу появилась одна. Лениво проследовала вокруг судна, вернулась, нырнула, вынырнула, подбирая выскользнувших из трала рыбин. Акула, когда она в своей стихии, изящная тварь. Продолговатая, стройная, как торпеда, плавники почти не видны, только мелькает мощный, как у реактивного истребителя, хвост с высоким рулем поворотов. Вот глаза у акулы гадкие — тусклые, как у свиньи, крохотные и без выражения.

Первая была небольшая, длиной всего в два человеческих роста.

Мы не обратили на нее внимания. И без нее забот по горло. Пробуем поднимать трал частями, понемногу, по одной тонне, перепоясывая трал стальными тросами.

— Эль тибурон, эль тибурон! — взревел во всю глотку негр Хулио, один из кубинцев, работающих в нашей команде. Он стоял ближе всех к фальшборту.

— Ну и что? Подумаешь, акула... Чего орать?

Но тут с мостика закричал штурман:

— Гоните ее, она трал кусает!

Мы вначале подумали, что он нас подначивает. Нам, с низкой палубы, как следует не видно, а в море любят «покупать» друг друга. Но вот загремел бас капитана:

— Бейте ее багром, багром! Быстрей! Кусает!

Бросив свою работу, мы кинулись к борту и увидели, как из прокушенной дыры стремглав валится из трала рыба. Как горох из мешка. Акула, хлопнув по воде хвостом, спикировала вглубь, мигом исчезла, даже не воспользовавшись плодами своей проделки.

Мы не верили своим глазам. Не знаем, за что хвататься, и глядим, как последние кретины, на рыбу, которая сыплется и сыплется в воду. От нее вокруг трала даже бело стало, будто молоко разлили.

В прореху вот-вот половина улова уйдет. Но попробуй поднять этот мешок, когда в нем дыра в добрых два

метра, да еще по самой середине! Чем больше дергаешь, тем больше вываливается.

Когда мы уже нашли выход, с неимоверным трудом повернули всю эту путаницу трала, рыбы и тросов так, чтобы она лежала на воде дырой кверху, акула вернулась. Вылезла из темноты, оттуда, куда не достигали судовые прожекторы, и прошла мимо нашего трала, будто он ее совсем не интересовал. Дошла до границы темноты, повернулась и проследовала обратно, уже значительно ближе. Теперь ее сопровождали две акулы покрупнее, с другой стороны вылезла еще парочка. Мы немного успокоились. Акулы ныряли по этой ухе, изредка приоткрывая пасть и глотая сразу, наверное, по нескольку ведер помятой и потому не тонущей рыбы.

Когда тросы натянулись и часть трала поднялась из воды, одна из акул, которая шлялась у самого борта, чуть повернулась, над водой на мгновение показался круглый каравай ее морды. В общей суматохе мы ничего не расслышали, но там, где она прикоснулась, из трала снова посыпалась рыба. Трал шел вверх, а рыба вываливалась и вываливалась в море — целых десять или пятнадцать центнеров!

Взбешенные люди закричали не своими голосами, в воду, в акульи спины полетели пустые ящики, железяки, молотки, куски льда. Из штурвальной начали палить в них ракетами. Ракеты шипели в воде, но не гасли, освещая снизу, из глубины, всю эту фантастическую картину: огромный мешок, набитый рыбой, беспокойно шныряющих, но не убегающих акул, заросшее днище нашего судна.

— Уже с акулами справиться не можете! — кричал капитан.

Двое ребят, вооружившись баграми, стали на носу и на корме. Прибежали разбуженные механики, радист Саша. Впопыхах соорудив удочки — крюк величиной с согнутую руку,— нанизав на него по пять рыбин, швыряют их в воду. Но мало надежды, что во всей этой рыбной солянке акулы схватят наживку. Теперь они будто взбесились. То одна, то другая атакуют трал. Одно прикосновение — и рыба течет уже из новой дыры. Упрешься концом багра акуле в бок, толкаешь ее изо всех сил, как свинью от корыта, а она только нетерпеливо взмахнет хвостом, и багор соскакивает — такую шкуру не только что не проткнешь, ее даже из ружья не проб-

ешь. Акула, развернувшись, хватает трал уже в другом месте. А рыбу они даже не трогают, не глотают, не пользуются плодами своих проделок. Сытые. Просто играют. Мы чуть не плачем.

— Быстрей, быстрей!

Быстрее — что?

Торопливо вытаскиваем часть трала, заделываем несколько дыр и боимся даже считать, сколько этих дыр еще осталось. Трал превращается в мочалу. Рыба вся в воде. Вокруг траулера огромное серебристое волнующееся поле. Краев его не видать. Перевернувшись брюхом кверху, рыба качается в несколько слоев, как фантастическая перина.

От всего этого, от нечеловеческого напряжения, беготни, крика, безнадежной борьбы мы все немного одурели. Голова кружится, в глазах рябит — трал, рыбный фаршмак, акулы, будто тени, свет прожекторов. Шипящие волны и задыхающиеся ребята. Или это ты сам запыхался. У меня оторвало ноготь. Виктор расшиб себе лоб.

...Приходит час, когда кажется, что на все наплевать. Лишь бы все поскорее кончилось. Напряжение боя исчезло. Может, мы просто плохие спортсмены. Никто даже не пытается оттолкнуть акул, не удит их, не швыряет ящиками. Все равно это попусту. Скоро рассвет. Вытащить бы эти лохмотья трала на палубу — и спать.

Около второго часа ночи все кончилось. Что ж, немного рыбы все-таки взяли. Центнеров около шестидесяти. Лишь столько ее осталось. Это было поражение. Такое же, как у старика Сантьяго.

И так же, как он, мы сразу пошли спать.

Только львы нам не снились. Может быть, потому, что для сна оставалось только два часа.

Да и то не для тралмастеров. До утра, до начала работы, Паша с Виктором штопали на палубе дыры трала для нового дня на промысле.

ПАША ЗАКУРИЛ

Мы подходим к Гаване. На часах 21.45. Уже темно — тропическая ночь.

В Гавану мы возвращаемся уже не в первый раз. Тогда, от побережья Канады, мы все-таки привезли полные трюмы, не могли иначе. Толя, пока наше судно шло

мимо берегов США, по Саргассову и Карибскому морям, залечил свои фурункулы. Мы выгрузились и направились в Мексиканский залив.

Снова две недели скребли тралом усеянное кораллами дно залива, опять возвращаемся с полным грузом. Знаем: его очень ждут. В Гаване не хватает рыбы. По карточкам причитается одному человеку триста двадцать граммов мяса в неделю, рыбы — сто семьдесят граммов. Наш улов завтра с самого утра появится в магазинах. Перед ними выстроятся очереди. Таковы будни первых лет революции.

Город как на ладони, он сверкает мириадами огней, разноцветными рекламами, движущимися вереницами автомобильных фар, вертикальными пунктирами небоскребов и...— пулеметными очередями, разрывами зенитной артиллерии в вышине, нервно снующими, скрещивающимися меж облаков столбами зенитных прожекторов.

Как раз сейчас Гавану атакуют с воздуха. Не в первый это раз за время нашего пребывания, и мы, стоя на темной палубе, покуривая в кулак, можем даже точно определить, какой район под угрозой. Регла. Когда мы уходили в море, его тоже бомбили. Сейчас снова.

Там порт, электростанции, а главное — крупная нефтяная база, целый город серебристых цистерн с нефтью, бензином и керосином. Там разгружаются океанские танкеры.

— Попадут они, в конце концов, или нет? — с деланным безразличием говорит Паша и закуривает.— Долбят и долбят... Спать охота...

Другие молчат. Что ж, каждый как умеет прячет свое, мягко говоря, волнение.

А дело-то вот в чем: ворота порта уже рядом. Мы должны пройти их, идти дальше в порт, потом должны повернуть налево и следовать как раз к этой Регле. Там, в сотне метров от цистерн, находится рыбообрабатывающий завод, и нам придется именно там швартоваться. Как говорится, прямо в пасть черту. Не надо быть большим стратегом, каждому моряку ясно: если хоть одна бомба попадет в одну из цистерн, все это море жидкого топлива хлынет в порт. Вот это будет Содом. Переждать, постоять в воротах порта нельзя. Ветер, течения посадят судно на скалы или на мель; какой-нибудь охваченный паникой пароход, удирающий от порта, или торопящий-

ся по своим делам военный корабль врежется в борт, и ахнуть не успеешь. В такую минуту ворота порта самое опасное место. Но оставаться в открытом море еще хуже. Одинокое безоружное судно со своими огнями привлекательная мишень для самолета. А если притушить огни, береговая охрана может счесть тебя сообщником налета и направить на тебя свой огонь. Еще хуже.

Остается одно — вперед к отведенному причалу. Правда, самым тихим ходом. Только бы судно слушалось руля. Может, за то время, пока мы подойдем, налет кончится... Обычно они продолжаются недолго. Гусанос не отличаются усердием.

— Смотри, батарея заговорила. Гляди, гляди, как лупит из Р. и З. Сыпь еще, добавь!

Только все это без эмоций. Спокойным, будничным голосом.

Этого требует этикет. Наш, морской этикет. Тон, принятый у рыбаков, работающих на Кубе, традиция всех советских людей на этом острове. Мы уже привыкли к этому тону.

По правде, все это мало похоже на настоящий бой.

Миллионный город не успел потушить огни и выглядит сейчас, как все большие города ночью. Налет был неожиданным, с подвохом (прилетел небольшой самолет, сигнализирующий огнями по международному коду: «Заблудился, не могу найти аэродром»), а пока зенитчики спохватились, посыпались бомбы. Вот и вертятся мельницы реклам, соперничая с разноцветными сериями трассирующих снарядов, веером поднимающимися в небо; отблески взрывов перекликаются с вспышками электростанций и заводов на земле. Прохожих на улицах, правда, не видно, наверное, попрятались по подворотням, да и машин почти нет. Но вот на парапете набережной — мы уже идем по каналу порта — сидит парочка влюбленных, дальше другая, а вот та даже наверх не смотрит, сидят обнявшись, щека к щеке. Это кубинская традиция — не обращать внимания на гусанос, не радовать их своим страхом. Когда судно поравнялось с парочкой, один из наших, приставив ладони ко рту, крикнул милисиано в синей рубашке, прижимающему к груди свою, насколько можно было разглядеть, чернокожую красавицу:

— Буэнос ночес, компаньеро! Комо эста?.. (Добрый день, приятель! Как дела?)

— Муи биень, грасиас! — отвечает тот, отлично по-

нимая игру, ровным, спокойным голосом.— И устед? (Спасибо, хорошо, а как вы?)

Через пятнадцать минут мы отдаем швартовы в Регле. Артиллерийский огонь за это время действительно прекратился. Самолет не сбили, но и пожаров нет. Остается поискать осколки для сувениров.

Когда уже собираемся спать, кто-то из нас предложил Паше сигареты:

— На, закури.

— Я же не курю, ты знаешь.

— Курил сегодня вечером, я видел.

— Ты прекрасно знаешь, что я не курю!

И поворачивается на другой бок.

НАШИ КУБИНЦЫ

Ночные налеты, бомбы и артиллерия — это частности. Чаще, чем раз за две недели, они не случаются. Не этим мы живем, совсем не это главное.

На нашем судне шестеро кубинцев: ученик штурмана Хосэ, помощник кока мулат Фелипе и четыре матроса негра, черные, как летняя ночь,— Хулио, Хусто, Исраэль и наше горе Эрнесто. Все семнадцатилетние, все дети крестьян из провинции Камагуэй, все впервые в море. Они поучились месяц-другой в мореходном училище и, работая на нашем судне, должны набраться опыта. Через год, в теории, они должны стать офицерами кубинского флота, штурманами и капитанами. А пока что меня назначили над ними боцманом. Довольно необычный пост для члена Союза писателей. Но удивляться экзотичности положения некогда: эта мысль мне вообще пришла в голову только сейчас, когда я засел за писание. Тогда надо было работать с теми матросами, надо было их учить и выполнять план, план, план, товарищи!

Это выглядело примерно так.

Четыре часа утра. Звонок громкого боя (проклятое «ти-та-а», «ти-та-а», заткнуть бы его портянкой!) поднял всех на ноги. Надев сапоги, в одних трусах бежим отдавать трал. По дороге спотыкаюсь о сладко спящего Хусто (в Мексиканском заливе жара, и мы спим где попадется).

— Вставай! Подъем был!

— И для меня?

— Для всех! Быстро, быстро!

Сам я несусь к тормозу ваеров. Готовлю его, оглядываюсь — на палубе кубинцев нет. Только наши — тралмастер, его помощник и рыбмастер. Снова бегу на верхнюю палубу. Ну конечно, под шлюпками, спрятавшись за пустые ящики, спят Эрнесто и Исраэль, завернувшись в простыни.

— Вставайте!

— Что? Уже?

— Вставайте! Почему все слышали, а вы — нет?

— Ладно...— потягиваются.— Мы сейчас...

Я несусь вниз. Уже вертится траловая лебедка, крутятся тросы. Только поспевай.

Вот показываются и наши практиканты.

— А где ваши рукавицы? Почему в колодках?

Колодки — это досочки с ремешками поперек пальцев ног. В свободное время все мы ходим в них, но работать в них запрещается — могут запутаться в сеть.

— Ах да...— вспоминают они.— Мы сейчас. Пойдем поищем.

А трал все удаляется от борта. Приводи в порядок тросы, вовремя отдавай распорные доски, поспевай находиться в трех местах одновременно. Даже штурман вылез из рубки нам на помощь — людей нет, сам видит.

И вот все устроено, заложен и цепью закреплен тормоз. Тогда-то и появляются наши практиканты. Уже в рукавицах, и сапоги резиновые надели. Но какая уж теперь работа. И что ты им скажешь...

— Идите отдыхайте. Через два часа будем выбирать. Чтоб сразу были на месте!

Этого повторять не приходится. Парни валятся тут же на влажную, усыпанную чешуей палубу и уже спят. Мы тоже забираемся кто куда, чтобы уснуть. Потом будет некогда.

К завтраку будит не звонок. Просто вахтенный штурман сообщает по внутренней трансляции — по-русски и по-испански. Экономя наш сон, разбудил перед самым подъемом трала.

Завтракаю торопясь и чувствую, что кого-то не хватает. Ну, конечно, в столовке нет кубинцев! Однако думать о них некогда — сам останешься без завтрака. И так уже поздно, опять этот «ти-та-а, ти-та-а», этот скрипучий звонок. Со временем начинаешь ненавидеть его, как заклятого врага. Ошпарив нёбо горячим кофе, дожевы-

вая последний кусок, мчусь на палубу. Отпустить тормоз и будить кубинцев.

— Хорошо, хорошо, мы сейчас позавтракаем...

— Кончился завтрак! Теперь уже трал выбираем!

— Как это без завтрака...— Эрнесто вот-вот заплачет.— Не поевший кубинец — плохой работник, сеньор контрамаэстре (господин боцман).

— Нет в социалистических странах господ! — в ярости кричишь ему совсем не то, что хотел, и машешь рукой. А ну тебя! Тросы уже подтягивают к борту доски. Если вовремя не подхватишь их, все перепутается.

Снова носимся каждый за двоих, за троих, трал тяжелый, с рыбой; снова спустился штурман, помогает кто-то из механиков, подключился Хулио.

Когда полтрала уже на палубе, приходят и остальные практиканты. Полуголые.

— Что это такое?

Не знаешь, злиться или смеяться. Они пришли в сапогах, рукавицах, как при отдаче трала. Но теперь лебедка подняла трал высоко над головами, его надо трясти. Колючие тропические рыбы падают вниз. Колючки эти очень опасны, попадаются даже ядовитые. Полуодетым работать запрещено.

— Где ваша спецодежда?! Почему Хулио пришел в робе, как полагается?!

— А... правда. Забыли. Идем поищем.

Возвращаются, когда трал уже лежит на палубе, осталось только рыбу перебрать. Такая история почти при каждом выборе трала. И все-таки они должны овладеть морским мастерством и вообще научиться работать! Целый век мы в Карибском море сидеть не будем...

Но покамест лучшей педагогики, чем тащить их за рукав к работе, я придумать не в силах. Может, я плохой боцман? Подскажите, что делать? Иной раз даже смех разбирает. Вот, например, чинишь трал. Не очень-то трудная работа, но надо, чтобы кто-нибудь подержал сеть, натянул ее. А Эрнесто лежит на крышке люка тут же, в тени от тента. Удобно растянулся, под голову подложил скатанный старый брезент. Немного потеет, но, разумеется, в тени он потеет куда меньше, чем я на солнцепеке. Нарочно ничего ему не говорю и наблюдаю, как на его детском, типично негритянском лице — широкие губы, приплюснутый нос, приплюснутые ноздри и уши — отражается внутренняя борьба. Рослый, мускулистый

парень явно страдает. Работая, я не спускаю с него глаз. В зубах держу деревянное веретено с нитками, и он, пожалуй, думает, что я не могу раскрыть рта и только потому ничего не говорю. Он переворачивается на другой бок, прикрывает лицо рукой,— нет, на меня больше смотреть не станет, он ничего не знает, он спит. Однако очень скоро любопытство побеждает — Эрнесто оборачивается. Может, я уже закончил чинить и ему не придется больше играть? Наши взгляды встречаются, и его черные глаза, а белки темно-желтые, почти карие, просто умоляют: «Я знаю, что нельзя лежать, когда ты работаешь, но мне так хорошо. Послушай, может, ты сам справишься?..» Я молчу, он вздыхает, его мышцы напрягаются, вот он встает, даже ногу спустил... Нет, только дернул ногой, как бы отпугивая муху, и опять зажмурился, как от неимоверной усталости.

Я зачинил одну дыру, смахнув тылом ладони пот (по лицу все время струится пот, капает с кончика носа), тащу крыло трала через люк. Эрнесто послушно садится, дает мне дорогу и уже избегает смотреть в глаза. Я принимаюсь за следующую прореху. Он отлично видит, как неудобно мне одному. Непридерживаемый трал свернулся жгутом. Бедняга Эрнесто страдает, но никак не может преодолеть себя. Под тентом так приятно веет легкий бриз, а мышцы блаженно расслабились...

Однажды, когда мы вернулись из очередного рейса, представитель кубинского флота капитан Гомес попросил Реваза Андреевича написать характеристики на каждого из кубинских матросов. А на следующий день Эрнесто, Хусто, Исраэль и Фелипе пришли в мою каюту попрощаться.

— Нас призывают в военный флот! — с гордостью сказали они.— У вас остаются только Хулио и Хосе. Мы будем плавать на быстроходных кораблях! Будем из пушек стрелять!

Их радости не было конца. Я пожелал им доброго пути, а вскоре прочел в печати, что на Кубе вводится воинская повинность — раньше армию и флот составляли добровольцы. Интересно было бы встретиться с Эрнесто и его приятелями после их службы в военном флоте...

А на наш «Омуль» пришли одиннадцать новых практикантов. Поначалу мы даже перепугались — куда их разместить, как работать с ними, если было трудно с

шестью. Тоже всех оттенков — негры, мулаты, квартероны, белые. Тоже ни разу не бывали в море.

Только одно отличало их от прежних практикантов — они не два месяца, а целый год учились в мореходном училище. Год жили и приучались к революционной дисциплине.

Услышав утром звонок, думай теперь только о себе, гляди, чтоб не остаться последним,— кубинцев-то уж точно найдешь на палубе. Сложного морского дела они, правда, поначалу тоже не знали, но указывать не приходилось. Хватайся сам за самое тяжелое место, и тут же с твоими руками переплетутся две-три пары темных рук. Да посматривай, чтоб где-нибудь не поранились из-за чрезмерного рвения. Вот рыба выбрана, рассортирована, надо спускать ее в трюм. Там мороз. Мы, советские, лезем туда в одних рубашках, одно удовольствие после этого солнечного пекла на палубе. Кубинцы поступают так же. Только смотрю, то один, то другой закашляли, третий застыл и словно засыпает, цепенеет в мраке и стуже трюма. Они не попросят, ты уж сам должен позаботиться, чтобы они взяли ватники, научились наматывать теплые портянки, кирзу обувать.

Новые курсанты так быстро овладели ремеслом, что вскоре мы уже смогли разделить экипаж на две смены и стали работать круглые сутки без перерыва. Тоже посматривай — первая бригада начинала работу, на палубу выходит вторая, но кубинцы из первой не пойдут отдыхать, пока им не напомнишь или пока работает хоть один советский из первой. А после двенадцатичасовой работы, иногда ночью, устав больше нашего — все-таки ребята молодые и без привычки,— они еще поднимаются в рубку попрактиковаться с секстаном, пеленгатором, локатором.

— Эусебио, иди-ка ты спать! — говоришь ему, потому что на парня уже жалко смотреть.

— Сейчас. Каждый день надо хоть разик «взять широту»,— отвечает он и (иначе не будет он кубинец) добавляет: — Пескандо тамбьен венсеремос! (Промышляя рыбу, тоже победим!)

Лозунги кубинцы любят. Одна бригада назвалась «Патриа о муэрте» («Родина или смерть»). В каютах понавешано: «Все ли ты сделал сегодня, что мог?», «Это судно — тоже окоп революции!»

Они любят похвалу, и тогда только смотри, чтобы возгоревшееся трудолюбие не кончилось бедой; любят самостоятельность. Иногда капитан оставляет матроса кубинца одного в штурвальной. Посмотрели бы вы, каким счастьем светятся в эту минуту его глаза!

И не любят отставать.

Однажды нам попался большой улов, около восьми тонн. Палуба завалена рыбой, на помощь пришли свободные от вахты механики, радист, штурманы.

Вылезает на палубу и наш моторист Алеша, сует мне бумажку:

— Тебе письмо.

— Радиограмма, наверно? — обрадовался я, стаскивая рукавицы. Какое может быть письмо в открытом море?

— Нет, письмо.

На замасленной бумаге по-испански написано: «Все работают на палубе, в машинном отделении теперь спокойно, разрешите обрабатывать рыбу. Алеша меня не понимает. Переведите ему, пускай отпустит. Луис».

Я перевел. Алеша расхохотался.

— Он уже полчаса показывает мне на палубу и что-то бормочет. Знает, без разрешения выйти из машинного отделения запрещается. Пойду-ка отпущу.

От такого на душе становится легче. Ребята учатся на самом деле, становятся моряками. Значит, скоро и нам можно будет по домам.

НЕМНОЖКО ФИЛОСОФИИ — НАВЕРНОЕ, ОТ ЖАРЫ

Неохота говорить избитые вещи. Кто не писал про шторм на море и у кого еще есть силы про это читать? Я все время проверяю себя — не подсовываю ли читателю вчерашние остывшие блюда? Признаюсь от души, очень стараюсь этого избежать. Как видите, я не рассказываю ни про стройно шагающие колонны революционеров, ни про ликвидацию безграмотности на Кубе, ни про национализацию. Все это существует, неповторимо прекрасна история кубинской революции, можно было бы и про это, да вы и без меня все это знаете. Я пишу то, что видел, когда был матросом, потом боцманом, а чего не видел, того не пишу.

И, пропуская все пейзажи бушующего в шторм тропического моря, завывания ветра и вопли «о!» в эфире, я

хотел бы остановиться на одном свойстве человека, которому не устаешь поражаться всю жизнь и которое еще должно бы найти место в восприятии читателя.

Это сказочная, невообразимая, таящаяся в каждом человеке способность привыкать.

У него много имен, у этого свойства. Одно из них — терпение. Другое — мужество. Когда проходит много лет, когда мы смотрим назад из перспективы истории, тогда кажется, что нельзя было высидеть зимой в окопах над Волгой. Тогда пишут романы, поют песни и тогда говорят: подвиг.

Как назвать Толин фурункулез? Как назвать одни рабочие сутки, будничные, ничем не выделяющиеся рабочие сутки советских рыбаков в тропических морях?

Наши «СРТ-Р» запроектированы для севера, для полярной зоны. Иллюминаторы крохотные, вентиляции никакой. Все построено так, чтобы как можно лучше экономить внутреннее тепло судна. И когда в Мексиканском заливе тридцать пять — сорок градусов жары (а меньше я что-то там ни разу не встречал), в каюту можно только забежать, схватить штаны — и снова на палубу. Раскаленный металл корпуса, жар от двигателей и испарения солярки, преющая одежда, рыбьи отходы, нанесенные с обувью, — в жару все это невыносимо. Спать в каютах мы и не думаем. Все, включая и кубинцев, вроде бы привычных к жаре, спят наверху.

Теперь, когда мы не можем нарадоваться на новых кубинских практикантов, работа не прекращается ни на минуту. Мы ловим рыбу, выполняем план.

Только вот спать негде. Совершенно нельзя выспаться после двенадцатичасового рабочего дня. Кажется, умрешь от бессонницы или просто взбесишься.

И все-таки мы привыкаем. Спим. На верхней палубе, над рулевой рубкой. Там — как на идущем поезде. Только не в купе, а на открытой платформе, если бы только со всех сторон шпарили по тебе прожекторы да катались бы по этой платформе, скажем, запасные колеса. И если б так же жарко было. Что ж, мы привыкли. Даже наловчились отключать из своего моряцкого сознания реакцию на команды — вещь, которая крепче сидит в нас, чем собственное имя. Конечно, когда Виктор (он руководит второй сменой) завизжит над ухом: «По-лу-ундра! Куйдате (берегись), сейчас тебе голову оторвут!» — просыпаешься немедленно. Но это не из-за

команды. Просто таковы особенности голоса Виктора. Только он умеет так кричать — кажется, судно раскалывается пополам. Вскочишь, оглядишься очумело, поймешь, что это только Виктор, что он орет не тебе, а своей смене, и валишься обратно. Но к грохоту лебедок — это два исполинских железных барабана, во время их работы ничего нельзя услышать, они стоят тут же, у рубки, — мы уже привыкли. Во время качки твое тело катается, вторая смена бегает меж спящих: пнут ногой, наступят — привыкли. Сами так поступаем, когда наша смена работает. Если застигнет дождь, а он бывает примерно раз в три дня, всегда обильный, тропический, тоже почти что глаз не открываешь. На ощупь, сопя во сне, пошлепаешь босиком вниз, схватишь в кают-компании со стола клеенку, а если не успел, если другой оказался сообразительнее, схватишь какой-нибудь непромокаемый комбинезон, закроешься им с головой и спишь дальше. Потому что дождь здесь не приносит прохлады, в каюту же все равно не пойдешь. Только «спеши» спать. Скоро смена.

Если ты работал ночью и отдыхать выпало днем, проблемы те же плюс солнце Мексиканского залива. Есть на судне только два места, где всегда тень. Это под обеими спасательными шлюпками. Правда, там опасно. Приходится лежат у самого края судна, никакого ограждения нет и быть не может, от моря тебя отделяет только горизонтально протянутая цепь. Качнет, и лежащий человек легко проскользнет под ней. Так случилось с матросом Иваном Петровичем (не с нашего судна). В память о нем кубинцы назвали комсомольскую организацию своего рыболовецкого флота «Имени Петровича». Только вот редко приходится поспать под этими шлюпками. Не успеваешь. Эти места, хоть опасны, всегда заняты. Пока передашь смену, отмоешься от чешуи, туда непременно залезает кто-нибудь из матросов. Но днем, конечно, все равно спим. Намочишь в воде простыню, не выжимая накроешься ею — разумеется, с головой, — и спишь, пока простыня не высохнет. Тогда проснешься и снова бежишь макать ее в воду. Только упаси боже раскрыться во сне. Если нога побудет хоть полчаса на солнце — кожа пойдет волдырями.

Нельзя сравнивать такую жизнь с каторгой. Ведь приехали мы сюда по своей воле. Зарабатываем. Не выдержишь — просись домой. Если совесть позволит оставить друзей и навалить на них твою часть работы, тебя, де-

зертира, посадят на первый же пароход или самолет, и возвращайся себе домой. Иногда это и случается. Так что не каторга. Но факт, что физическая боль и ушибы у нас бывают каждый день. К физической боли, конечно, не привыкнешь, нечего притворяться. Только приучаешься не обращать на нее внимания.

Скажем, когда работаешь в трюме, рыбу с палубы подают к тебе по длинному брезентовому рукаву. Он широкий, как ведро. На дне трюма расставляешь ящики, высоко над головой закрывается толстый изолирующий холод люк, в трюме полумрак, мерцает одна электролампочка. Ты кричишь вверх, в этот рукав:

— Гони!

И начинается. Двое ребят наверху сваливают в глотку рукава ящик за ящиком рыбы, каждый по сорок килограммов. По промерзшему брезенту рыба гремит вниз нескончаемым потоком. В трюме, широко расставив ноги, обхватив рукав, как бревно, подпирая его животом и коленкой — полный рыбы, он чертовски тяжел и бегает как живой, — ты направляешь этот поток в ящики, что у тебя под ногами. Надо быть очень внимательным, наполнить каждый ящик, но не слишком, чтобы осталось место для льда и никоим образом, упаси боже, не выпустить рукав из объятий. Тогда за несколько секунд тебя завалит рыбой по пояс, и потом хоть плачь в этом качающемся полумраке, в мешанине порожних и полных ящиков, дробленого льда, разносортицы рыбы. Остановишь всю работу и за час не расхлебаешь. Тут-то и начинаются изощренные рыбацкие мучения. Рыба, падая с четырехметровой высоты, часто пробивает брезент своими колючками, как правило, в том месте, где ты подставил живот или коленку, и впивается тебе в тело, насквозь протыкая ватник или резиновый сапог. Колючка переламывается в тебе, рыбий поток со свистом летит по рукаву дальше, и ты должен держать этот рукав, да не только держать, а и передвигать, направляя струю во все новые ящики. Можешь вопить во всю глотку, чтобы остановились, никто тебя не услышит, там, наверху, и тут все грохочет, крышка люка герметична, ты словно похоронен заживо и только держи, только направляй и жди, стиснув зубы, ежесекундных и все новых ударов отравленным шилом. Ухитряешься, балансируя на краях ящиков (ноги-то некуда прочно поставить), захватить эту колючку губами, нащупывая ртом по покрытому слизью и

чешуей колену или рукаву, и вытащить ее зубами, если урвал время на это. На первый ряд ящиков, когда он уже полон, ребята устанавливают второй, за ним третий, процесс не прекращается: их будут ставить до тех пор, пока не высыплют весь улов из трала. И лишь тогда, когда ящики будут аккуратно уложены вдоль стен, крышку трюма на минуту откроют, и мы выберемся наверх. Тогда сможешь вытащить из тела колючки, которых не ухватить было ртом, — из пятки, бедер, живота, из спины. Другого выхода нет. Латы для этой работы еще не придумали.

Так же и к урагану привыкаешь.

В первую ночь траулер только раскачивался на волне под углом двадцать градусов в обе стороны. Это было нормально, — мы хватались за стены или просыпались только тогда, когда крен доходил до каких-нибудь двадцати пяти. Так миновали первые сутки. На следующую ночь качка стала двадцать пять — тридцать градусов. Промысел пришлось прекратить. Мы все забрались на верхнюю палубу и спим себе счастливые. Хорошо, когда шторм! Можно отдохнуть. Спишь и знаешь, что никто тебя не стащит за ноги, потому что мешаешь штурману. Конечно, тоже просыпаешься, но только изредка, когда судно и впрямь встает на дыбы. Со сна человек всегда немного разморен, и, когда проснулся, оттого что палуба стала на дыбы, на краткое мгновение шторм действительно кажется страшным. Раскинешь руки крестом, прижмешься ладонями к доске палубы, чтобы удержать свое сползающее тело, дождешься мгновения, когда нос судна со свистом несется вниз, потом днище с грохотом бьет по воде, и тебя уже нет, ты снова спишь.

Нашим молодым кубинцам ураган в море был внове. Не знали они, какие прекрасные суда эти «СРТ-Р». Им поэтому было страшнее, чем нам. И непривычный организм сопротивляется такому нечеловеческому насилию. Даже молодец Эусебио Хименес, респосабле (староста) всей группы, сидит, забившись в угол, сжав коленями уши. Уже третий день он не ест, не спит. Только изредка доползет до фальшборта рулевой рубки и помучается, пытаясь отдать дань Нептуну.

У нас есть для него лекарство. Старое, испытанное столетиями морское лекарство. Работа.

— Эусебио! Твоя вахта на руле!

Придумали мы это, конечно.

Он только взглянет жалобно. Белки глаз пожелтели, как от лихорадки. Голову поднять не может. Нет на вас креста, думает, наверно.

— Эусебио! Все уже свое отстояли! Скорее, скорее иди!

И Эусебио идет, понося в душе и нас, и море.

Два часа провисит на штурвале под бдительным оком штурмана. Но все-таки держится в вертикальном положении! Только закончил вахту, глянь, уже снова согнулся в три погибели, сжимает лицо в ладонях, глаза ищут ближайшую дверь.

— Эусебио! На верхнем мостике все наши перебирают трал. Иди подсоби. Нельзя же так.

Он бы испепелил меня взглядом, если бы имел хоть чуть побольше сил. Но идет. Наталкиваясь на стены узкого коридора, припадая на колени, приклеиваясь руками к поручням.

А наверху свежий ветер. Наверху работают наши, привязавшись концами, чтобы не кататься. Мы работаем — уже выспались досыта. Готовим тралы про запас. Нам немного легче, чем новичкам, но и мы давно не мылись, многие плохо едят. Но мы умеем концентрировать внимание на сложной дели трала. Именно сейчас, и только сейчас, можно услышать, как сорокалетний увалень, завсегдатай ресторанов Пионерского, Клайпеды и Калининграда и гроза всех швейцаров, рассказывает про свою первую любовь. Слушаем и даже способны улыбнуться побледневшими губами.

Эусебио поначалу только притворяется, что он тоже распутывает дель трала. Разговор ведется то по-русски, то по-испански, я пытаюсь переводить наш разговор — на этом тоже надо уметь сконцентрировать внимание. Эусебио начинает забываться, а потом и сам уже что-то рассказывает.

Значит, старое лекарство действует.

Только вернувшись в Гавану, мы узнали, что это был ураган «Флора», что в море погибло много судов, а на Кубе и в Гаити — около восьми тысяч человек.

«Я ДЕЛАЮ КАРЬЕРУ»

На завтрак мисс Керолайн, корреспондентка одной из британских компаний радио и телевидения, как обычно, опоздала. Это высокая, юная, дьявольски элегантная

блондинка с пухлыми губками и чуть заспанными глазами. Ее красные брючки в обтяжку, ярко-голубая спортивная блузка с закатанными рукавами — единственное яркое пятно в компании мужчин, одетых в полувоенное. Вторая наша женщина, корреспондентка польской газеты «Жиче Варшавы» Анеля Крупиньска, значительно старше, и у нее хватило такта одеться подобающе для поездки в районы, опустошенные ураганом. В городе Ольгин уцелела только одна гостиница, и обеим женщинам пришлось спать в одной кровати.

— Ах, для меня эта поездка такая необыкновенная, столько впечатлений! — тараторит мисс Керолайн глуховатым голосом курящей женщины, раскладывая на коленях салфетку. — Кругом столько коммунистов... И знаете, они такие же люди! Совсем такие же. Я теперь их не боюсь... — кокетничает мисс. — Я даже спала сегодня с коммунистом (как известно, в английском род существительных прямо не выражен, и мисс Керолайн именно на этом построила свою сомнительную шутку).

— О, пустяк, — отрезает Крупиньска. — Вы такая молодая. Много еще успеете... Все еще впереди...

Мужчины усмехаются — в нашем маленьком коллективе уже сложилось определенное мнение о мисс Керолайн.

...Ураган неожиданно изменил и мою судьбу.

Убежали мы тогда от него в Гавану удачно, не перевернулись и никого не потеряли. Выгрузили рыбу, и я стал красить масляной краской мачту, повиснув на стеньге. Слышу, капитан кричит:

— Тебя срочно вызывают в представительство!

Реваз Андреевич недоволен, видно, предчувствует, из-за чего меня вызывают.

— Может, потом? — говорю. — Я ведь только что взобрался. Еще вымазаться как следует не успел. Может, после обеда?

— Слазь, слазь без разговоров, — и добавляет по-морскому.

Представительство — это наш штаб, руководящий операциями рыболовной флотилии и строительством рыболовецкого порта на Кубе. Отмывшись под душем, я предстал перед его руководителем Кулаженко.

— Возьми зубную щетку, мыло. Завтра на рассвете

выезжаем в Сантьяго-де-Куба,— сказал он. Будешь сопровождать меня в качестве переводчика.

— Константин Никитич! Я же не знаю испанского.

— Не морочь мне голову. Видел... Болтаешь с кубинцами почем зря.

Как подобает добросовестному литератору, отправляясь в новую страну, я, разумеется, немного изучал язык. Два месяца сидел в Вильнюсе, с утра до вечера зубрил как сумасшедший. Ну и на судне каждый день приходилось говорить с кубинцами как боцману... Но переводить?!

— Попрощайся ты со своим «Омулем». Будешь работать в представительстве. Сам знаешь, переводчиков не хватает.

Так и стал я «сухопутной крысой» и на судно больше не вернулся.

По этому случаю я хотел бы сказать читателям, особенно молодежи, мечтающей о дальних странах, о занимательной работе, что нашей стране позарез нужны специалисты всех отраслей, хорошо владеющие одним-двумя иностранными языками, для контактов СССР с заграницей, которые увеличиваются изо дня в день.

Сейчас различные министерства и ведомства ощущают острую нехватку медиков и инженеров, учителей и моряков, сварщиков, агрономов, кинооператоров, сантехников, геологов и других специалистов, владеющих иностранными языками. Нужны десятки тысяч людей, притом самых разных работников. Нужно быть только хорошим знатоком своего дела, иметь стаж, репутацию порядочного человека и свободно владеть одним-другим языком.

На рассвете мы выехали на автостраду Виа Бланка. Кулаженко, теньенте (лейтенант) Рэмон Дакаль, директор института рыбной промышленности (соответствует нашему министерству), и я. Первую тысячу километров, до самого Камагуэя, наш лимузин миновал, не встречая никаких препятствий. Здесь «Флора» не проходила. Но чем дальше на восток, тем чаще видели мы следы урагана — сломленную ветром банановую рощу, поваленные столбы, стадо быков, бредущее из затопленных районов. Настроение становилось все более напряженным, как будто приближаешься к линии фронта. Обгоняем три автобуса с медсестрами — лица озабоченные, у каждой санитарная сумка. Спешат грузовики с лодками. Встречаем пер-

вых беженцев, навьюченных детьми и скарбом. Усталые, испуганные лица.

После Камагуэя дорога исчезла. Будто после бомбежки, бетонные плиты автострады искорежены. А до самого горизонта, насколько может охватить взор, простирается море мутной воды. Мы вздремнули в аэропорту и утром выклянчили места на транспортном самолете — регулярное движение прервано, наш самолет везет бригаду голландских врачей и группу военных телефонистов. Вскоре оказались в городе Сантьяго-де-Куба, столице провинции Ориенте.

В порту встретили судно «Буревестник» — советская плавучая база первой поспешила на помощь жертвам урагана. Нашей задачей было организовать выгрузку и доставку рыбы потерпевшим от урагана людям. Часов за шесть был организован настоящий «конвейер жизни». Пакеты с замороженной как камень рыбой плавбаза сгружает на грузовики, те на всей скорости, пока лед не растаял, мчатся на аэродром. Там рыбу погрузят на самолеты, в промежуточных аэродромах на вертолеты, танки-амфибии, и вскоре она попадет к голодным людям, потерявшим кров, имущество и надежду.

Ураган, свирепствовавший пятеро суток, стих. Смерч ветра и воды шириной в несколько сот километров не только прошел по восточной части острова, но сделал здесь петлю и целый ряд районов опустошил дважды. Ветер, несшийся со скоростью самолета, разрушил дома крестьян, каменные здания, вода снесла бетонные автострады и мосты. Только за первые сутки на метеорологических станциях был зафиксирован полутораметровый столб воды. Неслыханно разлились мелководные и обычно небурные реки этого края.

Рядом с провинцией Ориенте возвышаются горы Сьерра Маэстра. Ураган еще бушевал в полную силу, когда на равнину хлынула вода с гор. Это был третий удар. Этот гигантский, слившийся воедино поток несся в море, все разрушая на своем пути. Люди спасались на холмах, на крышах высоких зданий, привязывали себя к деревьям. Но ураган валил и деревья... Тонул скот, вода смыла посевы, уничтожила запасы пищи. Погибло около двух тысяч человек. Жертв наверняка было бы в десятки раз больше, если бы не революционная армия Кубы, которая с первого же дня вступила в борьбу со стихией, если бы не Фидель, который лично руководил этим сраже-

нием. Танки, саперные части, авиация, особенно батальоны вертолетов делали чудеса и демонстрировали отличную боевую подготовку в спасательных работах. На соседнем Гаити, где «Флора» бушевала всего два дня и не делала никакой петли, число погибших достигло шести тысяч.

Когда мы прибыли, вся провинция Ориенте лежала под водой, люди все еще торчали на деревьях, ждали помощи, другие стояли по колено или по пояс в иле, плавали по бурой воде на плотах. Голодные, изнуренные, исхлестанные ливнями, обожженные солнцем. Женщины, дети, старики. Армия и Фидель продолжали действовать. На борьбу со стихией были брошены все силы и ресурсы республики.

Мы сделали что могли. Рыбный «конвейер» действовал безотказно. Всем, что у нас было, мы поделились с кубинцами, и, с разрешения Кулаженко, я присоединился к группе иностранных журналистов, прибывшей сюда, чтобы рассказать о последствиях урагана и ходе спасательных работ.

ГИЕНЫ

Мисс Керолайн и дальше блистала остроумием.

Вот мы прибыли на аэродром Ольгина. Едва успели выйти из самолета, а Керолайн уже мчится куда-то, только и сверкают ее синие и алые шелка, развеваются золотистые кудряшки. Она увидела, что идет на посадку вертолет. Он доставил тяжелых больных из затопленной зоны. Еще вертится ротор, а босые, перепачканные в иле солдаты уже бегом выносят изнуренных детей рыдающих женщин. Все мокрые, с вертолета капает грязь, и каждому ясно, что эта машина только что, каких-нибудь пятнадцать минут назад, поднялась с развалин или холма, превратившегося в остров и подмываемого водой, оставив целый лес протянутых рук, умоляющих: «Меня! Меня!»

Экипаж спешит поскорей туда вернуться.

Учуяв добычу, мисс Керолайн носится от одной спасенной жертвы к другой — это ее люди, она первая! Куда-то исчезли все ужимки сытой кошки.

Вот она увидела то, что ей нужно.

Солдатик в каске несет на руках умирающую старуху, завернув ее в простыню. Скелет, обтянутый серой мор-

щинистой кожей. Судорожно вздрагивают пальцы, торчат из-под простыни синие грязные икры. Мисс Керолайн проталкивается через толпу санитаров, солдат, и летчиков, сует женщине под нос микрофон.

— Рассказывайте свои впечатления о циклоне! — кричит она на ломаном испанском языке. — Как там было, рассказывайте!

Дисциплинированный солдат остановился.

— Говорите! — Керолайн трясет женщину за плечо, хлопает по щекам, чтобы пробудить ее.

— Диос... синьора доктора... Что говорить...

— Что-нибудь! Все равно!

У старухи снова падают веки, но Керолайн уже охвачена истинно журналистским вдохновением.

— Молитесь! — кричит вдруг она. — Я из радио! Это радио! — Она трясет плечо женщины, голова у той качается, приоткрылся беззубый рот. — Ваша молитва пойдет на небо, прямо в небеса!

— Диос... Отче наш... иже еси на небеси... Отче наш... — голос срывается, несчастная женщина не может вспомнить даже слова, повторяемые с раннего детства.

Подбежал канадский врач, изо всех сил оттолкнул Керолайн локтем, та шлепнулась в лужу. Врач сердито прикрикнул на солдата, и тот бегом понесся в палатку операционной. Мисс Керолайн даже не посмотрела, кто это тут толкается. Сидя на земле, она ловко перебирает лакированными коготками клавиши магнитофона, вот она уже перекрутила пленку, сунула в ухо контрольный телефон, слушает. Судя по счастливой улыбке, она довольна кадром. Сейчас она потребует машину, разумеется, санитарную, с сиренами, полетит на почту, передаст эти несколько слов по трансокеанскому кабелю, и через полчаса «доподлинный, объективный репортаж с Кубы», вместе с соответствующим комментарием — «полное отчаяние людей, агония тысяч» прозвучит по радиоволнам из Лондона.

В группе нас восемнадцать. Из социалистических стран всего несколько — полька, чех, болгарин, кубинцы и мы с Русланом Князевым, корреспондентом ТАСС в Гаване. Остальные французы, англичане, канадцы, латиноамериканцы разных мастей, работающие в телеграфных агентствах США, египтянин. Настоящее вавилонское столпотворение. Общество вежливых, благовоспитанных людей.

— Садитесь, прошу вас.

— Нет, вы садитесь, вы старше.

— Как вы переносите этот ужасный треск вертолетов? Может, желаете таблетку «мехораля» от головной боли? У меня есть совсем свежие.

— От этого смрада гниющих коров я, знаете ли, просто места себе не нахожу. Угощайтесь, будьте любезны, из моей фляжки. В ней отменный шотландский виски.

— Не хотите ли кофе из моего термоса?

Все опытные профессионалы, обвешанные фото- и киноаппаратами, телеоптикой, магнитофонами. И надо хорошенько всмотреться, чтобы увидеть вытянутые морды гиен, клыки хищников, питающихся падалью.

Казалось бы, что может быть трагичней такого стихийного бедствия? Ураган ничего общего не имеет ни с социализмом, ни с капитализмом. Он опустошил Кубу так же, как и Гаити, остров, управляемый средневековым диктатором Дювалье. Жертвы, разрушения были неизбежны. И Куба, казалось бы, должна интересовать печать именно тем, чем она отличается от других стран Латинской Америки, — отличной организацией спасательных работ, гигантскими силами и средствами, которые правительство, армия, весь народ уже в первый день бедствия бросили в зону бедствия; можно было только восхищаться солидарностью прогрессивных сил мира и конкретной, очень эффективной помощью. Казалось бы, не надо сочувствовать революции, чтобы увидеть временные полевые аэродромы в Байамо, Ольгине, Кэмагуэе, которые за двое суток были приспособлены для эвакуации сотен тысяч крестьян, где мгновенно возникли склады продовольствия, полевые госпитали, общежития, даже родильные дома. Самолеты и вертолеты взлетали и садились круглые сутки на каждом аэродроме на трех полосах одновременно. Сведущие люди скажут, какого это требует умения и дисциплины, слаженности в работе. Саперные части сразу же приступили к восстановлению, танки-амфибии неслись по илу, переправлялись через потерявшие русло реки, пробирались через леса, доходили до самых глухих уголков. Не иссякала выдумка кубинцев. Взять хотя бы и эти «продовольственные бомбы». Аэродромы довольно скоро были завалены горами продовольствия. Продукты и медикаменты доставлялись из всей республики, самолеты прилетали в Ориенте пря-

мо из Москвы, Праги, Варшавы, Лондона. Неожиданно много самолетов прислала Канада. Но почти невозможно было доставить все эти продукты и медикаменты на места. Удобнее всего это делать на вертолетах, но они поднимают сравнительно небольшой груз и заняты основным делом — эвакуацией населения. И вот сотни батальонов добровольцев стали изготовлять нейлоновые мешки и нагружать их самым необходимым, так, чтобы эти мешки могли держаться на плаву. Эскадрильи самолетов патрулировали над затопленными районами, над заброшенными в горах, отрезанными обвалами деревеньками и усеяли всю провинцию этими «бомбами жизни», одновременно сообщая по радио, где необходимо вмешательство вертолетов. Пилоты целые сутки не выходили из машин, персонал аэродромов валился с ног, и я удивляюсь, что при этом число воздушных катастроф было совсем ничтожным. Замещая обессилевшего летчика, Фидель сам часто садился за штурвал вертолета. Мы, журналисты из социалистических стран, действительно старались вникать в работу всей этой огромной махины. Мы искали героев урагана — летчиков, врачей, снабженцев. Это была не только солидарность с Кубой. Этого требовала объективность и простая человеческая порядочность. Как было не восхищаться крестьянами из деревни Трес Пальмас, которые двое суток брели по горло в воде, поддерживая друг друга, а когда рядом с ними сел вертолет, отказались улететь.

— Мы как-нибудь выберемся! — кричали они летчикам. — Вы поищите на севере, в долине реки Кауто. Там течением уносит в море, мы видели, деревянную повозку, на ней пятеро детей, родители которых утонули!

Милисиано Рафаэль Виво два раза плавал в затопленную деревню. В первый раз он вынес женщину, во второй — ребенка. Он погиб, когда поплыл в третий раз. Говорят, он хотел спасти свой автомат. Форсируя реку, едва не утонул Фидель. Один из иностранных хирургов сделал за день пятнадцать операций и два раза давал свою кровь больным.

Но корреспондентов капиталистической прессы это не интересовало. Да, в дружеских беседах, когда мы усаживались покурить, они охотно отдавали должное и характерному для кубинцев геройству, и отличной социалистической организации спасательных работ. Но они все равно находили, в чем бы порыться. Мисс Керолайн на свой,

особый лад создает «объективные» репортажи; француз из Франс Пресс возмущается тем, что революционная армия даже перед лицом такой опасности не расстается с оружием; репортер какой-то газетенки в Израиле ищет слабые звенья в системе эвакуации и гордится, когда их находит. Египтянин посвятил всю свою корреспонденцию тому, что в зоне бедствия закрыты все рестораны и кабаре. Всем им не надоедает снимать падаль, развалины, мертвецкие в палатках при госпиталях, братские могилы, женщин в истерике, растерянных, оборванных детей. Они не фабрикуют фактов. Они работают тоньше — сознательно искажают пропорции и замалчивают суть.

Больше всех понравился в нашей группе — не только мне, но и всем коллегам — англичанин, корреспондент «Рейтера», мистер Б. Общительный, неунывающий, корректный, каждый день чисто выбритый. Кажется, ни пыль, ни грязь к нему не пристают. Настоящий английский джентльмен. Берет объективные интервью, фотографирует и трагические эпизоды и спасательные, восстановительные работы. Когда в нашей пестрой компании разбушуются политические страсти, мистер Б. умеет несколькими словами смягчить возникшую враждебность, опасную в подобной экспедиции. Опытный журналист, двадцать лет работает за границей. Мистер Б. стал неофициальным старостой нашей группы. После одного скандала особенно вырос его авторитет.

Как-то мы сидели в столовой, и один из нас включил транзистор. Говорил диктор одной из станций США.

«Как сообщает корреспондент агентства ЮПИ из Орианте, в опустошенных ураганом провинциях Кубы свирепствуют голод и эпидемии. Сюда пригнали много советской военной техники, но авиация занимается исключительно воздушной разведкой и усмирением повстанцев. Продовольственные запасы исчерпаны. Летчики ничего не могут сбросить крестьянам, которых отрезало наводнением...»

Мистер Б. переждал, пока стихли наши крики возмущения, потом встал и обратился к синьору О., парагвайцу, работавшему на американскую ЮПИ.

— Это, разумеется, дело ваше и ваших боссов, молодой человек, — спокойно процедил он. — Но я случайно был свидетелем. Эту телеграмму вы писали, пристроившись на горе «продовольственных бомб». На одной из множества этих громадных гор. Не знаю, как другие кол-

леги, но я лично не желал бы иметь больше с вами никаких дел. Ни в этой поездке, ни позднее, когда мы вернемся в Гавану.

А через неделю, уже в Гаване, мистера Б. арестовали. Органы безопасности Кубы поймали его за руку во время контактов с контрреволюционерами. Оказалось, мистер Б. уже три года работал агентом иностранной разведки. В этот раз он пособничал канадским летчикам, доставившим жертвам урагана медикаменты Красного Креста. Наряду с лекарствами канадцы привезли в замаскированных ящиках взрывчатку для контрреволюционного подполья, валюту и зажигательный пластик. Революционная обстановка требовала казнить мистера Б., но кубинское правительство ограничилось высылкой его из страны и вручением Англии резкой ноты протеста.

КУБА ГОЛОСУЕТ

Чего только не болтает империалистическая пропаганда об острове Свободы! Если ограничиться одной западной печатью, если слушать тамошнее радио, то у многих может создаться ужасное впечатление о том, что происходит на Кубе. Тут и «милитаризм», и «концлагеря», и «преследование религии», «беженцы» и даже «голод».

Не стоит даже терять время на разоблачение подобной лжи. Мне хотелось бы, однако, остановиться только на одной мелодии, которая глухим басом звучит в этом вое врагов: «На Кубе нет свободы выборов! Народ не может изъявить свою волю!» Почему-то янки не плакали над этим, пока на Кубе свирепствовала кровавая диктатура Батисты или Мачадо. Не трогает «великих демократов» и то, что нет и тени свободных выборов в Гватемале, Парагвае, на Гаити, в Гондурасе, Сальвадоре — почти во всей Латинской Америке. Более того, стоит только в любой из этих республик провести настоящие выборы, стоит прийти к власти более или менее либеральному правительству, как наймиты янки тотчас свергают его. Разумеется, из соображений «сохранения демократии».

Кубинский народ недвусмысленно голосовал, помогая «бородачам» Фиделя Кастро в горах Сьерра Маэстра. В конце 1958 года по стране прокатилась всеобщая забастовка, замерла вся жизнь. В результате всеобщей забастовки армия повстанцев 2 января 1959 года без единого

выстрела заняла Гавану и ввела свою администрацию во всей стране. Так голосовал народ. Голосуют кубинцы и сейчас каждый день — своим оружием. Ведь милиция в городах и деревнях — это всеобщее народное ополчение. Практически у каждого мужчины и почти у половины женщин помоложе висят на поясе пистолет и патронташ, а во время несения патрульной службы за спиной карабин или автомат.

Какое другое правительство Латинской Америки посмело бы раздать народу оружие? Какое тут еще нужно голосование?

Но революционное правительство идет еще дальше по пути демократии и вводит новые формы выявления народного мнения. Про них еще сравнительно вяло писали, и, может быть, они заинтересуют читателя.

Началось это, кстати, с той же «Флоры».

Вернувшись в столицу из зоны урагана, Фидель выступил с большой речью по радио и телевидению. Он откровенно рассказал о последствиях урагана, о тяжелом положении с продовольствием, со всей экономикой страны. Он ознакомил с планами ирригации и лесонасаждений в восточных провинциях и предложил народу обсудить и сказать свое мнение о новом законе, который направлен на накопление средств.

Фидель предложил:

1. Поднять цены на сигареты по пять сентаво на пачку.

2. Урезать нормы некоторых продуктов, отпускаемых по карточкам.

3. Ввести карточки на сахар, который до сих пор не нормировался, и выдавать его по шесть фунтов в месяц на человека с целью увеличения экспорта.

На другой день после речи Фиделя в моем кабинете зазвонил телефон:

— Компаньеро, после работы в зале заседаний состоится собрание по обсуждению нового закона, предложенного Фиделем. Просим участвовать!

Не очень люблю собрания, но здесь, думаю, неудобно не явиться. Все-таки ты советский человек, должен показывать пример.

Зал Национального института аграрной реформы, где я в то время работал, заполнился ровно в назначенный час. Председатель профсоюза перечислил все основные тезисы закона, в нескольких словах отметил тяжелые по-

следствия урагана, сказал прямо, что тяжесть новых экономических ограничений ляжет на народные плечи и что революционное правительство не хочет брать на себя такую ответственность.

Сразу же взметнулось около десяти рук, и на трибуну взбежала пожилая негритянка.

— Что это за норма — шесть фунтов сахара в месяц? — начала она сразу, живо жестикулируя, как все кубинцы. — Я сама хозяйка, у меня пятеро детей. Мы и теперь потребляем по шесть фунтов сахара на человека! Что это за нормирование? Что выиграет наша экономика? Раз нормировать так нормировать! Я предлагаю ввести лимит в размере трех фунтов на человека в месяц. Хотя бы временно, пока будут ликвидированы последствия урагана.

Она говорила так ясно, по-деловому, точно формулируя фразы и думая в государственном масштабе, что мне стало не по себе. Подумал, что все роли расписаны заранее.

Председательствующий предоставил слово другой женщине, из другого департамента.

— Я поддерживаю ваше предложение, товарищ. Сахар надо нормировать, особенно сейчас, когда он так дорог на международном рынке. Но три фунта — это мало. Я предлагаю ввести норму в четыре фунта! Но есть еще одна вещь, компаньерос! Сколько мы можем терпеть в своей среде пьяниц?! Позор революции! (Кстати, кубинцы очень мало пьют, на улице почти никогда не увидишь пьяного.) Я знаю, встречаются такие ужасные алкоголики, которые в среднем за неделю выпивают целую бутылку рома. Я предлагаю удвоить цены на ром. Тогда уж точно средств хватит!

Мне стало тоскливо. Легкий коктейль со льдом хорошо спасал от одиночества в чужой стране. Как же будет теперь?

Но вижу, мужчины зашумели. Чешут затылки, просят слова.

— Не будем отходить от предложений Фиделя, товарищи, — промолвил один, прорвавшись на трибуну. — Примем закон таким, как его предложили. При чем тут ром?..

Из зала зашумели:

— Для того и обсуждаем закон, чтобы найти новые источники средств! Сам, видно, любитель выпить!

— Дайте человеку сказать, дело говорит. Фидель ничего про питье не упоминал!

— Нечего защищать алкоголиков!

Председательствующий еле сдерживает собрание — что ж, южане. Мужчина продолжает:

— Я против повышения цен на спиртное. Уже раз повышали. Если еще раз повысить — не будут покупать. Может остановиться производство. Не забывайте, на ромовых заводах трудятся такие же рабочие, как и мы. А вот цены на пиво — согласен, можно даже удвоить. В городе пива все равно не хватает, станет подороже — тогда будет хватать, и государству выгода...

Мне стало интересно. Я лично согласен с этим мужчиной, чуть было сам не полез на трибуну. Весь зал кричит: у каждого свои идеи.

Коротко, конкретно, не больше, чем по две-три минуты, выступило около двадцати сотрудников института. Некоторые совсем не согласились с законом, возмущались — как это Куба, крупнейший производитель сахара в мире, будет ограничивать потребление сахара собственными гражданами? Но таких голосов было только несколько, и вскоре председательствующий поставил вопрос на голосование.

Прежде всего были выбраны счетчики голосов — по одному на каждый ряд стульев. Потом председательствующий сказал:

— Голосуем в порядке поступления предложений. Первое предложение Фиделя: кто за то, чтобы ввести лимит сахара по шесть фунтов на человека в месяц?

Поднялись руки, но не так уж много. Счетчики тщательно и громко сосчитали, председатель и комиссия внесли результат в бюллетень.

— Кто за норму в три фунта?

Лес рук, к моему удивлению, был значительно больше.

— Кто за четыре фунта?

Совсем мало рук.

— Кто вообще против нормирования сахара?

Поднялось около двадцати рук.

Таким же образом проголосовали повышение цен на сигареты по десять сентаво за пачку, удвоение цен на пиво. Но предложение повысить цены на спиртное нашло совсем мало сторонников — за него голосовали одни только женщины.

Я вздохнул с облегчением...

В ноябре таким же образом голосовали закон о всеобщей воинской повинности.

Кубинцы доказали, что они голосовали искренне. Уже первого декабря у призывных пунктов выстроились длинющие очереди молодых мужчин и женщин.

Согласитесь сами, что очереди у призывных пунктов в такие суровые будни, какие переживала тогда Куба,— это внушительное голосование.

«ЛОС ЭСПЕСЬЯЛИСТАС СОВЬЕТИКОС»

— Положение у нас безнадежное, слов нет. Двое, без помощников, что мы сделаем? Но больше всего, — горячусь я, — меня пугают те вопросы, которых мы еще не знаем и потому не можем к ним подготовиться.

— Закурите, — предлагает товарищ Грицюк.

— Нет, серьезно! Все во мраке. А может, вы знаете? Найдутся ли там, скажем, чертежники? Ватман? Ток высокого напряжения? Поймет ли кто-нибудь наше мнение? Или... Кстати, как ваш желудок? Сколько времени вы еще выдержите, питаясь черной фасолью с вареным рисом?

— Знаете что, Альгис Юргисович, — говорит мне товарищ Грицюк, как всегда спокойно, другому покажется — вяло, — зимой сорок третьего в Баренцевом море потопили наш торпедный катер. Я очутился в воде — перелом обеих ног, контузия, чувствую — коченею. Знаю, что ни с самолета, ни с судна ни один черт не увидит мою одинокую голову среди волн. Тогда мне тоже казалось, что положение безнадежно. Сказал бы, сейчас нам чуток легче.

Я замолчал. Бывает и такого рода оптимизм.

Конечно, теперь нам действительно легче. И не мерзнем, и ноги целы. Если чуть контужены, то только морально. Сидим себе на бетонной лавочке в красивом, самом молодом районе столицы — Гавана дель Эсте, в тени небоскреба, в котором живем. Казалось бы, какие тут сравнения с войной — у нас в этом небоскребе по отдельной квартире из трех комнат с кухней, горячей и холодной водой. Мы получаем жалованье, карточки — хватает на пропитание, да и самолеты контрреволюционеров не появлялись уже несколько дней.

А ведь неспокойно, как перед атакой. Атака начнется сегодня. Она будет длиться несколько месяцев, без крови и без оружия. И еще одним эта атака будет отличаться

от военной — у нас нет возможности выйти победителями. Слишком уж неравны силы. Мы просто не понимаем, как можно ее выиграть.

Сегодня мы выезжаем в провинцию Лас Вильяс помочь привести в порядок основанное год назад и все еще практически бездействующее мореходное училище «Виктория де Хирон». Битый час мы ждем машину, сидя на лавочке. Мы — это два советских специалиста, «лос эспесьялистас совьетикос», Иван Никифорович Грицюк, начальник Ленинградского мореходного училища, и я.

Наша планета незаметно для самой себя привыкла к этому новому термину — «советский специалист за границей». Хотя первые специалисты появились уже довольно давно, еще на фронтах гражданской войны в Испании. Это были добровольцы — танкисты, инженеры, летчики. Они обучали армию республики, сами сражались, погибали у университетского городка и над Гвадалахарой. Тогда их хоронили под чужими именами и не указывая подданства.

Сейчас у них иная роль, и погибают специалисты в основном от несчастных случаев. Но поглядите, как много их появилось в мире за последние двадцать лет! Они всюду, где народ сбросил иго насилия, где идет борьба за социальный прогресс. Разные и очень обыкновенные люди, каждый со своими слабостями, а иногда даже недостатками, однако подробный рассказ о них наверняка стал бы волнующим документом истинного интернационализма, миролюбивой братской помощи в создании материальных ценностей, документом динамики нашей славной эпохи.

Я вам расскажу только о двух таких людях, которых кубинское руководство неожиданно бросило на совершенно новый участок работы.

...Сразу же после прихода к власти правительство Фиделя, вспомнив о хороших традициях страны, решило развивать туризм. Строились новые гостиницы, жилища для охотников, рыболовов, улучшались пляжи. Молодые организаторы наделали много ошибок, и не стоит этому удивляться. Одна из них — это строительство курортного городка в Плайя Хирон. На пустыре выросли целые улицы красивых и удобных коттеджей, пальмовые аллеи, пресноводные бассейны с вышками и трамплинами. Це-

лые месяцы бульдозеры толкали на пляж песок, а один из заливов строители попросту отгородили длинной и могучей, как у гидроэлектростанции, дамбой, чтобы дети могли поплескаться в теплой водичке, а взрослые могли бы гулять по красивому морскому мосту. Новый курорт, однако, не пользовался успехом. Проектировщики предвидели все, только забыли, что вокруг знаменитые болота Сьенага де Сапата, обширнейшее царство москитов. Пляжи тоже ползли, море быстро размывало песок, доставленный грузовиками и бульдозерами. А у самой Гаваны на десятки километров простираются очень удобные морские пляжи Мегано, Санта-Мария, Баракоа, знаменитый Варадеро, которые тоже не используются полностью.

Тогда Фидель бросил призыв: «Устроим в этих коттеджах мореходное училище «Виктория де Хирон» («Победа Хирона»)!» В своей речи по всей сети радио и телевидения он заявил: «Молодежь Кубы! Твой путь — в море! Отправляйтесь в Плайя Хирон, там вы станете капитанами, штурманами, судовыми механиками, радистами! Три тысячи пятьсот юношей примет в свои классы училище «Виктория де Хирон». Вас обеспечат общежитиями, одеждой, питанием. Вас будут учить. Через год-другой вы займете ответственные посты в нашем растущем рыболовном флоте!»

Радио, печать несколько недель повторяли этот призыв. Лозунгом революционных молодежных организаций стало «Завоюем море!». Со всех сторон острова прибывали парни, полные энтузиазма, гордые своей решимостью. Море — новость для Кубы. Это может показаться странным, ведь Куба остров. Однако диктаторы, долгие годы правившие республикой, не делали ничего для расширения судоходства и морских промыслов. Революционному правительству пришлось все начинать на голом месте. Молодые кубинцы решили стать колумбами, преданными слугами революции, идущими на схватку с неведомой стихией.

Министерство просвещения, которому поручили это училище, мобилизовало лучшие свои кадры — революционно настроенных учителей начальных школ, колледжей, воспитательниц детских садов, демобилизованных сержантов политпросвещения. Они делали то, что могли делать, — учили съехавшихся сюда парней арифметике, истории, испанскому языку, маршировали с ними по не-

сколько часов в день, только бы парни не сидели без дела. Но это не было мореходным училищем, и, надо сказать откровенно, никто из этих товарищей и седовласых педагогов не имел ни малейшего понятия, что это такое — мореходное училище и как оно должно выглядеть.

Тогда кубинцы обратились за помощью к Советскому Союзу. В Москве, в Ленинграде, во Владивостоке стали собирать чемоданы полтора десятка советских специалистов. Первым прибыл старший будущей группы ленинградец Грицюк. Прибыл и, хоть это старый боец, оторопел. Он понял, что, сколько бы ни было здесь советских преподавателей, они не только не организуют училище, но и одной лекции не прочтут. Дело в том, что советские преподаватели испанского не знают. Приставить к каждому переводчика — пустое дело. Переводчиков и так не хватает, а тут нужны хорошие знатоки узких специальностей и терминологии. Как иначе они смогут переводить лекции по, скажем, астрономии, машиноведению, сопромату. Товарищ Грицюк послал телеграмму с просьбой задержать выезд специалистов. Чем больше он вникал в положение, тем сложнее оно оказывалось.

В «Виктории де Хирон» не было никакого учебного оборудования. Начальник училища, доктор Иларио Сотолонго, высокий седой негр, тоже не знал, что такое современное судоходство и как надо готовить для него кадры.

Но главной была другая проблема. Парни, прибывшие в училище со всех концов страны, были полны энтузиазма, революционного духа, но образование у них было в лучшем случае двух-трехклассное, а то и всего лишь курсы ликбеза. Всех хоть чуть более образованных успели расхватать университеты и технические училища. Низкий уровень общего образования, разумеется, не вина страны, а ее беда, наследие тирании. Приходится даже удивляться, что революционное правительство сумело за такой короткий срок ликвидировать безграмотность. Хоть, конечно, и это относительно. Потом, когда мы уже работали в этом училище под наблюдением сотен живых глаз, черных и карих, часто слышали за спиной удивленные голоса: «Гляди, он читает, не шевеля губами!», «Посмотри, как быстро он пишет авторучкой».

Признать прогресс, радоваться ему — одно дело, а подготовить за год из этих парней морских офицеров, отвечающих за жизнь людей и технику в длительных рейсах,

сведущих в астрономии и радионавигации, разбирающихся в сложных машинах и рыболовных снастях, и все это без преподавателей и учебного оборудования, — дело другое. Иван Никифорович объяснил обстановку сотрудникам нашего посольства и министерства просвещения Кубы и предложил послать группы лучше подготовленных молодых кубинцев в советские мореходные училища, а «Викторию де Хирон» временно, пока не будут созданы хоть минимальные условия для работы, закрыть.

— Мне тоже здесь нечего делать, я возвращаюсь в СССР, — закончил свою речь Иван Никифорович.

Его выслушали терпеливо, потом сказали:

— Во всей республике, во всех отраслях мы все начинаем сначала. Однако каждый день Куба строит или покупает суда, в стране не хватает продовольствия, и суда должны добывать рыбу. Училище должно работать, нельзя обмануть три с половиной тысячи курсантов. Вы опытный человек, на вас мы надеемся. Мы дадим вам в помощь советского боцмана, знающего испанский и вашу терминологию. Рапортуйте, что училище уже работает в полную силу.

Так я очутился в компании Грицюка, и с такими настроениями сидели мы теперь на бетонной лавочке в Гаване, дожидаясь обещанной машины для поездки на Плайя Хирон.

Доктор Сотолонго сказал, что приедет за нами в пять утра, просил быть готовыми к отъезду. Ровно в пять мы уже были на дворе с вещами. Пускай не теряет времени человек, не ищет нас в этом небоскребе. Но уже двенадцать, нечеловечески шпарит солнце, мы уже перебрали все возможные варианты предстоящей работы, но ни директора, ни его машины нет. Боимся сходить в близлежащее кафе позавтракать или хотя бы выпить кока-колы, чтобы не разминуться с ним. Звоним доктору домой. Семья отвечает, что он уехал еще в пятом часу утра. Мы уже очумели от ожидания и голода.

Доктор так и не приехал до самого вечера.

И на другой, и на третий день никто не является. В квартире Сотолонго телефон уже не отвечает, в министерстве тоже никто не в курсе. Училище на другом конце острова, телефона пока не имеет. Дурацкая ситуация. Столько говорили о сотрудничестве, о том, что мы нужны позарез, что наши советы будут иметь решающее значение, а теперь получается, будто мы сами навязываемся. И ведь

не пойдешь в кассу, не закажешь билет домой, на родину. Надо выполнять приказ.

Через неделю у нас иссякло терпение. Не потому, что мы люди нервные. Работа стоит! Звоним в канцелярию министра просвещения. «Два советских специалиста хотели бы увидеть товарища министра по чрезвычайно важному делу». В подробности не вдаемся. Все скажем самому министру. Называем свои фамилии, секретарша назначает прием через три дня.

И тут же появляется Сотолонго. Смущенный, запыхавшийся. Столько было дел, торопился уехать в Хирон, не смог нас забрать! Тысячи извинений и улыбок. Мы тоже улыбаемся, успокаиваем его: разве станешь теперь выяснять, какие на самом деле были у него дела. Ведь придется вместе работать. Придется ладить.

— Теперь вам незачем ходить к министру, — увещевает нас доктор Сотолонго. — Все проблемы решим на месте, завтра утром уж точно уезжаем.

Переглянулись мы с Иваном Никифоровичем и тут же, при Сотолонго, звоним в приемную министра:

— Прошу, компаньера, прием временно отложить.

Назавтра Сотолонго приехал пунктуально, всю дорогу был сама любезность.

...Наконец-то мы в училище. Для жилья и работы нам отвели отдельный коттедж. Окна, как почти на всей Кубе, без стекол, только с густой проволочной сеткой. Это от москитов.

Вечером, когда в комнате горит свет, если кто-нибудь постучался, сперва гасишь электричество и только потом открываешь дверь. Иначе за эти две-три секунды в щель ринется на свет целый рой москитов, и считай, что ночь у тебя пропала. Их ведь не перебьешь, никакого яда они не боятся.

Пока мы идем по территории, все здороваются. И курсанты и преподаватели по-военному отдают честь: «Лос эспесьялистас совьетикос!» А у нас опускаются руки.

С утра до вечера мы собираем у себя преподавателей, беседуем с ними, выспрашиваем, кто что может делать. Спокойно, не волнуясь, они объясняют нам, что моряками во всем коллективе являются только двое — шестидесятилетний старик, бывший владелец весельной рыбацкой лодки, теперь может обучать курсантов плетению несложных сетей и корзинок для ловли лангустов, да бывший сержант военного флота Батисты. Он умеет драить

палубу, красить металл, готовить краску. Вот и все морские кадры.

Вы спросите, как же мы работали?

Приглашаем мы, например, Хесуса Нодо, бывшего преподавателя испанского языка в начальной школе провинции Пинар дель Рио.

— Хесус, что бы вы хотели преподавать? Навигацию, астрономию, судоходство, радиотехнику, машины?

— Не знаю... Я могу править машиной. У меня есть права.

— Вы знаете конструкцию холодильника?

— Он замораживает.

— Прекрасно. Вы будете преподавателем рефрижераторного класса.

Начинаем писать для него программу. Подробно, на нескольких десятках машинописных страниц то, что он должен сам как можно скорее выучить. Москва, Ленинград поддерживают с нами связь, почти каждый день присылают кипу учебников, книг, схем, диаграмм, но все это на русском языке! А некоторые вещи, хоть их и по-испански напиши, Хесус все равно не понимает. Просто не разумеет, о чем идет речь. Держишь его целыми днями около своего стола. Вместе с нами он пьет дьявольски крепкий кубинский кофе, прикуривает одну сигарету от другой. Все, что ему не ясно, мы пишем пространнее, как можно проще, объясняем термины, тыкая пальцем в чертежи. Главное, чтобы он понял, чему должен научиться.

Нам крупно повезло, что Грицюк универсальный специалист и может разъяснить вопросы из любой области. Мы мобилизовали лучшие библиотеки республики, они присылают подходящие книги по всем дисциплинам на испанском языке, выписывают их из Аргентины, Мексики. Спим, разумеется, по три — максимум пять часов в сутки. Помогают кофе, сигареты и жара. Когда программа составлена и растолкована, Хесус уносит ее вместе с чемоданом книг. Тогда мы вызываем Марию Перес:

— Мария, вы знаете, что такое радиопеленгация?

— Нет, не знаю.

— Ну, представьте себе, что Хесус назначил вам свидание...

— Хесус женат! — смеется Мария.

— Ладно, Педро назначил вам свидание на площади Флагов училища. В точно установленном месте — на се-

вер от столовой и на запад от дирекции. Как вы найдете эту точку?

— Не знаю...

— Там, где пересекутся эти две линии. Теперь вообразите себе, что вы на судне, в открытом море. Не видно не только столовой и дирекции, но и вообще никакого берега нет, и вы не знаете, где находитесь. При помощи пеленгатора вы берете направление на один радиомаяк, чертите линию на карте, потом на другой, снова чертите и там, где пересекаются линии, в эту минуту находится ваше судно. Интересно?

— Интересно!

— Хотите преподавать радиопеленгацию?

— Очень хочу. Но сумею ли?

— Придется много поработать.

Мы начинаем готовить программу для Марии, подбирать книги ей. Разделив каждую дисциплину на множество мелких тем, таких, которые можно кое-как выучить одному человеку, мы получили их свыше пятидесяти.

Теперь кажется, что в этом нет ничего особенного, что так и надо было. Конечно, если специалист будет читать эти строки, он пожмет плечами.

Кроме того, мы ничем не можем командовать, даже не можем настойчиво советовать. Мы в гостях. Мы только радуемся, что преподаватели напряженно учатся. Днем преподают, а ночью сами зубрят.

Но иногда очень уж трудно бывает не вмешиваться.

Вот, например, в училище полно парней, а в столовой работают, убирают территорию, классы пятьдесят наемных рабочих. На наши намеки дирекция отвечает кратко:

— Курсанты не должны терять времени. Они сюда прибыли учиться.

— Послушайте, воспитание ведь не менее важная вещь. У нас одна группа в неделю всегда находит время для дежурства.

Мы рассказываем молодым преподавателям об опыте наших училищ, о воспитании молодежи. Рассказываем одному, другому. Цитируем Фиделя, напоминаем о знаменитых школах кубинской молодежи в местности Минас дель Фрио. Там широко применяются методы Макаренко. Ученики все работы выполняют сами, и мы не делаем прямых намеков на положение в «Виктория де Хирон».

Проходит еще некоторое время и целый ряд совещаний. В них мы часто не участвуем (торопимся с програм-

мой), но они затягиваются до первых петухов, и преподаватели выходят оттуда разгоряченные, продолжая пылко, по-кубински спорить. А однажды утром на подъеме флага мы слышим приказ:

— Тридцать вторая группа сегодня собирает мусор и бумажки на территории; шестьдесят первая дежурит на кухне. Завтра...

Уборку мусора почему-то начали со двора нашего коттеджа.

Только не ждите, что теперь напишу: все кончилось хорошо, училище процветает. Я не знаю. Начал свои консультации в декабре, а в конце февраля меня отозвали в Гавану. И здесь, в рыболовецком флоте, было много работы. Товарищ Грицюк получил в помощь кубинца. Знаю только, что регулярные лекции по мореходству мы собирались начать первого сентября и что в тот день они так или иначе начались.

Тяжело было покидать «Викторию де Хирон». Много осталось там крови сердца. Еще трудней было распрощаться с Иваном Никифоровичем. Пожилой человек; в последнее время сильно сдало его сердце. Валидол всегда лежал наготове на столе. На ноге открылась рана военных лет. Он уже не выходил из коттеджа. Вся работа шла дома. Да и желудок от этой экзотической пищи...

Машина уже стояла у двери. Иван Никифорович, сидя в кресле на террасе, все вспоминал, что́ должен мне еще сказать, что́ нужно сделать в Гаване, потом вздохнул.

— Написал жене: вернусь к Новому году. Потом написал, что Женский день отпразднуем вместе. Теперь посылаю письмо, что на Первомай буду в Ленинграде. Но, наверное, скорее, чем через год, вернуться не удастся. Ведь скоро привезут оборудование, придется его монтировать. И у каждого преподавателя на лекциях тоже ведь придется посидеть хоть по недельке.

— Красавец ваш Ленинград, Иван Никифорович,— говорю я, пожимая ему руку.

— А училище у нас какое! — сказал Иван Никифорович.— Жаль, что ты его не видел.

ПОГОВОРИМ О ФИДЕЛЕ

Скажу откровенно: я всегда очень интересовался его личностью. Едва только в нашей печати стали появляться сообщения о революции в горах.

Работая в Гаване в советском и кубинском учреждениях, я каждый день сталкивался с директивами Фиделя, каждую неделю видел его на митингах, на дипломатических приемах. Лично поговорить с ним не довелось. Меня познакомили только с Раулем Кастро, знал я Че Гевару.

Всем давно известно, что авторитет Фиделя огромен. Его слово — закон. Сказанное по радио, телевидению, оно сразу выполняется. На улицах, в учреждениях много его портретов, обращений к нему. Самый популярный из них «Команданте ен хефе, ордена!» («Верховный главнокомандующий, приказывай!»). На дверях многих частных квартир надпись: «Это твой дом, Фидель». На митингах народ встречает его овациями.

Однако здесь и в помине нет так называемого воскуривания фимиама. Не надо забывать, что Куба страна небольшая и Фиделя многие знают лично. Ведь он никогда не сидит на месте, вечно рычат моторы его самолета или вертолета. Вся страна постоянно видит его по телевизору. На Кубе действует несколько станций, сеть телевидения доходит до самых дальних уголков республики, телевизоры в каждом доме, и Фидель имеет возможность говорить с каждой семьей. Все знают его привычки, любимые словечки, знают его чувство юмора.

Сложилась странная традиция. Все-таки глава государства, генеральный секретарь партии, а никто к нему иначе не обращается, как «Фидель». Даже без фамилии. На «вы» или «сеньор» можно обращаться к знакомым, к начальству, к министру, но Фиделю всегда говорят «ты».

Его популярность зиждется не на приписываемых ему чертах гениальности, непогрешимости. Основа авторитета в деятельности Фиделя — в повышении благосостояния нищих в прошлом слоев населения, в борьбе за повышение уровня культуры в стране. И в том, конечно, что его поступки всегда всем ясны, всему народу. Кубинский народ, вечно прозябавший под ужасным игом тиранических клик, никогда не имел такой демократии, глубокой и действенной.

Но есть еще одно обстоятельство, связанное с национальным характером кубинцев, без которого нам было бы трудно многое понять.

Куба в то время, когда я там работал, да и позднее, переживала тяжелый период. Это монокультурная страна, во всем зависящая от иностранной торговли, а естественные экономические связи, сложившиеся в течение веков с

США и некоторыми странами Латинской Америки, были грубо оборваны империалистами. Не в том беда, что кубинки лишились привычной губной помады, любимых марок духов, что труднее стало им обновлять гардеробы. Вся промышленность, транспорт, холодильные установки, без которых жизнь в тропиках невозможна, наконец, даже сахарные заводы,— все опиралось на американскую технику. Машины изнашиваются, производительность падает, а США неусыпно следят за тем, чтобы никакие запасные части не попали на Кубу. Внешняя торговля, в первую очередь с СССР и другими социалистическими странами, сейчас развернулась в очень широком масштабе, уже строятся новые заводы, которые будут основаны на наших стандартах, но транспорт из Европы стоит дорого, проявлять оперативность на таком расстоянии трудно. Введены карточки на продукты питания, на одежду и обувь. Массы безземельных крестьян, безработных, негров, мулатов, которые раньше не ведали вкуса молока и мяса, не имели приличной одежды, теперь имеют обеспеченный минимум. Зато ухудшились условия жизни некоторых ранее привилегированных слоев населения — интеллигенции, даже квалифицированных рабочих, не говоря уже о предпринимателях, лавочниках, владельцах плантаций и заводов, которые в большинстве своем покидают Кубу. Революция разрешает желающим уезжать из страны.

Казалось бы, раз приходится затянуть ремень, должно быть много недовольных. Ограничения коснулись наиболее влиятельных, наиболее политически активных слоев городского населения, но вот тут-то и проявляется национальный характер кубинцев, роль Фиделя, кубинца до мозга костей. Ведь это в своей основе потомки гордых испанцев. Выпрямившаяся пружина нации...

— Да, жизнь у меня теперь тяжелей,— говорит Марио Суарес, кондуктор гаванского автобуса.— И всей нашей семье тяжелее, если взглянуть исключительно с экономической и бытовой стороны. Я кадровый рабочий, пятнадцать лет работаю кондуктором. Раньше жалованье, правда, было небольшое, девяносто песо в месяц, теперь оно даже повысилось, дешевле стала квартирная плата, но купить на это жалованье могу меньше — карточки... А работы больше. Караульная служба, уборка сахарного тростника, почти каждое воскресенье едем в народные поместья. Детям тоже работы прибавилось. У меня трое, все учатся. В октябре — ноябре они уезжают на сбор кофе

вместе со всей школой, в январе — марте на уборку сахарного тростника. У меня есть американский «шевроле», но ездить на нем нельзя. Коробка передач развалилась. Телевизор тоже доживает последние дни. Но ты, компаньеро, не спрашивай, как мы живем. Ты спроси, чем мы живем! Если понадобится, я не только эту машину отдам государству, не только одним рисом питаться согласен, я жизни своей не пожалею! Если понадобится, я и детей пошлю на фронт! Быть сейчас кубинцем — это честь, и я никогда, слышишь, никогда и ни за что не променяю ее на спокойную, но рабскую жизнь, которая была раньше! Когда большая часть страны нищенствовала, имели работу только три-четыре месяца в год, во время сафры... Ты думаешь, у меня плохая память? А гляди, что сейчас Фидель выделывает с янки! Это он диктует им условия, а если так, то я согласен отразить хоть десять вторжений, каждую ночь стоять на страже! Ты плохо знаешь характер кубинцев, компаньеро.

Этот разговор проходил в феврале 1964 года, в дни, когда военно-морские силы США незаконно задержали четыре кубинских рыболовных судна и подвергли заключению команды — об этом писала и наша, советская, печать. Работая в штабе рыболовного флота, я был очевидцем этих событий. Тогда-то особенно ярко проявился характер Фиделя, и поэтому стоит коротко остановиться на этом эпизоде.

Суда были задержаны у банки Драй Тортуга. Обстоятельства их появления в этих местах довольно запутаны. Поначалу было объявлено, что суда находились в международных водах, но впоследствии кубинская печать признала, что они все-таки нарушили территориальные воды США, но их туда заманили обманом. Так или иначе, юридическое положение было сложным, а маленькая Куба не могла начать войну с США в защиту своих прав. Опасность потерять первые суда, полностью подготовленные для дальнего промысла, обученный экипаж, была весьма реальной. Серьезной была и угроза политического, морального поражения.

Куба в те дни бурлила от возмущения. Про конфликт писала на первых страницах печать всего мира — газеты империалистов говорили о «кубинской агрессии», а прогрессивные возмущались использованием силы против мирных рыбаков. Внимание всего мира само по себе явилось какой-то компенсацией для кубинцев.

Нельзя забывать, что вся Латинская Америка — в разной, правда, степени — испытывает враждебность к Соединенным Штатам. Пример Кубы, сам факт ее существования, удвоил и утроил революционные силы антиимпериалистов. Удары, наносимые повстанцами Латинской Америки, парализуют силы реакции США и местных диктаторов, являются подспорьем для Кубы, а боевой дух партизан и забастовщиков, в свою очередь, в значительной степени зависит от принципиальной, твердой позиции Кубы. Миллионные массы безземельных крестьян в Латинской Америке, изнуренные голодом, потерявшие надежду рудокопы, темпераментная молодежь и замученная тиранами интеллигенция видят: «Вот сделали же кубинцы свою революцию под самым носом США! Значит, это возможно и у нас».

Таким образом, все это напряженное внимание обернулось крупной победой революционного правительства. Столь же, сколь и поражением США.

Сразу после захвата американцами рыболовецких судов Фидель выступил с большой речью по радио и телевидению, рассказал соотечественникам о происшествии. И заявил об ответных мерах, которые предпримет революционное правительство.

Как известно, на территории Кубы находится военная база США Гуантанамо, небольшой участок морского пляжа. По воле судьбы на базе нет источников пресной воды. Артезианские скважины тоже не дали никаких результатов (равно как и в английской цитадели Гибралтар). Вода поступает по трубе из одной кубинской реки. Фидель сказал:

— Мы закрываем этот кран. Вояки США могут умываться морской водой или пивом. Мы не изменим своего решения, пока не будет возмещен нанесенный нам урон!

Фидель, конечно, отлично понимал, что базу таким образом со своей территории не уберет. Американцы достаточно богаты, чтобы организовать «мост танкеров», хоть это и дорогое удовольствие. Но он бы не был кубинцем, если бы не использовал более страшное в таких обстоятельствах оружие — насмешку.

— Но так как в Гуантанамо находятся женщины и дети, так как там работают ни в чем не повинные вольнонаемные рабочие, мы будем джентльменами. Дадим базе немного воды — один час в сутки! — сказал Фидель под аплодисменты слушателей.

Газеты всего мира, и в первую очередь Латинской Америки, газеты всех направлений, запестрели заголовками: «Куба, Фидель, Куба, Гуантанамо». То, что Куба твердый орешек, что она в любых, даже в очень тяжелых для себя обстоятельствах диктует империалистам свои условия, не могло не вызвать энтузиазма всех, без исключения, латиноамериканцев. Так была достигнута вторая победа.

Правда, американцы тоже не бездействовали. К своему концу водопровода они присоединили мощные турбинные насосы и за этот час накачивали достаточно воды. Но это придало больше анекдотичности создавшейся ситуации.

А в это время тридцать два рыбака задержанных судов, помещенные в одну из тюрем Флориды, вели свою «микровойну». Собравшись в тесной камере, обнявшись, они днем и ночью распевали революционные гимны, сочиняли сатирические стихи, выступали с протестами, отказывались от еды и различных пожертвований. Держались они гордо и дружно. Во Флориду слетелось великое множество американских и иностранных журналистов, они записывали на пленку каждое слово кубинцев. Заключенные охотно давали им пламенные интервью. Среди рыбаков находились семеро практикантов, двенадцати-тринадцатилетние мальчики. Красный Крест США предложил свои услуги, чтобы добиться их освобождения. Дети с возмущением отвергли эту милость, заявив: «Или всех, или ни одного!»

Полиции США пришлось чуть ли не силой отправить их домой через Мексику.

Пока проходили допросы и беззаконное судебное разбирательство, сама жизнь стала подсмеиваться над США. Молодой рыбак из Майами, простой американец Денис Кирби, в одиночку захватил ночью современное судно для лова креветок «Джон Риб», принадлежащее американской компании, и, погасив огни, пригнал его в Гавану.

— Пускай это послужит возмещением убытков,— заявил он, передавая судно кубинским властям.

Два других американца кубинского происхождения в эти же дни наняли воздушное такси и, когда самолет поднялся в воздух, оружием заставили пилота изменить направление и свернуть на Гавану.

— Пользуйся, Фидель! Новый, хороший самолет,— сказали они.— Понемногу будут возмещены все убытки, нанесенные янки.

Эти сенсации снова подхватила печать, они охотно по-

вторялись в мире, не исключая и США. Особенную пикантность приобрели все эти эпизоды, когда Фидель в своей очередной речи (в те дни он выступал почти ежедневно) сказал, что Куба относится к этим «трофеям» строго принципиально.

— Американскому рыбаку мы предоставим политическое убежище, которого он просит,— сказал Фидель.— Пускай выбирает себе работу по желанию, мы охотно будем видеть его капитаном нашего рыболовного судна. Двум нашим соотечественникам, так драматически вернувшимся на родину, мы также предоставляем полную свободу выбора. Но судно и самолет мы вернем их владельцам независимо от того, чем кончится фальсифицированный судебный процесс над капитанами наших судов. Можете забирать, нам не нужны краденые вещи! Не хотим разжигать конфликт! Не будем отвечать насилием на насилие! Не будем заниматься мелким шантажом, как янки. Мы правы и справедливы!

Опять мир рукоплещет.

Вскоре официальным кругам США до чертиков надоела эта история. Дебаты в конгрессе и печати, совершенно явный комический характер всех событий, необыкновенно подорожавшее содержание базы в Гуантанамо только увеличивали политический капитал Кубы. Напугать и что-нибудь выиграть не удалось, да и перспектив для этого не было. Чем дальше, тем становилось хуже. Стало ясно, что суровое наказание для рыбаков обернулось бы взрывами нефтепроводов в Венесуэле, отважными рейдами партизан в других странах Латинской Америки и неслыханным падением престижа США. Американцы освободили суда и команды, в спешке закончив процесс и наложив наименьший из возможных штрафов — по пятьсот долларов с каждого капитана задержанных судов, не конфисковав, однако, ни улова, ни снастей, что обычно практикуется в случае нарушения границы территориальных вод. Правда, капитаны попытались было отказаться от уплаты и этого малого штрафа. По законам США, они могли отсидеть по шесть месяцев каждый. Рядовые рыбаки тут же заявили, что из солидарности они тоже будут сидеть в тюрьме. Взбешенные полицейские не хотели об этом и слышать, им уже хватило всего, они выдворили и суда и моряков.

Возвращение четырех небольших рыболовецких судов в Гавану стало днем триумфа.

Но история на этом еще не кончилась.

В порту моряков встретил сам Фидель, окруженный гигантской толпой. Он поздоровался с каждым из рыбаков, и тут же была организована пресс-конференция для иностранных и местных журналистов. Я присутствовал на ней и никогда не забуду сверкающих от радости глаз Фиделя, его широких движений, когда он обнимал вчерашних узников янки, не забуду его едкой насмешки.

Фидель расспрашивал рыбаков об обстоятельствах заключения, и весьма настойчиво расспрашивал — все ли на судах в порядке, не пропало ли чего.

Поначалу в общем ликовании моряки не могли вспомнить, потом один из них сказал:

— Нашего флага нет. Они сняли и не вернули национальные кубинские флаги со всех четырех судов.

Второй добавил:

— Вернувшись в каюту, я не нашел своей форменной рубашки милисиано.

Кок одного из судов заявил:

— И вилки исчезли из камбуза. Нет у нас теперь вилок.

Судовые двигатели, радиостанции были разобраны, наверное, в поисках какого-то «военного оборудования», а потом их собрали.

Фидель расспросил всех, потом пододвинул к себе микрофон. Фидель умеет говорить, это известно всем. Но эта его речь была одной из лучших.

— Мы все считали их пиратами, флибустьерами, похищающими мирные, невооруженные суда,— сказал он.— Оказывается, они недостойны даже этого имени! Это мелкие воришки, карманники, крысоловы!!! Все, вы слышите, кубинцы, вы слышите там, в Пентагоне и в Белом доме,— все должно быть возвращено нам до последней крупинки, до последней нитки! А в первую очередь — наши национальные флаги! Мы вели себя корректно, справедливо, но раз так, то мы еще подумаем, на каких условиях передать вам и это судно для лова креветок, и самолет!

Между нами говоря, ни для кого не секрет, кто и почему обчистил кубинские суда, пока они стояли во Флориде. Ни флаги, ни рубашки, ни тем более вилки никакой материальной ценности не имеют. Это были наши, советские штампованные алюминиевые вилки, которые всегда используются на судах. Но американцы — фанатичные собиратели сувениров. Наверное, эти вещи не трудно было

купить у полицейских, охранявших суда. Сувениры не простые, доподлинные, с судов, о которых говорил весь мир!

Я лично был уверен, что США наплюют на все, правительство возместит рыболовной и воздушной компаниям потери, и на этом все кончится.

Но нет! Несколько дней спустя в газетах появилось сообщение швейцарского посольства в Гаване, представлявшего дела США, о том, что правительство США вернет флаги и все предметы, пропавшие на судах.

Все только ахнули. Этим американцы не только признались в мелком воровстве, но и принесли эти флаги, так сказать, в зубах...

Таков Фидель у себя дома.

О его роли в реконструкции экономики страны, в укреплении дружбы в СССР, в воспитании социалистических отношений между людьми, во внедрении новых методов работы, нового отношения к труду отлично известно из нашей печати. Герой Советского Союза, коммунист, национальный герой всей Латинской Америки, человек небывалой энергии, ума и трудолюбия, он, без сомнения, является одним из самых выдающихся людей нашей эпохи.

ЛУЧШЕЕ ВИНО КУБЫ

В феврале и марте на Кубе жарко. До чего тут жарко, если б вы знали! Жарко и душно. Раз в неделю короткий, сильный дождь.

В ноябре, декабре, январе тоже ни облачка, ни ветра. Пытка солнцем и чистым небом.

Мы, «ветераны», усвоили основные правила, обязательные в этом климате. Приехавших новичков учим:

— В полдень часа три-четыре старайся ничего, совершенно ничего не делать. Если уж иначе нельзя, если приходится, двигайся лениво, медленно. Никаких резких жестов. Сразу прошибет пот и зарябит в глазах. Иди по улице, если тебе уж так нужно, но держись в тени. Никогда и ни о чем не спорь, не горячись в жару. Подожди до вечера. Посмотри, как ведут себя местные жители,— вся жизнь начинается вечером. Если не успеваешь на автобус, упаси тебя господь бежать. Даже если осталось всего пять шагов и он вот-вот тронется. Пускай себе едет. Будет другой. Если собьешь дыхание, потом полдня не сможешь отдышаться. И много пей. В жарком и сухом климате пу-

стыни это вредно, а на Кубе все врачи советуют пить. Пей кока-колу, пиво, если только достанешь. Эх, вот бы достать стакан сухого красного вина со льдом! Но на Кубе вина нет. Да, хорошо бы стаканчик вина...

Но эти разговоры только для новичков. Моряки — люди дела, они органически не выносят сентиментальных разговоров. Даже про политику говорить не любят. Может быть, потому, что сами ее делают. И советы тебе, если ты приедешь сюда помогать кубинской революции, будут точь-в-точь такие, без сантиментов.

Только ты этим советам не верь. Это для новичков. Они все равно не помогают, эти советы.

Они не помогут победить ни жару, ни тоску по родине, ни усталость после тяжелого труда, ни перебои в снабжении. Ни боль, что рядом нет любимой, что вас разделяют много месяцев и тысячи километров.

1. Рассказывает сеньора Сильвия Арниеле

— В начале декабря пятьдесят восьмого года мы играли свадьбу моей дочери Перлы. Нет, не этой. Перла сейчас на работе. Эта Амалия!

Свадьба была настоящая кубинская, с джазом мулатов, трумбадорами, бонго, маракасами. Молодые, как принято у нас, два года дружили, ходили всюду вместе, но всегда при «третьем лишнем». Даже целоваться не имели права. На свадьбу к нам пришли все жители улиц Анима и Сан Николас. Все знали и любили нашу семью. Знаете, как это бывает в узких улочках старого города, где соседи не меняются десятилетиями.

В самом разгаре танца пачанга с грохотом распахнулась дверь, и, падая на порог, влетел запыхавшийся, обезумевший от страха человек, а вслед за ним двое молодых элегантных парней с пистолетами в руках. Комната наполнилась пороховым дымом, грохотом выстрелов, воплями ужаса. Первый пришелец пополз под стол и из-под ног гостей строчил из автоматического пистолета. Элегантные парни прыгнули на стол, изрешетив пулями доски стола, убили того, первого, полезли под стол, проверили, мы услышали еще один выстрел, и они исчезли. Все это продолжалось от силы полминуты.

Можете себе представить, что случилось в доме. Душераздирающие вопли. Всюду кровь. Кое-кто упал в обморок. На самом-то деле все гости остались в живых, зато

раненых было не меньше пятнадцати. Вот Амалии прострелили спину и ногу! Но и минуты не прошло, как все гости, здоровые, раненые и падавшие в обморок, унесли ноги, помогая друг другу. Еле успели — тут же примчались три полицейских грузовика. Забрали труп, арестовали моего мужа, жениха Перлы, Перлу. Две недели я про них ничего не знала. Потом меня вызвали в Сегуридад. Сообщили, что жених Перлы «умер от кровоизлияния в мозг». Что мой муж тоже «плох». Требовали, чтоб я сказала, кто пристрелил того пришельца, и перечислила всех гостей на свадьбе. Я могла выполнить только последнее требование. Что я знала, бедная... Мы никогда не были революционерами. Муж фотограф, я домохозяйка. Далекие от политики люди, мы ничего общего не имели с борьбой в горах Сьерра Маэстра.

«Хорошо,— сказал офицер Сегуридад, когда после продолжавшегося целый день допроса наконец составил полный список гостей.— Их трупами мы вымостим всю улицу от вашего дома до полиции!»

Меня они тоже не выпустили. В камере я узнала, где зарыта собака.

Оказывается, убитый был провокатором, тайным агентом полиции в рядах революционеров, повинный в смерти сотен людей, в провале важных операций. Подпольный суд еще в начале года приговорил его к смерти. Но выследить его удалось только в июне. Он тогда убежал, подорвав гранатой одного революционера. Снова обнаружили его только в декабре, как раз в день свадьбы Перлы... Революционеры понимали, что подлеца надо уничтожить любой ценой. Убегая от своих преследователей, шпик услышал шум свадебного пира и влетел в дом (наша квартира, как видишь, на первом этаже, вход прямо с улицы), решил спрятаться в толпе.

Свою угрозу Сегуридад не успел выполнить. Соседи, бывшие на свадьбе, знали, чем это угрожает, и спрятались кто в деревне, кто тут же, в городе, у знакомых. Ни меня, ни мужа они тоже не успели расстрелять. Ведь это был конец декабря пятьдесят восьмого... Первого января в Гавану вступила революционная армия Фиделя. Нас выпустили в тот же день вечером. Но муж умер три месяца спустя. Не выдержал пыток и тюремной голодовки.

— Вот здесь,— показывает сеньора после минутного молчания,— вот этот стол, а вот тут на пороге споткнулся бандит.

Сеньора говорит подчеркнуто спокойно. Это довольно полная, довольно высокая женщина сорока двух — сорока пяти лет. Черные «испанские» волосы совершенно седые над лбом и на висках. Наверно, если говорить отвлеченно, ей бы не стоило носить форму милисиано в таком возрасте, при такой полноте. Брюки в обтяжку, пояс с пистолетом и патронташем, синяя с расстегнутым воротом рубашка, берет, засунутый под погон. И в то же время трудно ее представить не в форме. Крупный, энергичный нос, мужское рукопожатие — руки привыкли каждый день держать винтовку.

И вся семья так же спокойно участвует в беседе. Амалия даже поправляет с улыбкой:

— Не спину мне прострелили... Пониже...

Это старые мои знакомые. Сеньора Сильвия работает в книжном магазине, в фотоотделе, младший ее сын Энрике учится в средней школе, Амалия ждет ребенка. Еще донья Франсиска, мать Сильвии, и Перла, которая сейчас на работе.

— Ну, наверное, уже обед готов,— тем же спокойным голосом говорит сеньора Сильвия.

Я поднимаюсь уходить. Знаю, что значит обед для кубинцев.

— Сиди, сиди,— властным жестом останавливает меня хозяйка.

— Нет, но я на самом деле сыт, обедал на судне...

— Когда ты мог обедать, если полдня у нас сидишь!

Но обед все не несут. Женщины то одна, то другая, то все вместе закрываются на кухне, я слышу, как шепчутся, открывают дверцы шкафчиков. Куда-то, с трудом неся свой большой живот, ушла Амалия, вернулась спустя пять минут, опять шепот, ушла сама сеньора Сильвия. Мы беседуем про события в Панаме и в Венесуэле, про жизнь на судах. Здоровый аппетит рисует мне миражи южной кухни. Вижу, хозяйки огорчены, снова поднимаюсь уходить, снова не пускают. Наконец накрывают на стол и в центре его с плохо скрываемой гордостью ставят вкусно пахнущее блюдо. Крышку приподымают торжественно, словно вуаль с лица невесты.

— О, бакалао! Ке рико! — кричит Энрике, хлопая в ладоши. («Треска! До чего вкусно!»)

Донья Франсиска со старческой несдержанностью уже протягивает к центру стола худой подбородок, трясущуюся веснушчатую руку.

Жалость сдавливает мне горло. На стеклянной сковороде лежит кружочками треска в полторы ладони величиной. Горсточка жареного лука, небольшая тарелка салата из помидоров. Поджаренный хлеб. Это обед для нас пятерых. Еще Перле придется оставить. И я хорошо знаю, что больше в доме ничего нет. Скорее всего, и на ужин ничего не будет.

Именно поэтому теперь нельзя отказаться.

Я стараюсь отломить микроскопический кусочек этой трески. Сеньора Сильвия бросает сакраментальную фразу всех хозяек:

— Ну, сколько ты тут берешь! Ты же мужчина! Бери больше.

Даже Энрике овладел собой и притворился беззаботным. Одна донья Франсиска не спускает глаз с этого обряда раздела пищи, с каждой крошки, падающей на тарелку. Я им приносил несколько раз рыбу, мясные консервы из своего пайка. Почему я не делал этого каждый день! Почему сегодняшний завтрак не отнес этим женщинам!

Безмолвное напряжение спало. Едим мы медленно, хорошо пережевывая каждый кусочек. Так обед покажется обильней, сытнее.

Донья Франсиска первая начинает шутить.

— Почему ты не принесла из холодильника окорок? — говорит она дочери.

Все заливаются хохотом. Сама донья даже трясется, не может вилку удержать, так она довольна своей остротой.

— Ой, мама, вчерашний поросенок с перцем и томатом до сих пор в горле стоит,— подхватывает Энрике, и все снова хохочут. Весело, заразительно, как всегда хохочут кубинцы.

Стараюсь смеяться и я. Приличие этого требует. Я хорошо знаю, что в холодильнике нет и давно не было никакого окорока. Не было там и поросенка, масла, мяса. Блокада, эмбарго. Индустриализация. Эти слова хорошо знают все на Кубе — и старики и дети. Остается только смеяться. Немного над собой, немного для того, чтобы гостю не было неудобно. А если говорить прямо, если не бояться публицистики — смеяться над теми, кто думает, что костлявыми пальцами голода и лишений можно задушить, поставить на колени этих гордых женщин без мужчин, эту семью, которая даже не очень-то революционная.

— Ты, наверно, так и остался голоден? — сеньора Сильвия смотрит мне прямо в глаза.

— Что вы, еле-еле съел! — отвечаю я от всей души. И это правда.

— Ну ты посиди, посмотри телевизор. Отдохни от грохота машин, от каюты, а мне пора на дозор.— Она оправляет форменную рубашку, поправляет пистолет.— Ведь надо стоять за двоих, за себя и за покойного мужа.

— За троих,— поправляет Амалия и опускает голову.

— Скоро будет за четверых,— добавляет Энрике.

— Да, скоро придется за четверых,— сеньора Сильвия останавливается в дверях.— Знаешь, Аль (так здесь сократили литовского Альгиса), ты никогда не спрашивал, и мы тебе благодарны... Ты не спрашивал, где отец будущего ребенка Амалии. Он в Майами. Сбежал несколько месяцев назад. Сказал: «Надоели мне карточки и строительство социализма». Он был уверен, что беременная жена последует за ним. Но Амалия осталась на Кубе. И своего кубинца она родит на Кубе!.. Сварите гостю кофе. Настоящего кубинского кофе. Есть кофе дома?

— Нет, кофе дома нет,— ответила Амалия.

2. Говорит Висенте Пинеда

— Отобрали нас, две тысячи юношей и девушек, для учебы в Советском Союзе. Многие из нас были малограмотны, и нам предстояло учиться непосредственно на ваших заводах, в совхозах. Однако на теплоходе «Грузия» было место только для тысячи человек. Я оказался среди тех, которым пришлось немного обождать.

Прошел месяц, и до нас дошли плохие вести: не все, посланные в СССР, хорошо работают и учатся. Конечно, были и объективные причины: чужая страна, непривычные обычаи, язык, распорядок дня, питание. Холод. Некоторые опустились, некоторые стали проситься домой, выдумывать всякие болезни.

И тогда нас, ждущих своей очереди, чтобы поехать в СССР, послали в Гванаакабибес. До революции этот район был совершенно запущен. Болота, голые холмы. Мы приехали туда, как ваша молодежь едет на целину. У нас был приказ: превратить провинцию в цветущий сад. Это и случилось, но уже потом. Не одна смена молодых кубинских революционеров проливала там пот. Всю провинцию засадили эвкалиптами — они «выкачивают» из болот воду — и фруктовыми деревьями. Город построили, начав с кирпичного завода.

Пропаганда США и гусанос называют это место концлагерем. Их дело, могут называть как хотят. Конечно, это отнюдь не пляж Варадеро. Голые холмы, кустарники и непролазные мангровые болота. Москиты и крокодилы. Ни деревень, ни усадеб. Изнурительный труд. За день один человек должен выкопать триста ям и посадить саженцы эвкалиптов. Другие бригады изготовляли кирпич.

Подло называть Гванаакабибес концлагерем. Кто не желает, может сюда не ехать. Кто не выдерживает, может убираться домой. Никакой охраны, никаких заборов. Более того. Люди сами пишут заявления, просятся туда. Если ты боец или милисиано, ответственный партийный или производственный работник и провинился, обюрократился, совершал ошибки и товарищи тебя критикуют, лучше всего для тебя написать такое заявление и уехать на несколько месяцев, может, даже на целый год в Гванаакабибес. Чтобы закалиться, вернуть себе революционную волю, поучиться — а этого нам всем особенно не хватает. Каждый день, все равно, десять или пятнадцать часов ты отработал, ты еще слушаешь лекции по политике, экономике, участвуешь в семинарах.

Начальником нашей группы был лейтенант Педро. Уже пожилой человек, ветеран Сьерра Маэстры, изувеченный, контуженый. Выстроил он нас и, встав перед строем, долго с явным неодобрением смотрел на наши детские шеи, тонкие, не знавшие труда руки.

— Итак, меня зовут лейтенант Педро,— сказал он.— Должен сообщить вам любопытную новость. Работа у нас по-свински тяжелая. Жизнь по-свински плохая. Питание свинское. И настроение у меня всегда свинское, кислое. Кто не желает оставаться, может повернуться и уйти.

Ни один из нас даже не шелохнулся. Потом, правда, начались побеги. Мы вычеркивали человека из списков, и все. Больше всего мы страдали от москитов в палатках и тоски по дому. Письма почти не приходили. А может, еще сильнее страдали оттого, что никто нас не утешал, не говорил, что мы «служим революции», что «это нужно для Кубы». Звонкие слова и лозунги здесь были под запретом. Трудно нам без них — мы же латиняне... Мы сами поддерживали друг друга. Говорили: «А ты знаешь, как было в Ленинграде во время блокады?», «А защитникам Сталинграда? Труднее, чем нам: свистели пули, взрывались мины, бомбы».

Агитация лейтенанта Педро была куда проще:

— Я из вас выгоню лень! Вы у меня забудете, что такое кресло-качалка, забудете, что такое послеобеденная «сьеста» и тени апельсиновых деревьев!

Мы провели там три месяца. Вернулся я из лагеря, и приятели меня не узнали. Зарос бородой, почернел от солнца, форма висит на тощем теле как на жерди.

Потом я уехал в СССР, работал и учился на химзаводе под Тулой. Не всех нас послали в СССР. Те, кто в Гванаакабибес стонали, переживали, слишком тосковали по родным, так и остались дома.

Закалка нужна человеку, особенно нам, кубинцам. Избаловала нас природа. Посадил сахарный тростник и срезай его много лет подряд. Поэтому до сих пор у нас столько бездельников. Ты, Аль, должен понять кубинцев. Вас, советских людей, жизнь достаточно учила. Революция, войны, стройки. А в нашей революции с Фиделем активно сражались лишь две тысячи человек. Только сейчас у нас идет массовая революция. Я благодарен Гванаакабибес. Вот посмотри, я вернулся из Тулы, а мне говорят: химзавод еще не построен, ты пойдешь работать в рыболовецкий флот. Я могу всюду. Терпения ждать свой завод хватит, практика в Туле все равно пригодилась — я выучил русский язык.

...Из громкоговорителей судна донесся голос штурмана: «Комиссар Висенте Пинеда — в первый трюм!»

Висенте надел ватные штаны, куртку, рукавицы, подмигнул мне и ушел. В холодильном трюме судна, на двадцатиградусном морозе, что-то случилось. Кому-то из кубинских рыбаков стало слишком трудно или кто-то поссорился. «Комиссара — в трюм». Никто и не подумал, что комсомолец и член партии Висенте только что кончил свою двенадцатичасовую рабочую вахту в этом самом трюме. «Комиссара — в трюм».

И он идет.

Если ты приедешь помочь своей работой Кубе и не найдешь здесь своего призвания, если тебя не увлечет суровая и будничная, подчас противоречивая поступь истории — не помогут никакие советы старых морских волков. Романтика пальм и голубого моря испарится за первые же две недели.

Ты должен найти свое «вино» на Кубе — полюбить ее людей.




1 р. 10 к.

Альгимантас Чекуолис